

- СТИХИ АЛЕКСАНДРА КУШНЕРА
- МОСКВА ПОД СНЕГОМ -
в повести Михаила Юдсона
- РУССКИЙ "РАСЕМОН" -
в рассказе Вадима Фадына
- НАРОДНЫЕ ТАНЦЫ
НА ТЕЛЬ-АВИВСКОМ ПЛЯЖЕ -
стихи Анатолия Добровича
- НЬЮ-ЙОРКСКИЕ ТЕНИ -
в эссе Александра Гениса

118



№ 118

МИЛАНУРИИ
МОСКВА - АНЮМ

МИ

Общественно-политический и литературный
журнал еврейской интеллигенции из СНГ в Израиле

ДВАДЦАТЬ ДВА



118

Журнал выходит при содействии министерства науки
и культуры; Центра интеграции репатриантов - деятелей
литературы и искусства; министерства абсорбции

2000

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИТЕРАТУРА

Михаил Юдсон. Лестница на шкаф	3
Вадим Фадин. Темна вода во облацех	54
Александр Кушнер. Стихи	86
Анатолий Добрович. Стихи	91
Александр Мильштейн. Письмо	94
Павел Лукаш. То, что доктор прописал	102
Юлия Шмуклер. Нехама	120

ЛИТЕРАТУРНАЯ РЕФЛЕКСИЯ

Наум Басовский. Заметки о странном жанре	123
Александр Ревич. Ответ Науму Басовскому	141

ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Михаил Сидоров. Критика нечистого разума	145
Кирилл Феферман. Возможно ли излечение... ..	159

МЫ - СУМАСШЕДШИЕ

Феликс Вуль. Искаженный мир	164
-----------------------------------	-----

АМЕРИКА, АМЕРИКА...

Александр Генис. Нью-йоркские тени	183
Давид Цифринович-Таксер. Сага о Брайтоне в Судный день ..	189

ЗАМЕТКИ КНИГОЧЕЯ

Эли Корман. Хронотопическое сознание	195
--	-----

ОТКЛИКИ

Ирена Лейна. Женщина на роль небесной птицы	211
Леонид Финкель. Миг перехода	216

*На первой странице: рисунок художника Ральфа Вюнше
"Майя Плисецкая" (к статье Ирены Лейны)*

*На последней странице обложки и в тексте:
рисунки пациентов доктора Вуля*

ЛИТЕРАТУРА

Михаил Юдсон

ЛЕСТНИЦА НА ШКАФ

Часть первая. МОСКВА ЗЛАТОГЛАВАЯ

*"Уезжайте отсюда. Ей-богу, уже пора".
(Гоголь, "Ревизор")*

*"Как на беленький снежок
Вышел черненький жидок".
(Детская считалка)*

1.

Илья проснулся от холода. Самодельная железная печка к утру остыла, а отопление нынче по Москве на ночь отключали. Кучи угля во дворах охраняли добровольцы из жильцов - отважно топтались в тулупах, жгли костры, стучали колотушками - отгоняли нечисть ночи, лезущую погреться. Да и днем батареи чуть теплились. Что, впрочем, внушало надежду - заваленная сугробами Свято-Беляевская Котельная пыхтит, едва пышет, но (нашими молитвами!) не сдается. Глядишь, когда и подаст, обогреет... Бог, конечно, есть, хотя и не всегда. Временами, высыпаниями.

Было еще безвидно. Говоря языком Книги, розоперстное Шемешко не спешило ишшо итти из яранги по насту небесному. Темно, как в мешке. А ведь у нас, между прочим, пока что малотемный бок года. Сильнотемный, однако, впереди.

Илья полежал, прислушиваясь. Привычно выло за окном - весенняя пурга пугала, разбойничала, вьюжила, швыряла снегом, замела тропинки к подъездам. Сказано же - сделалась метель.

За стеной ворочался, скрипел циновкой сосед Рабиндранат, трудолюбивый дервиш в высоком колпаке, обычно трясуший миской для подачи подле метро "Беляево". Рано еще. Ранехонько. Но пора в школу.

Илья часто представлял себе, как неким славным утром он, уме-

ренно дрожа, входит в класс с журналом под мышкой и учащиеся лениво встают, нехорошо переглядываясь: "Очередной отец Учитель пришел!" Как это где-то: "Гимназистки румяные в белых пелеринах стоят шпалерами". Да уж. Приветственно машут спицрутенами!

Он откинул лохматые шкуры, которыми укрывался, спрыгнул с кровати и, ежась, пробежал босиком на цыпочках к выключателю. Лампочка зажглась, что означало - повезло. Заслужил свет. Хотя, естественно, расслабляться не следовало - вон сосед снизу, Юмжагин высчитал, что за последние пол-луны гасло значательно больше разов, нежели пальцев по норме на человеческих конечностях (ну, кто, не приведи, вблизи Котельной живет или, наоборот, под Пилорамой - тех отбрасываем). Юмжагин все записывает, узелки делает, зарубки ставит - пытается уловить закономерность. И в буран тухнет, и в затишье, и в сумерки, и на рассвете. Э-эх, мерзлота наша вечная! И трубы лопнут, и калоши сопрут - было, было все и ничего не будет нового...

Илья сунул ноги в обрезанные валенки и пошел к печке, за занавесочку, где стояло нужное ведро. Это сосед, который за стенкой, Рабиндранат, все звал, помнится, одно время - а пойдем, сагибы, выдолбим возле подъезда общий сортир - тепло, уютно, благовоние, светильник возожжем, замочек навесим, никто посторонний не заползет, а у своих у каждого ключи - пользуйся, воспаряй!

Фаланстер такой! Куда там. Лампочку же сразу выкрутят, замок заест в самый напряженный момент, дверь постепенно выломают, и будут на обледеневшем полу расти сортирные сталагмиты, и придется, установив поквартирную очередность, скалывать их ломом... Все это легко предугадывается. Да и не стоит изощряться, проще надо, оккамней. Вон есть ведерко за занавеской, ну и славно. Выносить вот только... В окно бы хорошо выплескивать (тоже простое решение), да потом греха не оберешься.

Илья приподнял край мешковины, которой было завешено окошко, и выглянул на улицу. С высоты третьего этажа терема открывался давно знакомый вид: заснеженный двор-свалка со смерзшимися в диковинные кубы и пирамиды отходами. Возле подъезда - старый снежный идол с ведром на голове - для отпугивания мелких летающих гадов, обыкновенно роющихся на помойке и повадившихся что-то забираться в подъезд - надо полагать, гадить.

Мело, но не очень. Не завывало. Стихало постепенно.

Он снял с батареи завернутую в одеяло кастрюльку с вареными клубнями, сел на кровать и принялся завтракать, одновременно просматривая потрепанную тетрадку с Планом Урока - плодом длинных

холодных вечеров, раздумий и скрипений песцовым перышком.

После еды он быстро и привычно собрал заплечный мешок (пара одеял, фляжка с компотом из снежевика, несколько клубней в тряпочке, письменные принадлежности, еще кое-какие нехитрые пожитки) и пошел в прихожую.

Там Илья, кряхтя, влез в тулуп, обязательный топор аккуратно прикрепит под мышку в веревочную петлю, снял с вешалки из песцовых рогов мохнатую шапку и нахлобучил на голову - так, чтобы хвосты с шапки свисали на спину. Зачерпнул напоследок кружкой воды со льдинками из питьевого ведра, напился, умыться не стал - на мороз идти, отодвинул засов и выбрался на лестничную площадку.

Тут все было привычно. За ночь кто-то навалил в углу, поленившись дойти до обугленной шахты давно сгоревшего лифта. Мезузу на дверном косяке снова расковыряли гвоздиком, на самой же двери тем же гвоздем было свеженацарапано: "Сивонисты Чесночные - вон отсель! И станет так...". С добрым утром, ребята!

Соседские двери, обитые шкурами и мехами, увешанные подковами, смотрели мрачновато, вроде как молчаливо гневались - живет, живет один такой, затесался.

Илья решительно поправил топор под мышкой и, натягивая на ходу толстые рукавицы, стал спускаться по лестнице. Ступеньки были по обычаю заплеваны, перила замысловато изрезаны и старательно вымазаны жиром и кровью, стены в подъезде сплошь изрисованы сценами удачной охоты и счастливого собирательства.

Вон и сам Илья изображен - взгляни и вспомни: "Группа жильцов поймала песка" (они, значит, грозно подъяв топоры, стоят на четвереньках на краю Хитрой Ловушки, а песец хрипло ревет и мечется по дну).

...Ша-а-а-рахх!!! Струя горячих помоев шваркнулась сверху в лестничный пролет, обдав Илью вонючими брызгами. Он взревел раненым песцом и мгновенно отпрянул к стене.

- Ты что же это творишь, ничтожество?! - растерянно бубнили наверху. - Ты же это аккуратно кого-то того этого! Нам же потом за это, это самое...

- А ничего подобного! - бойко отвечал женский голос. - Ничего и не стряслось! Это ж наш еврейчик подъездный. Нехай...

Илья на цыпочках спустился вниз, быстренько просмотрел накарябанный на фанерке график дежурств по расчистке входа от снежных завалов (не его очередь, хорошо), перешагнул вечную неиссыхающую лужу мочи у двери в подъезд, осторожно вышиб дверь и вышел, как и предлагалось выше, вон.

2.

С серого неба падал снежок. Белый пепел. Потихоньку курились трубы Котельных. По тропинкам от дома брели к метро закутанные люди, тянули детские саночки с лопатами, обернутыми в мешковину, ведрами и кошелками - выкапывать из-под снега клубни, собирать запыленную ягоду, искать по сугробам съедобные корни на варенье.

Илья шел быстро, обгоняя плетущихся бедолаг. Это напоминало легендарный поход с тазами на Ледяной ручей, походило на Исход наперегонки. Вперед, вперед! Он торопился в школу.

В учительскую семинарию Илья попал уже по возвращении из Войска Русского. Сразу после школы он поступал в Университет на механико-математический факультетишко, на отделение "небесная механика", и срезался на устном экзамене (что-то не мог вспомнить какие-то гнусные свойства двух взаимно перевернутых треугольников), еще тополиный пух шел со снегом, как сейчас помню, добавляя беспросветности. Его вытолкали взащей и следом шапку в коридор выкинули. Он ее подобрал, отряхнул о колено, плюнул на прощанье на стенд с местными угодниками и ушел: да не хотите - и не надо! Устроился до армии в пролы на ближайшее коптящее предприятие, в основном что-то поднося или что-либо оттаскивая. Пил в перекур хвойный отвар, обсасывая попадавшие иголки, сидя на корточках в углу бытовки и передавая помятую кружку по кругу замызганным коллегам. Пел с ними псалмы, потихоньку раскачиваясь, а после работы посещал кружок, где читали Книгу, - пытался, ребе побери, разобраться в происходящем.

Потом загребли в армию, в Могучую Рать, где многое пересмотрелось, переоценилось (армия быстро просветляет оптику мирным очкарикам - нарядами на мытье очков), сложное выражение "механико-математический" уже с трудом выговаривалось, а сокращение "мехмат" просто казалось чурбанским заклинанием, а уж учиться там!.. И, взяв в котомку демебельский альбом, он бодро пошел в педагогический (на экзамены являлся, конечно, в грубой шинели, на костылях!) - тут тоже была, хотя и зачаточная, математика, но кроме того - много девочек, что после казармы казалось чудесным и важным - цветник-с! К последнему курсу по ряду причин Илья ввел новое определение - террариум. Студент ты наш Ансельм!

А сейчас у него начиналась практика, и этим московским морозно-мужицким утром он поспешал по тропинке, как дружные герои Питера Старшего, - в школу, в школу...

"Девчонка-практикантка входила в класс несмело", - вспомнилось ему внезапно жалостливое песнопение. "Я вам, козявкам, покажу -

несмело! - зарычал тут же проснувшийся в Илье бравый Сержант Старший. - Ух, я вас!..“

В армии Илья, иноверец, дослужился до широкой лычки, прошел боевой путь в хозяйственном взводе - командиром отделения хлеборезчиков. В отделении у него было два бойца - Ким и Абдулин. Да, выпала такая доблестная служба - разгружать лотки, нарезать буханки, выдавливать из маслица строгие кругляши (по десять на тарелку), раскладывать сладости - по сорок кусочков туда же...

И пока роты гремели сапожищами на плацу (“Хаотическое движение манипул, - меланхолично бормотал сноб Абдулин. - Копошущая каша... Планктон мне друг...“), они резали, резали, выдавливали, раскладывали. С рвением дровосеков кромсали на кусочки просвирки к увольнительным воскресным причащениям. И мечтали они, что когда вернутся домой - несомненно окрепшие, как ни странно - отоцавшие, но пространством и временем полные, и в окружении радостных родственников прилягут за пиршественный стол, то прежде всего схватят горбушку, четыре кусочка сладкого, кругляш масла - все такое родное! - и только тогда приступят к приему пищи. Хозвзвод мало отражен в летописях, а жаль. Не всем же дано усмирять племена, кому-то приходится р-рзать хлеб, раздумывая, как об этом написать девушкам в берестяных грамотках.

О, окошко хлеборезки, обитая железом амбразура в стене, в которую ночью и денно долбили “деды“, так что уже надоело закрывать ее грудью, и Илья, ничтоже сумняшеся, вывесил апокрифическое: “Вот, вы матом ругаетесь, а потом теми же руками хлеб берете“, но втуне...

Кстати, об девушках. Надо бы позвонить Люде, вон как раз телефонная будка. Предупредить, что могу задержаться, молить о снисхождении, просить не отменять долгожданной встречи.

Люда Горюнова, староста его группы, была сероглазой, строгой и красивой. А он был страшила мудрый, истребитель клубней в тряпочке. Ему давно хотелось постоянно быть рядом и, скажем так, касаться. Целовать края одежды, полы полушалка. Облизываясь. Ух, Людоед! Однако он должен был каждый раз заново трудоемко завоевывать это сладкое право. Его как бы спокойно отталкивали, равнодушно отпихивали, холодно не позволяли.

Обыкновенная скучная история. Утешало лишь то, что ей не нравился никто. Возникла зыбкая гипотеза, что надо просто расстараться и угораздить оказаться рядом в нужный момент. Илья вспомнил, как на Красную горку он прыгал через глубокий сторожевой ров с кипятком возле ее дома - был морозный летний вечер, скользко, довольно-таки

внизу чернели разрытые трубы, оттуда поднимался тухлый пар, он загадал, что получится с Людой (“Трах-тах-тах в мерцаньи красных лампад“, как писал преображенный белонощик Сан Саньч), если перепрыгнет, - и, разогнавшись, сиганул, ну и не сварился, а благополучно перемахнул, вроде как даже обновленный - кожа с валенок слезла. Но ничегошеньки не изменилось! Не допрыгался! Страдания. Ему совершенно необходимо было видеть ее каждый день или хотя бы звонить ей.

В телефонной будке стекла были изначально выбиты и заделаны фанерой, жестяная дверь хлопала на ветру, на полу намело снегу. Илья втиснулся внутрь и увидел, что аппарата нет. Вернее, он был вырван с мясом и валялся в углу, где его вдобавок еще и добивали ломом. Кто, зачем? Адепты-приятели бедного древнего ткацкого подмастерья? Эх-х, хамовники!.. Он носком валенка слегка поворошил разрушенное. А следующая будка теперь только возле метро, у подземного перехода. Илья расстроено вышел и аккуратно прикрыл за собой дверь.

Вниз по Маклаянной, держась ближе к домам, протрусил конный разъезд Армии Спасения Руси: “дикие архангелы“ - пятеро всадников с пиками за спиной, с нагаечками - патрулировали, цепко оглянулись на Илью, покачивались крылья по бокам седел горбунков, навоз дымился на асфальте.

Проваливаясь по колено в снег, Илья торопливо вскарабкался по обледенелым наклонным мосткам на положенную ему дорогу. Передохнув и отдышавшись, он затопал по обшитым досками трубами теплотрасс, перешагивая через флегматичных лохматых лаек, дремавших на проглянувшем тусклом весеннем солнышке.

Справа вдоль трассы тянулись жилые многоэтажки с обвалившимися балконами, ржавыми водостоками, вывешенными за окно авоськами с приманкой, старыми покосившимися крестами на крышах. Слева на пустыре дико чернело заброшенное здание половецкого культурного центра, из-за него поднимался густой жирный дым - жгли покрышки, выкуривали песцов из их хаток.

Сторожевой вертолет на коротких широких лыжах прошел низко над крышами, дал гудок на утреннюю молитву, тарахтя, улетел по направлению к Теплому Становищу.

Илья остановился и протер очки, слегка занесенные снегом. Вот, наконец, и знакомый столб с дощечкой “Беляево“, и все вокруг, как и подобает, белым-бело, маленькая часовенка, грустный ряд сгоревших киосков за оградками, а за ними - искомая телефонная будка.

Он проник в нее и немедленно горестно плюнул. Здесь аппарат присутствовал, висел, приваренный насмерть, на месте, зато трубка

была срезана. Э-хе-хе, Яхве ж ты мой... Он машинально потрогал огрызок провода. Ну что же это за безобра...

Тут Илью грубо схватили сзади за воротник и выдернули наружу. Он чуть не потерял очки, они свалились у него с носа и повисли на шнурке. Давешний патруль "диких архангелов" окружил будку. От мохнатых морд горбунков валил пар, на уздечках позвякивали скальпы по скифскому обычаю. Перегнувшись с седла, огромный усатый мужик с черными имперскими цифрами двухсотника на эполетах Армии Спасения Руси держал Илью за шиворот и зорко в него вглядывался. Потом заговорил тихо и страшно, тяжело дыша в лицо Илье грибным перегаром и прокисшей травой:

- Ты што ж, ж-жидюга, по будкам ползаешь?! Трубки православные режешь?!

- Не я это, батюшка двухсотник! - отчаянно вскричал Илья. - Было так, Отец-Командир, уже так было, я только зашел...

Спас Илью толстый тулуп, спас мешок за плечами, да подшитый тряпками малахай на голове - отведал он плеточки сполна!

Бежал Илья к подземному переходу, к спасительным ступенькам вниз, изо всех сил бежал, закрывая руками жалкую свою рожу, исковерканную страхом, и причитая "Ой, Зверь в мир!", а батюшка двухсотник скакал сбоку и лупил, лупил с оттяжкой нагайкой под веселые крики чубатых патрульных.

Не помня себя, Илья ссыпался в подземный тоннель и, загнано дыша, кинулся к тяжелой вращающейся двери - входу на станцию, расталкивая по пути спешащих посадских с кошелками, отпихивая теток, торгующих болотной ягодой в кулечках, спотыкаясь о греющихся местных морлоков, тихо сидевших у стен на корточках. На станции тускло горели плафоны. Илья зубами стянул правую рукавицу и показал в окошечко дрожащий мизинец с выколотым на нем проездным на нисан месяц.

Старушка открыла узенькую железную калитку, он протиснулся боком. Эскалатор медленно уползал в теплую темноту. Оттуда несло сыростью, со стен гулко капала вода. Илья плюхнулся прямо на ржавые ступеньки - ноги не держали, трясушимися руками стянул с головы малахай, вытер песковым хвостом мокрый лоб. Уф-ф... Замела поземка, да мила подзетка... Эскалатор, поскрипывая, тащил его вниз, к поездам.

3.

Прокуренный самосадным ладаном вагон подземки швыряло и раскачивало, дуло в разбитые двери, стекла дребезжали. Звеня, перекатывались по полу пустые баклаги из-под песцовки.

Илья сидел в углу на перевернутом ящике, возле бака с кипятком, уцепившись за свисавшую сверху веревочную петлю. Звякало дырявое мусорное ведро в ногах. Соломонова звезда Давида, одна заветная, была намалевана на вагонной стене прямо перед ним, под табличкой “Места для отходов и иудеев”. Коряво и старательно каким-то Книжником от руки было приписано: “O foetor judaicus!”

По вагону то и дело бродили личности в потертых власяницах, упирали в кадык жертве кружку для пожертвований, гнусаво требовали: “Пода-айте, люди добрые, на Третий Храм!”

На остановках заходили страшные слепые патрули с псами, проверяли на ощупь проездные тавра, вслушивались, кто где сидит, как себя ведет. На Илью только повели белыми пустыми глазницами, приняхиваясь - передвигается ли строго вдоль стенки - но не трогали, даже не укусили, слава тебе, Яхве!..

Вокруг миряне, сняв шапки, истово хлебали чай, расплескивая при толчках вагона, хрустели вприкуску, говорили о том, что вчера в церкви Вынесения Всех Святых опять заплакала угнетенно чудотворная икона Василья Египтянина, а с малых губ Пресвятой Вульвы-великомученицы слетел вздох; что в Раменском экзархате на звоннице колокол, отбивавший точное время, сам собой ударил в семь сорок и остановить бесовские перезвоны было весьма непросто; в Охрянной Лавре же кой-какие мощи, источавшие по сей день благовонную мирру, запахла вдруг чесночищем; и, наконец, шо при ремонте шпал на станции Охотный ряд нашли глубоко замурованную капсулу с заветами некоего Лазаря Моисеевича сыну своему Еруслану и планом тайных ходов под всей Москвой, чтоб, значит, отсидеться, когда грянет час расплаты, мужик перекрестится и придут громить.

Сходились все, утирая вспотевшие шеи, на том, что это видано ли, льды небесные, какие мучения на русской земле от проклятых недоверков, и не дивиться надо, а давить давно этих выползней до последнего-с!

Илья, скорчившись, сидел на своем ящике и пытался задремать. Печку в вагоне топили кизяком, дым шел с дополнительным запахом.

“Осторожно, православные, двери закрываются! - выл вагонный кликуша. - Следующая станция - Площадь Жидов-та-Комиссаров!..“

Люди, подходившие за кипяточком, пихали Илью коленями. Лампада над головой несмазанно скрипела и раскачивалась. Стучали колеса. Он ехал в школу.

Собственно, вчера вечером Илья уже наведывался туда - к директору. Внизу, в школьном вестибюле, веничком обил с себя снег, испы-

тывая понятное волнение, поднялся по широкой лестнице на второй этаж, причесался у висевшего на стене зеркала, заправил пейсы за уши и осторожно постучал в дверь с надписью “Директор”. Раздались быстрые шаркающие шаги, и дверь распахнулась.

Директор, внушительный мужчина, в отличие от большинства чиновничества, видимо, никогда не подкрадывался к двери, не прикинул ухом, не спрашивал дребезжаще: “Хто-й там?”, не вглядывался изнуоряюще в специально просверленную дырку, замаскированную сучком. Не-ет, он широко распахнул дверь и радостно забасил: “Кто к нам, однако, пришел! Илья Борисыч к нам пришел, однако!”

- Вы меня знаете, владыка? - изумился Илья.

- Да уж сообщили, что придет на практику... некий... - помрачнел директор. - Трудно ошибиться, мда... Ну, вытирайте ноги, проходите в келью, однако...

Илья прошел, озираясь. Стены директорских палат были расписаны аллегорическими сюжетами на мотивы Книги - виденьями светлого Леса (где, как известно, все мы будем, если будем хорошо себя вести), Лугов Счастливой Охоты - “глянь, ягель вечно зеленеет”. С потолка свисали вязки сушеных грибов, торчали из-за икон пучки сухих трав.

Директора звали Иван Лукич, и был он Книжник - в подобающих длинных одеждах и в мягких юфтевых калошках с опушкой. Он усадил Илью на табуреточку возле заваленного тетрадками и дневниками стола, а сам неспешно опустился в роскошное продавленное кресло с оторванными подлокотниками.

- Значит, на практику к нам? - начал он, ласково улыбаясь и внимательно рассматривая Илью. - Хотите, выходит, на нас попрактиковаться? Та-ак.

Он посуровел, побарабанил пальцами по столу, выудил из-под бумаг пакетик с толченым грибом, забил в ноздрю щепотку серого порошка, втянул, покрутил головой: “Ум-гм”. Потом вытер заслезившиеся глаза и внезапно ухмыльнулся и подмигнул Илье:

- А что ж вы, Илья Борисович, уж простите старичка за назойливость, не уезжаете к себе подобным? Чего ждете - очередного Яузского погрома? Ох, смотри-ите, так ведь скоро уже не в городскую управу, а в юденрат придется обращаться!..

Он перегнулся через стол и горячо зашептал: - Декрет, слышали, готовится касательно вашего брата - жить вам теперь дозволяется только на чердаках и в подвалах - так-то! Балагур-народ наш уже прозвал этот указ: “В лесах и на горах”.

Директор радостно шипел и брызгал слюной:

- Так что скоро наступит Песец вам - поднимется мозолистая нога и раздавит шестиглавую гадину!.. В пустых горелочных бочках не отсидитесь! А вот тут у нас, Илья Борисович, детские поделки...

Сопровождаемый сипло дышащим директором, Илья подошел к тумбочке в углу и тупо рассматривал расставленные изделия из желудей, вышитые подушечки для иголок, выточенные из песцовой кости фигурки - Патриарх на лыжах, Протопоп на Марковне...

Директор сопел в ухо рядом. Потом он вздохнул глубоко, возвел очи горе и, дабы успокоиться, принялся перебирать четки из песцовых клыков. Илья тоже смотрел на потолок - потолок был сильно закопчен и покрыт фресками "Мучения Учителя".

- Я ведь, дорогой мой человек Илья, в педагогике давно, - неожиданно спокойно заговорил директор. - Еще со времен разрушения Второго Храма Христа Спасителя. Ты еще в хедер бегал - засранцем с ранцем, - когда я уже в медресе гремел!... И каких только веяний не пережил, не насмотрелся - то метла новая, то собачья голова другая...

Он включил настольную лампу в виде песца, стоящего на задних лапках, и в кабинете стало совсем уютно.

- Да вы садитесь, садитесь, - махнул он Илье, - чай, умялись юлить за день...

За узким высоким окном медленно падал снег. Директор, расслабленно улыбаясь и почесывая нос, делился с Ильей опытом. Он, Ван Лукич, принадлежал к "старой школе", к старым мастерам, и все эти новомодные штучки - линейкой по рукам, коленями на бисер, сосульку за шиворот - он не признавал. Только хорошо вымоченная, выдержанная - мореная, так сказать, хворостина - вот его метода! Благая весть от Лукича! Розга есть розга есть розга...

Илья вежливо слушал, уставясь на стенку, по которой вприпрыжку бежали к Реке счастливые нарисованные обитатели Леса - доброго безопасного Леса, где едят мед и траву, и вечный досуг заполнен смехом (потом он рассмотрел подпись под сюжетом - эта была притча про Пятачка, в которого вошли бесы).

- Я, надо вам сказать, не сторонник пресловутых процентных норм, - журчал тем временем директор, копаясь в носу, тщательно там утрамбовывая. - Сидеть, вычислять... Пусть, Илья Борисович, могучие, величавые, плавно несущие свою капусту Щи будут отдельно, а юркие, пронырливые, поналезшие, чтоб им, Тараканы - отдельно. В щелях, так сказать, обетованных! Традиции, знаете ли, русской национальной гигиены, труды доктора Дубровина...

Он неожиданно резко направил настольную лампу Илье в лицо и заорал:

- Покажь язык, язык-то - высунь, высунь - желтый, небось, язык, картавый! Ну-ка, скажи быстро народную мудрость: "Жаден жидок до наживы, да жидок на расправу", - а-а, не можешь!

Ошеломленный Илья чуть не свалился с табуретки.

- Та-ак, значит, не хочешь показывать эту часть тела, - удовлетворенно заявил директор, сжимая подушечку для иголок. - Так и запишем, занесем - язык обрезанный, речь нечленораздельная. Чего ерзаешь - стигматы на задку? Ох, скользкий ты, как я погляжу, мойшастый, изворотливый... Но на ваши хитрые тухесы у нас есть кое-что с винтом!..

Он полез в стол, достал ветеранский "поплавок" Черной Тыщи и принялся привинчивать себе на грудь. Закончив это доброе дело, он снова подмигнул Илье и ласково заулыбался:

- Ну, не хотите язык показывать - и не надо! Это я так. Любопытно ж просто - вот, говорят, у вас и смегмы нет, совсем даже не скапливается... А вы к нам, как я догадываюсь, на практику прибыли? Так, так. Превосходно. Шлют и шлют. Доколе?! Мда. Ну что ж, выползайте прямо завтра с рассветом на математику в десятый "в", поучите их, хе-хе, различным вычислениям. Циркуль им покажите, угольник, отвес. Классы у нас сильные, дети своеобразные (директор вздрогнул, перекрестился). Урок проведете, внеклассное мероприятие организуете - ну, скажем, поход в Лес - за грибами там, за ягодами... Дерзайте, что поделать!.. Практикант познается на практике.

Илья старательно записал у себя на запястье: "10 "в", завтра утром".

- Сейчас чаек будем пить, - пообещал удивительный директор. - На травках! Пойду самовар поставлю. С ржаными сухариками и монастырскими бубликами. Вот мацы, правда, нет, чего нет, того... Не держим! Уж не взыщите!..

- Да ну что вы, владыка директор, я пойду! - смущенно замахал руками Илья. - Готовиться надо.

- Ну, ступай себе с Богом! - согласился Иван Лукич, рефлекторно деля из полы свиное ухо и показывая на прощанье Илье. Затем он подошел к окну, скрестил руки на груди и задумчиво выглянул на подворье Директории: - Погода, погода-то какая - благодать! Лужицы уже сковал мороз. Снежок! "И день стоит как бы хрустальный..." А уж про ночи я и не говорю, Илья Борисыч! Так что завтра у вас прекрасный волнующий день - начало вашей практической педагогической деятельности!.. Не проспите!

4.

И вот, вот - он едет нынче в школу. Друг мой, тернист наш путь, как сказано в одной зимней сказке...

“Ох, чтоб тебе, - мысленно плюнул Илья, - опять изрекаю!” Из провалов памяти, как покрытая паром бадья из обледенелого колодезного сруба, поднимались, выползали чужие слова и выговаривались, становясь своими. Называлось это - “книжная речь”, припадков и судорог особо не вызывало, на ножичек озаренно не падали, а лечили битьем “под вздох” и окунаьем в снег. Шло это, нашептывалось из той жизни, что была на Руси до Нового Крещения...

“Станция Храм-на-Большой Ордынке! Переход на станции Архипово и Астапово”, - сурово объявил голос кликуши.

Илья, очнувшись, сорвался со своего ящика в углу вагона и бросился к выходу.

Открытая клеть, впритык набитая людьми, тяжело тащилась на поверхность из шахты метро. Натужно скрипели ржавые тросы. Вокруг кашляли, сплевывая в ладонь мокроту, терли гноящиеся, воспаленные глаза. Угрюмые лица, изъеденные “желтой сарой”. Злоба утра, текущая в ненависть вечера. Мужик справа от Ильи, клерк в кухлянке, досыпал на ходу, бережно прижимая к груди складной алтарь, острым углом заезжая Илье под ребра. Слева на Илью навалилась божья старушка, державшая в одной руке кошелку с очистками, собранными на помойках (из них пекли целебные лепешки и продавали с молитвой - многим помогало), а другой рукой сжимавшая ручонку в варежке внучонка в потрепанном тулупчике. Старушка, поджав губы, степенно рассказывала: “...Ну, полез Богдан-богатырь в нору, а там еврейчата, мал-мала меньше, пишат, поганцы... Подавил их всех Богдахан-батыр, забрал ясак, вернулся к себе в деревню и стал с Марьей-царевной жить-поживать да добра наживать...”

В морозном тумане слепым пятном висело солнце. Тускло сверкали обледеневшие купола церквей (по слухам, все до единой - у жидов на аренде). Двое послушников у входа в метро ломиками выкалывали вмерзшую корягу - на дрова.

Илья осторожно оглядывался. Места были нехорошие и задерживаться тут было не надо. Позвонить бы Люде...

Вон и будка. Правда, она уже занята. В будке находилась девка - в крашеных розовых песцах и ополченской шапке-ушанке. Илья немного подождал, пугливо бродя вокруг, зябко поеживаясь, сунув руки под мышки. Нисантябрь-брь-брь...

Народишко сновал к метро и обратно, волокли всякое-разное. Видел

Илья, как из мешка просыпались мороженые клубни и закатились в сугроб, но не ринулся подбирать, солидно отошел, запомнив место.

Послушники у крыльца тщились поддеть корягу ломиком, пыхтели, поминая мать Отца Нашего, утирали пот с татуированных лбов.

К сожалению, девка в будке устроилась основательно - она и слушала, поддакивая, и сама что-то весело бубнила в трубку, потом даже в азарте стащила с себя ушанку и оказалась почему-то стриженной наголо...

Илья вежливо постучал в стекло. Девка скосила на него зеленый глаз, отмахнулась шапкой и повернулась задом.

Илья вздохнул и, пересиливая себя, робко потянул дверь будки, чуть-чуть приоткрыв ее...

Ах ты ж, дочь ночи, спаси и помилуй, Яхве, люди твоя - девка была НА КОНЬКАХ!

Сухой снежной крупой летели мысли Ильи - не связываться, не расусоливать, немедленно и без раздумий - убежать, да поздно, вляпался уже, зацепился...

По ледяным пустырям Замоскворечья, среди черных пней сгнивших световых опор, среди всего выломанного, выбитого, загаженного метались "команды" подростков всех возрастов - с кистенями и железными палицами, и на всех - бойцовые коньки, страшные сверкающие лезвия - одним ударом ноги, говорят, путника на спор перерубают. "Ночные кони". Проходу от них никому не было, пощады - никакой, и спасались только пробираясь глубокими сугробами.

- Эй, хрен песцовый! - раздался наглый звонкий голос.

Спрашивается, ну вот почему он обязан реагировать на подобное обращение!..

Илья отступил от злосчастной будки и обернулся. Трое "коней", зажав под мышками бамбуковый шест, в боевом порядке - конкой - неслись прямо на него.

Они резко затормозили, так что взвизгнула сталь, ледяная крошка брызнула Илье в лицо, залепила очки. Илья стащил их и, протирая рукавицей, подслеповато всматривался в окружавших его монстров. С одного боку топтался белобрысый прыщавый поганец с длинными салными волосами, в блестящем панцире с выбитым изображением толстощекой мертвой головы и надписью "Плохиш - Главный Жидовин!" На поясе у него болтался заточник в меховых ножнах. Прыщавец то и дело хватался за ножны, разевая слюнявый рот, блаженно полузакрывал глаза, покачивался на коньках - как бы в такт неслышной внутренней музыке - явно обожрался, сволочь, вареных подснежников.

С другой стороны Илью теснил к будке узкоглазый темнолицый злодей в камуфляжном комбинезоне и рогатой каске времен прусско-хазарской резни. На руках у него были толстые от впаиванного свинца кожаные перчатки с раструбами и иглами, а через плечо был перекинут волосяной аркан.

Илья, наконец, нацепил очки и убедился, что преужаснее всех был третий Подросток - благообразный, с длинной седой бородой, опирающийся на бамбуковый шест. Он смотрел на Илью и улыбался. Глазки у него были голубенькие, застывшие. Он смотрел на Илью, и он смотрел в Илью, и он смотрел сквозь Илью.

- Вы еврей, не так ли? - вежливо спросил он.

Илья утвердительно кивнул, сокрушенно развел руками - что поделаешь, планида такая. Потом, поразмыслив, низко, с безоружным вызовом, поклонился.

- А где же ваш капюшон, еврей? - тихо продолжал бородатый. - Где ваш обязательный капюшон с колокольчиком? Который предупреждает о вашем зловонном приближении?

Насаженными на пальцы железными когтями он соскреб сосульку с бороды.

- Холодно, - сказал он задумчиво. - Крещенские морозы. Русь. Мы вас крестим, еврей. Знаете как? Мы сделаем прорубь и опустим вас в воду. Скупнем разок! А потом вытащим и отпустим - нагим и босым - таким, какими пришли мы все в этот мир - и вы пойдете побежите, попрыгаете - отныне с Богом, а нам сорок грехов простят...

Дверца телефонной будки за спиной Ильи распахнулась, девка вылетела оттуда и штеко будланула Илью коленкой под зад. Рухнув на карачки, он проскользил немного по льду и въехал шапкой прямо в бритвенные лезвия коньков. Из развязавшегося мешка посыпалось барахлишко. Седобородый брезгливо отпихнул копошащегося Илью шестом.

- Энтот рвался ко мне, прикиньте, короче, пацаны! - хрипло докладывала девка. - Хочу, орет, войти в тебя!

Илья тихо ползал, собирал родное рванье обратно в сидор.

- Жиды к нашим бабам лезут! - звонко взъярился белобрысый мальчиш. - Девочек в полон берут!

Узкоглазый снял с плеча аркан, начал ладить петлю Илье на шею - тащить за собой. И в тот же момент, выхватив согретый под тулупом топор, рванулся с коленок Илья - сразу во всех направлениях - "пусть распускаются все лепестки", как терпеливо учил улыбчивый рядовой Ким в армейской хлеборезке, разрубая сухой ладошкой очередную буханку. Белобрысому - обухом под горло, где панцирь кончается; монголоиду -

лезвием сверху по каске, сразу видно - ржавая, смялась, потекла; девке - эх-ма, милка! - не оборачиваясь, слегка валенком в живот, - чтобы вмазалась обратно в будку и уселась там на полу, раскорячив ноги.

А вот велеречивый старец ловко уклонился, съездил Илье бамбуковым шестом по уху и, разом потеряв всю вальяжность, разбойно засвистал, заухал, призывая подкрепление: "Ко мне! Дети вдовы местных гонят!"

Послушники у метро обернулись, распрямились, охотно бросили корягу и, сморкаясь в вырванные ноздри, двинулись разбираться. Здоровые огольцы. И ломик держали грамотно - острием к себе.

Тут главное - не задерживаться, не вступать в объяснения, что, мол, все нормально, мужички, никто ничего, тихо-мирно шел по своей надобности... Дать деру - вот истинный путь к Спасенью!

И Илья побежал. Как в сказке - припустился тут же во все лопатки. Скакал по сугробам, что твой косой. Вслед ему несло: "Жидовня наших бьет! Наших, нашенских, исконных!.."

5.

Задыхаясь, спотыкаясь, виляя, бежал Илья среди ледяных глыб Большой Ордынки. Опять топор испачкал, думалось на бегу, мыть его теперь, снегом оттирать. (Не любил Илья мыть топор.)

"Снег, словно пух из вспоротых подуш", - подпрыгивал в голове детский стишок, а в ушибленном бамбуком ухе мягко зудело:

*"Ты проснулся,
А бамбук - в снегу.
Так приходит зима".*

Илья скатился с пригорка, образованного прорвавшимся, вспучившимся и обледеневшим канализационным колодцем, чуть не врезался в тын у подъезда, но удержался на ногах и даже наддал.

Он оглянулся на ходу, но преследователей - "коней" - видно не было - то ли отстали, греться пошли, то ли патруль встретили и сцепились - кто где служил, да кто больше Русь любит... А вот уже и черный толстый лед пропадал, булыжная мостовая начиналась, выщербленные тротуары - оазисы, посыпанные песком. Тут им не достать.

Тяжело дыша, Илья перешел на шаг. С Большой Ордынки свернул на Пуришкевича, где аккуратно обогнул небольшую толпу, сгрудившуюся вокруг ржавого тотемного столба с хрипящим репродуктором.

"Гензиледа, гензиледа! Медабрит Москва! - вещала черная опухоль на столбе. - Слушайте утреннюю проповедь..."

Люди стояли, задрав головы, сняв шапки на морозе, - слушали.

Притоптывали валенками, постукивали унтами. Были они заняты и потому - неопасны.

Илья беспрепятственно вышел на 2-ю Марковскую, перебрался по шатким мосткам через разрытую теплотрассу, и вот вам, пожалуйста, в конце улицы - школа. Церковно-приходская гимназия имени иеромонаха Илиодора. Высокая стена из грубо отесанных плит, наглухо закрытые, тяжелые ворота.

А возле ворот, под висевшим колоколом, Илью уже ждали добрые знакомцы - на коньках. Состав у них был несколько иной, кое-кого не хватало в строю, но бедовая седая борода хорошо просматривалась. Значит, не отстали, а выследили и обошли. Опытные твари.

Не ухмылялись, не щерили пасти, зыркали по сторонам собранно и деловито. Они тоже заметили Илью, но не торопились - сам подойдет, деваться-то некуда.

Илья остановился, растерянно озираясь. И тут откуда-то, словно из-под земли, вырос мальчик, схватил Илью за руку и потащил к гимназической стене. Небольшой такой мальчонка, основательно (и обоснованно - голь гимназическая!) оборванный, в рваной кацавейке, в лохмотьишках, румяный.

- Быстро, быстро давайте, - приговаривал мальчик.

- Подожди, - вырвался Илья. - Ты кто такой?

- Давайте, давайте, - бормотал мальчик. - Из пятого "в" я, отец учитель, вы меня не знаете, а я у ваших десятиклассников подшефный, случайно иду, гляжу - плохо дело, надо выручать, вот сюда, сюда лезьте, тут плита отходит, - он пнул ногой неприметный выступ, и в стене открылся узкий проход. Мальчик втолкнул туда Илью, нырнул вслед за ним и задвинул плиту на место. Илья провалился по колено в сугроб и, ошалело отряхиваясь - все было, как спросонку! - выбрался на утоптанную тропинку.

Они находились в углу заснеженного школьного двора, за длинной дощатой будкой туалета.

Из-за стены доносились растерянные вопли "коней":

- Ну, жидяра, мы тебя еще достанем! Ты еще выйдешь, жидь недобитая!..

Но крики постепенно слабели и удалялись.

Пока они шли по тропинке к школе, мальчик развлекал Илью былинами о битвах гимназистов с "конями" ("ка-ак дали им, гуингам!"), божился, что сам как-то попал одному стрелой в лодыжку, доверительно сообщал о вражьих повадках, попутно же он ел снег, набирая его в варежку.

- Не ешь снег, - наставительно сказал Илья.

- А он чистый, - махнул рукой мальчонка. - Здесь Котельных нет. Ну, вот мы и пришли, отец учитель, вам туда, в учительскую, только там нет никого, они все на молитве сейчас, потом позовут пороть, ну, я пошел.

И он ускакал по коридору.

В пустой холодной учительской Илья бросил свой тулуп в угол, порылся в шкафу и разыскал журнал десятого "в". Журнал бывал в переделках! Обтрепанная обложка со следами не раз ставленной сковороды, выпадающие листы в подозрительных пятнах, кроме того, его, видимо, скручивали в трубку, озирая горизонт.

Посреди учительской лежало толстое длинное бревно, к нему с обеих сторон были прислонены широкие наклонные доски. На досках этих, укрывшись телогрейками, обычно спали учителя на ночных дежурствах. Называлось сооружение - "самолет".

Илья присел на бревно и полистал журнал: физика, ботаника, прыжки через нарты, Закон Божий, химия (лист какой обгорелый - "...и яко же лед обратить в злато..."), история Патриархии, метание топора, математика...

Ну что ж, пора было идти на съеденье. Он еще раз осмотрел себя, поправил воротник свитера, подтянул белые шелковые чулки, отряхнул сюртук и вышел в коридор.

6.

По коридору бежали, прыгали, ходили на головах, а может, и летали невысоко. Как обычно. Илья шел, лавируя. Продираясь. Классный журнал он нес, выставив перед собой, как икону, чтобы еще издали могли увидеть: "Учитель идет, раз-зойдись!" (В смысле: пропусти-ите убогого!)

Но по старой школьной памяти он все ждал, что вот-вот кто-нибудь с уханьем прыгнет сзади на загривок и придется, кряхтя, бросать его через плечо, а потом треснуть по голове (журналом!) и убежать... Скользя валенками по паркету. Да, школьная перемена не претерпевает перемен, скажем так.

Илья прошел мимо молельной комнаты - там шла служба, из-за высоких мозаичных дверей доносилось стройное бубнение православных мантр и периодическое постукивание лбами то в пол, то в коврик. Далее он заглянул в трапезную, куда как раз вносили с улицы большой короб, полный собранных X-ради кусочков. Дежурные, гремя кружками, разливали из бадьи снежечичный кисель, пробивали гвоздем дырки в банках сгущенки и расставляли все это на столах.

Миновал светлую рекреацию с цветущими в горшках лишайниками и аквариумом, в котором ручной песец, шевеля щеками, забавно лущил шишку, Илья подошел к толстой железной двери с табличкой - 10 "в".

Рядом, примостившись с ногами на гладком мраморном подоконнике, сидел уже знакомый мальчик.

- Слезь с подоконника, - строго сказал Илья.

- А он чистый, - ухмыльнулся мальчуган. - С тех самых пор, как на дворе был воздвигнут новый заветный сортир, у нас куда попало не вляпаешься!

Илья вздохнул, взялся за массивную ручку в виде Вульвы-страдальницы, держащей в зубах кольцо, потянул - дверь открылась, и он вошел в класс.

Никто, конечно, при этом не встал, никого там еще не было. Влетят по звонку, а то и после - рельса нонче не услышали, суставы опухли, сани опрокинулись, десны кровоточат, вожак захромал, а вы оценки нам в журнал будете ставить или понарошку?..

Печь в классе, видимо, с утра топили, было тепло, уютно, Илью даже слегка разморило. Сладко позевывая, он принялся готовиться к уроку. Прежде всего принадлежности. Вот они. Наличествуют. Верный белый мел и старая добрая мокрая тряпка. Сколько зим!

Он высыпал на стол из мешочка разноцветные счетные камешки, разложил загадочные, так до конца и не расшифрованные четырехзначные таблицы - заинтересовать ребятню! Возле доски стояли большие деревянные счеты на ножках, и Илья машинально перебросил несколько косточек. Легкое их скольжение, дружеское математическое пощелкивание всегда как-то успокаивало, наводило на мысль о разумной расчисленности сущего. Он откусил кусочек мела и задумчиво пожевал... Раньше вкуснее был.

Ну ладно. Значит, холодновато - или даже ледовито-деловито: "Здравствуйте, садитесь, меня зовут Илья Борисович, я буду вести у вас математику, откройте тетради, запишите число, период (с утра, помнится, керахнозой был), тему урока..."

Нет, это рутинка! Тогда суматошно-проникновенно-восторженно: "Доброе утро, друзья, отложите свои тетрадки и перышки, сегодня они вам не понадобятся, я просто расскажу о том, какая удивительная и чудесная штукавина эта самая математика, о, это не примитивные догмы древних чучмек в рваных хитонах и драных бурнусах, но отважные попытки разглядеть гармонию в окружающем хаосе..." Ну и так далее. Тоже убого, конечно. А ты чего хотел?

Топот. "Кони"? Инок? Приближается звук! Голоса приближаются!

Плавно отворилась (а не отвалилась с грохотом и лязгом) дверь, и они явились ему, вежливо пропуская вперед девочек. Десятивзклассники.

Мальчики в серых гимназических рясах, подпоясанных широкими кожаными ремнями с блестящими заточенными бляхами, и девочки, одетые по-монастырски изящно и строго.

Они вошли спокойно и все вместе, как будто ждали друг друга возле школы. Организованное какое пришествие, удивился Илья.

- Здравствуйте, - сказал он. - Проходите, садитесь. - Доброе утро, Илья Борисович, - отвечали они дружно, улыбаясь ему.

Илья тоже улыбнулся:

- Вы уже знаете, как меня зовут?

Ну, слава тебе, Единый, подумал он с облегчением, кажется, разумные существа. А он-то боялся, что начнут "встречать" практиканта - в смысле "Бей жида-физрука!" (или там химика, или математика).

- Итак, ребята, на сегодняшнем уроке мы с вами... - бодро начал Илья.

- Простите, пожалуйста, - поднял руку ясноглазый темноволосый отрок с первой парты.

Неужто все же начинается, усмехнулся Илья. Традиции?

- Простите, Илья Борисович, насколько я понимаю, вы хотите обучать нас математике - то есть таинствам устного счета, или как правильно ставить математические значки на святой пасхе и мерять циркулем Иордань, - отрок вздохнул. - К сожалению, в нашем расписании нет такого предмета. Как, впрочем, и многих других, упрямо нам зачем-то навязываемых.

- Вот как? Нет в расписании? - Илья спокойно раскрыл классный журнал. - А как же тогда быть с этим? Пройденный материал, контрольные работы, отметки...

Хилые какие-то розыгрыши у нынешней детворы, отметил он кстати, нехватка каши в организме, вот мы бывалоче...

- Журнал, который вы держите в руках, - декоративный, - любезно объяснил темноволосый. - Да, да, увы... Времени у нас не хватает на всю эту белиберду, Илья Борисович! Дела ж надо делать! Они-то не ждут! Посему из всего многообразия мы выбрали главное - язык и компьютер. Это нам Нужно. Ну, язык нам преподают, есть тут один кудесник из здешних. Хоть и по жалкой школьной программе, на уровне племса, просящего хлебца, ну да ничего, ничего... А вот с компьютером совсем тускло и ничего не светит! Так что осталась одна надежда на вас, Илья Борисович! Рискну даже предположить, что вас нам сам Бог послал!

- Как вы сказали - ком-пью-терь? - изумился Илья. Он закашлялся, пытаясь сдержать смех: Вечная Котельная, Бесснежный Человек, самосчетная машина...

Илья укоризненно покачал головой:

- А ведь уже большие ребята, пора бы, казалось... Давно же установлено, что там внутри просто лежал сиделец и дергал за рычажки...

- Да вы не волнуйтесь, Илья Борисович, - успокаивающе журчал темноволосый. - Заниматься придется вовсе не со всем классом, вот тут список...

Он достал аккуратную тетрадь в кожаном переплете с надписью древней вязью на обложке: "Компьютер" и вручил Илье.

Илья отворил тетрадь: "Волокитин Антон, Волокитин Никита, Воробьева, Доезжаев, Карякин, Милушкина, Михеев, Пименов, Попова, Савельев, Телятников, Федотова..."

- Всего двенадцать учеников, Илья Борисович, - ласково заявил отрок. - Хорошее каноническое число. Говорят, при этом оптимально усваивается.

- А что ж не всем классом изучать этот самый, как его... не выговоришь-то... компьютер? - иронически спросил Илья. - Остальные, выходит, будут дремать и бить баклуши?

- Другим - другое, - ровно отвечал вьюноша. - Куиквэ суум. Вряд ли представляющее для вас интерес - бой в толпе, например, или искусство приятного разговора при заварке.

Илья повертел в руках тетрадь и решительно отпихнул ее от себя:

- Ну ладно, ребята, пошутили и будет. Какой там еще компьютер! Неужели это вы серьезно?

Он подошел к доске, взял мел, чтобы написать, наконец, тему урока, повернулся к классу и замер.

- ...обряд "брит-мила" прошел в том же году, эула месяца пятого дня... - монотонно наизусть стал зачитывать отрок. - ...происхождение: из Скотников... Оседлость: снята условно...

(Отрок читал "Дела Его", хранящиеся, как всегда предполагал Илья, где-то за семью замками...)

- ...служба в Рядах: старший хлебрез запаса... образование: допущен к учебе...

(...в кощевом яйце - разрубай и выбрасывай!..)

- ...тавро: на левом предплечье семисвечник, обвитый колючкой акации, с надписью "Житель Иорданской Долины"... временно разрешенное проживание: улица Маклаянная, хижина 503, каморка 90...

(...а яйцо в ларце, а ларец в песце!)

- ...компьютерная грамотность: хорошо грамотный... декан: Синеусов Ринат Рюрикович... Достаточно? - тихо закончил отрок. - Сапиэнти сат?

- Как тебя зовут? - устало спросил Илья.

- Ратмир. Я староста класса, - ответил юноша, поправляя узкую ленту, охватывавшую через лоб его длинные прямые волосы.

7.

Илья вспомнил неприметную покосившуюся избушку компьютерного отделения на задах обширной институтской усадьбы, винтовую лестницу в темных сенях, под отодвинутой кадкой с моченьями, уходящую черт-те насколько вглубь, истертые ступени, шмыгающие под ногами хвостатые, чадающий потрескивающий факел, а уж внизу яркий свет, хлопанье дверей в коридорах шарашки, вышитые половики на свежeweымытом полу...

Он тряхнул головой, отгоняя воспоминания. Класс сидел смирно и терпеливо ждал.

- Странный какой-то урок у нас получается, ребята! - сказал Илья сухо. - Ну грешен, ну сталкивался я с компьютером, доводилось...

Ратмир, а за ним и все остальные дружно зааплодировали. Недоросли радостно оживились, задвигались, посыпались вопросы:

- Вблизи видели?

- А сами управляли?..

- Даже зачеты сдавал по материальной части, - признался Илья.

Поскольку урок явно пропал, надо было нечувствительно перевести его в классный час "Как на духу о сокровенном" - хоть проку клоч!

Илья расстегнул тугий верхний крючок сюртука, ослабил узел галстука, хотел даже выпустить рубаху из штанов, да решил, что не поймают - гимназия-с!

Он вернулся от доски к столу и присел на его краешек в вольной позе Учителя-Братца:

- А вот скажите, друзья, зачем эта компьютерная ересь вам-то нужна? Вы, судя по всему, ребята самостоятельные, люди занятые. А это ж так, - Илья пошевелил пальцами, - узоры на стекле, предивное миганье лампочек, забава для посвященных... - Он с любопытством уставился на Ратмира: - Это же никогда вам не пригодится!

- Да, - согласился Ратмир. - Все правильно. Никогда не пригодится тут. Тута вот. Но мы и не собираемся здесь прозябать. Мы хотим Уехать.

И тотчас же класс как прорвало:

- Сколько ж можно в сугробах ползать! Отродясь и до скончанья!..

- Только и слышно: бей жиды да пей до дна!
- Надоело печь клубни в золе! - кричали с последней парты Волокитины, близнецы-братья. - Натаниэль идеал!
- И ловить песцов, заливая их норки водой!..
- А потом менять шкурки на одеяла...
- Да и одеяла-то вечно колючие! Походи-ка в таком, завернувшись!
- вопила девочка в пушистом белом свитере.
- И куда ходить-то - сплошь на каток?
- Легко сказать - уехать! - забормотал Илья, ошеломленный этим натиском. - А дороги занесенные, а дураки, пошаливающие вдоль, плюс опять же в конце пути - непременный дракон... Разве доберешься! Вон сколько уехало, отчаянных, и никто не вернулся!

Он подумал и тихо добавил: - В родную Змеевку.

- А может, они просто там остались, в Зеленом городе? - засмеялся Ратмир. (Все, все там остались! По ту сторону Реки! В Заводях! Сидят сейчас на полотенце, лениво пересыпают песок сквозь пальцы, солнечные блики на воде, книга заложена расческой... И вряд ли рвет их тоска по родной березовой каше, дикой здешней каше в мозгах и вечной раскисшей каше возле метро).

Илья откашлялся.

- Зря, - сказал он хрипло. - Пропадете ведь кто где когда...

Ратмир встал из-за парты и вышел к доске бодрый и уверенный, явно несущий спасенье.

- Был такой закрытый эксперимент "Шесток", о нем мало кто знает, Илья Борисович, а суть такова - десятый класс перед выпуском попросили предсказать свою Судьбу после школы. Целая группа подвижников бродила по домам выпускников - в лаптишках, рубище, с плетеной котомкой за спиной - сидели на кухнях, исподволь расспрашивали. Опросили, - постукивая мелом, Ратмир вывел на доске: 1) самих учеников; 2) их одноклассников; 3) учителей; 4) родню (включая говорящих домашних животных). А через срок, Илья Борисович, проверили, кто же точнее оценил. И оказалось - одноклассники! Зачинщиков эксперимента, конечно, постригли, забили в колодки и посадили в ямы по дальним монастырям - дабы неповадно было баловать с Провидением. Но слово "одноклассники" уже было сказано, уже вылетело и засияло! Да, да, именно мы знаем, чувствуем и вычисляем друг друга, как никто другой. Почему же это должно таять бесследно?!

Он положил мел, девочка в расшитых бисером сапожках подала ему глиняную чашку с водой, и он погрузил туда пальцы. Вытирая их поданной той же девочкой промокашкой, он продолжал:

- Так вот, Илья Борисович, проанализировав все, что мы знали о шатунах-первопроходцах, все эти слухи, сказанья, жалобы соседей, мы уяснили следующее: каждый уезжает в одиночку, по принципу "сотвори себя сам". При этом некоторые действительно выживают, выкарабкиваются, но обязательно еще рыща протекции, обрастая личными связями, плетя паутину знакомств, этцетера. Но зачем, напрягаясь, тужась, с шишками и кровью, знакомиться, ежели есть действительно давняя дружба, а уж она не ржавеет! Если рядом брат-ва по духу! Тридцать Знающих Друг Друга!

Он поднял сжатый кулак с тяжелым шипастым браслетом на запястье и выкрикнул:

- Возлюби же однокашника!..

- Как самого себя! - взревел класс.

Ратмир присел на учительский стол рядом с Ильей и удовлетворенно хмыкнул.

- Ну ладно. Известно, что яснополянский старец Лев Николаич в своей сельской школе лучшую ученицу сажал на шкаф. Хорошо. Но мы все хотим на шкаф - сидеть там, нагорно болтая и шалтая ногами! Всем классом, всей командой!

- Команда! - вздрогнул очнувшийся Илья. - Ага! Это-то нам очень знакомо, как же...

Он рассматривал браслет на руке Ратмира - металлический обруч охватывал круглую выпуклую пластинку, так называемый "щит пращуров", на котором были выбиты какие-то цифры, кажется "XV".

- Понимаете, Илья Борисович, - проникновенно говорил Ратмир, - класс есть единый организм, универсум, экипаж на всю жизнь. Слиянье воедино, взаимозаменяемость, как бы последовательное расширение границ Троицы...

- Да что вы, ребята, - испугался Илья. - Пресвятые Доктор, Физик, Координатор! Куды!.. И потом, неужели вы серьезно считаете, что можно практически не расставаться? Ведь как обычно после школы - друзья разбрелись, разъехались, разбежались. У всех свои заботы и свои забавы, в своем кругу, по своим углам. Это жизнь, это неизбежно, как снег.

"Зачем это я им? - подумал Илья. - Экое знание света! Или это я себе?"

- Читайте, что это у нас детское стремление сбиться в кучку, - улыбнулся Ратмир. - Роевой инстинкт! Остаются же всем классом в родном улусе. А мы хотим вместе наострить лыжи. Мы даже собираемся принести несомненную пользу окружающим, - Ратмир оскалился, - хотя бы тем, что, выходя из окружения, не повредим им флаж-

ки... И, главное, очень надеемся, что вы поможете нам, дав необходимые знания тем, кому это нужно.

Он мягко впихнул в руки Илье тетрадь с нуждающимися:

- Естественно, мы не останемся в долгу и, в свою очередь, постараемся оказаться вам чем-либо полезными...

- Чем же именно? - уныло поинтересовался Илья, устав от домогательств говорливого отрока.

- Ну, скажем, - небрежно обронил Ратмир, - мы гарантируем вам бесппроблемную практику...

- Директор-то у нас вот где! - здоровенный мальчик, сидевший возле двери, добродушно предъявил Илье огромный кулак.

- Травки вареные владыка любят жрать, - вежливо объяснили откуда-то из угла. - Грибы нюхать... Не оторвешь!

- ...А кроме того, - продолжал Ратмир, - домой целым вернетесь.

Глаза у него на мгновение похолодели, застыли.

- В каком смысле? - вздрогнул Илья.

- В прямом русском смысле - невредимым. Да это все потом, это неважно, главное - вы теперь с нами.

- Что б мы без вас делали, отец учитель! - загудели с разных сторон.

- Хоть ложись и замерзай...

- Ой, Илья Борисович, миленький!

- Просто выручаете...

- Ну ладно, - пожал плечами Илья. - Если уж так приспичило, выпестую. Дело нехитрое. Только как же я вам стану объяснять - на пальцах?

- Зачем же, - скромно сказал Ратмир. - Есть у нас компютеришко. Как положено, в подвале стоит. Может, сейчас прямо и осмотрите? Да? Ну вот и отлично, а мы тут пока своим кой-чем займемся. Евпатий, брат мой, проводи отца учителя!

Громадный детина, объяснявший, где они держат директора, выбрался, сопя, из-за парты и пробасил:

- Айда, пойдёмте, отец учитель. Ваде мекум!

Илья, признаться, рад был поскорей унести ноги из дружного класса, а в коридоре он даже начал подумывать, а не сбежать ли прямо сейчас из странноватой школы, этакого Братского монастыря, но смущали узорные решетки на окнах, братан Евпатий с выбритым монашески затылком, косолапящий рядом, да и за ворота не уйти, догонят и поволокут по снегу...

- Вот тоже еще какие-то стремные поверья, бабкины табу - что, дескать, обязательно надо хранить сию машину под землей! Невняти-

ца! - бурчал, вольнодумствуя, Евпатий. - Что за дела?! Это же не клубни... Где разумное нестремное объяснение?

- Говорят, от сглазу, - неуверенно объяснил Илья.

- Ну, а зачем втемяшилось храмы обязательно на пригорках ставить? Чтоб на салазках кататься? - иронически вопрошал здоровяк. - Вообще, все эти затеи настолько простодушны, что мыслящему человеку... - Он махнул рукой и сплюнул. - Может, наша Книга для начальных классов?

Тем временем они спустились в подвальные помещения и вошли в тесно заставленную ящиками и мешками каморку, где на горячих трубах были навалены бушлаты, а на них сладко спал замызганный мужик.

- Какой-то запах тут, - пробормотал Илья.

- Да это у нас... - Евпатий быстро взглянул на Илью. - Сушилка для грибов.

Он подошел к мужику и легонько пхнул его в бок. Мужик испуганно вскочил, тараща глаза.

- Что же вы, - укоризненно сказал Евпатий. - Разве так можно... Пересушатся ведь.

Он заботливо оттащил несколько мешков подальше от труб.

- Вот ведь весь труд так насмарку, Илья Борисович... Ничего же нельзя доверить никому. Идемте, идемте, не вдыхайте глубоко...

Мужик, сокрушаясь, что-то жалобно мычал вслед.

- Это кто же был - школьный сторож? - спросил Илья, когда они топали дальше по гулкому бетонному туннелю.

- А-а, да нет, это как раз наш учитель языка. Хворает он, варенья перебрал. - Евпатий выразительно щелкнул по кадыку. - Событие же отмечалось - Сретенье Успенья, помните, еще тогда подтаяло маленько...

- Да это когда было-то!

- Вот, с тех пор... Здесь держим, настоями отпаиваем. Так-то он тихий, а бывает кидается. Зеленоватых песцов, говорит, видит - как идут они у него по рукаву, помахивая хоботами...

Евпатий вздохнул и процитировал Илье из какой-то стародавней летописи: "Учителя пили дико и свирепо и забывали подтяжки в публичных домах".

Осмотр компьютера занял у них немного времени.

Стоял тот посреди просторного каменного мешка и был очень внушительный, на колесах. Индикаторы мигали, шкалы там разные светились неугасимо, рычаги торчали.

Илья обошел его кругом, потрогал фанерные борта, постучал валенком в тугие скаты. Тумблеры, панели - все было выпилено, как надо.

- Он самый, - с уважением констатировал Илья.

- Сделано на совесть, - подтвердил Евпатий. - Теперь бы узнать, куда чего совать и на что нажимать... Научиться бы!

- Постепенно, шаг за шагом, обязательно все узнаете, - успокоил Илья. - Всему свое время под снегом.

“Как бы не оставили меня здесь, в подвале, - подумал он опасливо, вспоминая жалобное мычание учителя словесности, - а то прикуют за ногу к компьютеру и вынудят ходить по кругу, налегая впалой грудью на рычаг, и таким образом приносить пользу, что-нибудь молоты, грибы ихние, например...”

Но Евпатий вдруг почтительно осведомился завтракал ли отец учитель, и, узнав, что завтракал, но давно, предложил немедля отправиться в трапезную (“Такой строганинки с душком в другой школе вы не отведаете”), а то ведь сегодня их ждут еще нелегкие испытания - прогулка в Лес, и надо подзаправиться перед дальним походом.

8.

Усталый (объевшийся!), но довольный, выполз Илья из трапезной, и, мурлыча:

*“Ты нас трапезой насыщаешь
И нам в Сионе ждешь град”, -*

неспешно двинулся по коридору в направлении учительской.

И пища оказалось обильной и вкусной, и застольная беседа тонкой и приятной: мягко спорили, когда организму полезнее молиться - перед едой или сразу же после (сошлись на том, что главное - не мешать локтями окружающим, и тщательно пережевывать для лучшего пищеварения).

За окнами мело. В коридоре было тихо и пустынно. Навстречу попался только все тот же отшельничающий, наверняка отлынивающий от занятий мальчик, активно зато ковырявший в носу.

- Не ковыряй в носу! - размягченно попросил Илья. - Пожалуйста!

- А он чистый! - пробормотало дитя. - Там нет ничего. Это у меня манера мыслить, задумываться...

В учительской директор Иван Лукич в фиолетовой скуфейке, стоя за трибункой в красном углу, проводил ежедневную проповедь. Учителя - в основном пожилые тетки в телогрейках и шерстяных платках - хмуро сидели на лавках, уронив натруженные руки с грубыми, почерневшими, потрескавшимися от проверок тетрадей пальцами. Илья пристро-

ился возле двери, где на стене висел телефонный аппарат надежного дедовского образца. Пришла дразнящая мысль попытаться позвонить Люде. Он тут же принялся крутить ручку, снял наушник и приглушенно в него заныл: “Барышня, сударыня... Пожалуйста, дайте квартиру Горюновых... Позвать Люду... Заранее вам благодарен”.

“Ту, ту, ту, ту”, - закапало в трубке, как в летнюю оттепель.

- Номер занят, - деловито пропела трубка. - Повторять будем?

- Будем, - вздохнул Илья.

Тут Илью заприметил директор. Прервавшись, он некоторое время внимательно в него вглядывался - кажется, был удивлен, что на практиканте после близкого общения с детьми нет видимых повреждений, потом покинул трибунку, подошел к Илье и ободряюще похлопал его по плечу: “С почином вас, Илья Борисович!”

Наклонился к уху и добавил: “Дрожишь, жиденок? Сдрейфил, бейлисрался? Видал подвал?”

Одобрительно подмигнув, он снова воротился к трибунке, зашуршал листочками:

- Так на чем, бишь, мы остановились... Ага, вот... Как Василий Ново-Блаженный мимолетно писал-то: “Сладенький жидок. Жидки вообще сладенькие. Они вас облизывают. И вам так приятно быть под их теплым, мягким, влажным языком. Вы нежитесь. И не замечаете, что поедание вас уже началось”.

Директор зажмурил глаза и восхищенно помотал головой:

- Вы только вслушайтесь, почувствуйте фразу! “Жидки сладки”. Какая внутренняя музыка, звон какие глубины! “Поедание началось”. А все мы знаем, как Андрюша из младшего класса вот так пошел гулять - и поминай как звали! Схавала, конечно, снагилила, говоря по-ихнему, банда этих человекообразных зверей в белых халатах под маской!.. Ритуальное это у них... - Директор провозвестником Черного хилиазма горестно поднял палец. - И ведь никуда от этого малого народца не скрыться! Куда ни плюнь - все скиты скуплены, все светлые обитатели обгажены, все святые иконы в Абрамленье! Блины-съедены! Ох, недаром наш народ-терпигорец отразил пархато-пейсатое иго в безысходно-печальной поговорке: “На дворе вьюга, а на Москве евреяга”... Кстати, Илья Борисович, вы почему в грязных валенках сюда вперлись? Где ваш мешочек со сменной обувью? Немедленно переобуться! Ах, не-ету! Тогда, милости просим, в одних носках у нас ходите! Надеюсь, они у вас не слишком рваные и пахучие!

Учительские тетki одобрительно зашумели:

- Сымай, - кивали они. - Разболакайся, паря!..

- Ходють, топчуть, грязищу разносят!
- Без второй обуви! Лба не перекрестят!
- А клубни русские едят...

Дверь в учительскую приоткрылась, и заглянул Евпатий.

- Иван Лукич, - позвал он робко, - можно вас на минуточку, тут у нас вот...

Директор, по-отечески сурово насупившись, прошествовал в коридор, но дверь за ним неплотно закрылась, осталась щель, а Илья сидел рядом и невольно увидел происходящее. Видел он, как директор в коридоре слабой рукой стучал в грудь, пытался рвать на себе волосы и все норовил пасть на колени, но его цепко держали с боков братья Волокитины, а Ратмир укоризненно качал головой. Откуда-то снова возник Евпатий, не теряя дорогого времени, ловко накинул на голову директора мешок, придвинул ногой небольшую табуреточку...

Все было почти как на Семеновском плацу, знаете, под Рождество, очень забавно, и Илья с интересом смотрел.

Но тут Ратмир нехотя что-то процедил и директора зачем-то все-таки отпустили, сняв мешок, быстренько дав целовать крест и слегка двинув под зад табуреткой.

Директор вернулся, пошатываясь, тяжело дыша, выкатив глаза, разеваая рот, аки подледный песец с бояном во чреве, мученически улыбаясь. Он втиснулся боком в учительскую, низенько поклонился Илье, стянув скуфейку (от директора остро пахнуло), и побрел потихоньку на свое место, задевая за скамейки, впав в ничтожество.

Внезапно Илья почувствовал на себе чей-то взгляд. Оказывается, сидевшая совсем рядом тетка размотала свой платок - русая волна плавно легла на плечо, освободилась от телогрейки, оставшись в обтягивающем черном платье с высоким горлом. Красивая молодая женщина, чуть улыбаясь, спокойно его рассматривала. Удивительно яркий синий взор...

- Василиса Игоревна, - представилась она, подавая руку.

Голос был приятный, рука тоже, и Илья с удовольствием поцеловал. Она широко раскрыла глаза с какой-то чудесной поволокой, медленно отняла руку.

- Ну как вам у нас? - спросила она тихо. - Нравится?

- Нравится, - совершенно искренне ответил Илья. - Вот прямо сейчас, с этой минуты... А вы, значит, тоже преподаете? И какой предмет?

- Я завуч. Расписание, методики... Кстати, открытый урок не хотите у нас провести? Ах, если только на западном холме, в Верхнем Городе? Боюсь, не поймут нас с вами! А вообще-то я историк.

Она чуть придвинулась к Илье, коснувшись его круглым гладким коленом.

- Вы уж не обращайтесь внимания на него, - Василиса кивнула на директора. - Дома там жена с нарушением опорно-двигательных функций, дочь с отставанием в развитии... Да и саму избу у них сейчас забирают под какой-то Дом Собраний, а жилье дают с земляным полом, где-то в таборе. Иван Лукич очень переживает.

- А у вас дома?

- А у меня... У меня все нормально, - она снова улыбнулась. - Мужик мой пьет, сынок курит. Цветок на окне посадила, думала - померзнет, а он расцвел...

Задребезжал телефон на стене. Илья схватил трубку.

- Горюново вызывали? - лениво спросил женский голос.- Ждите. Набираю.

Василиса Игоревна легко встала, прощально шепнула: "Пойду прясть свою пряжу", и направилась к двери.

- Мы еще увидимся? - поспешно спросил Илья, отрываясь от трубки.

- Обязательно, - улыбнулась она.

- Ау, ждущий! Никто не берет там, не подходит никто, - заявила трубка. - Может, там и нет никого. Хотите, просто дам послушать.

"Ту-у-у, ту-у-у, ту-у-у", - пурга гудела в трубке. Илья сидел и слушал.

9.

Тем временем дало о себе знать обильное пиршество. Желудок, при-выкший к мирному перевариванию отварной шелухи и выковырянных из клубней глазков, буйно взбунтовался против внезапных излишеств.

Накинув тулуп на плечи, Илья выскочил на двор и торопливо пробежал по тропинке в сортир. Фаллический символ на скрипучей двери. Потемневшие доски старого письма, проступающие суровые лики "Оправления с Креста" (как схватило жида поперек живота), колеблющийся свет потрескивающего трехсвечника в углу, листки тропаря на гвоздике. Место уединенного размышления, очищения от шлаков земных. "Ибо нигде более мы не предаемся столь глубокому созерцанию", как указал горбатенький богомаз.

Снег падал на голову через широкие щели. Илья покинул сортир умиротворенным и брел себе обратно, когда увидел, что высокие створчатые ворота, ведущие на улицу, распахнуты. У ворот стояла упряжка - здоровенные лохматые вожаки, позвякивая бубенцами, жадно рвали юколу. Гимназисты сноровисто перетаскивали вглубь двора какие-то корзины, тески, лукошки, соты, панты, ворвань в

бидончике, дубленые кожи, воск, большущие зубы, пеньку, мороженые тушки. Огромный мужик в полушубке, стоявший спиной к Илье, распорядился разгрузкой.

- Илья Борисович! - позвали со школьного крыльца.

Ратмир, дожевывая на ходу шанггу, спешил ему навстречу.

- Пожалуйста, пойдёмте, поможете нам, никак вы математик, - он весело потащил Илью к воротам. - А то вечно нас обчитывают! Думают, раз гимназисты...

Мужик у ворот обернулся, и Илья замер. Это был утренний "дикий архангел", усатый батюшка двухсотник из Армии Спасения Руси. И нагайка была при нем, вон она за поясом.

- Здорово, атаман! - закричал Ратмир.

- Здорово, пастырь! - захохотал мужик. - Вас, карбышат, обидишь, как же...

Он оживленно кивнул Илье:

- Зим добрых! Мы с вами, земля, кажется, уже виделись сегодня? - Он протянул сильную большую ладонь: - Павел.

Покрытые снегом гранитные многокрылые ангелы, оскалившись, лежали по бокам ворот. Илья прислонился к полированному твердому крылу, добросовестно пытаясь пересчитывать штуки уносимых припасов. Ратмир давал указания:

- Это тащите в ризницу!.. Это прямо в наш класс, под парту, это малышам подшефным... Евпатий, ты осторожнее, браток, так все горшки побьешь, ты лучше бивни носи...

Батяне двухсотнику вынесли в миске поесть на скорую руку, добавив с поклоном еще пиалу соуса. Он стряхнул снег с постамента и аккуратно расставил все это дело между каменных когтистых лап. Потом добыл походный бурдючок, отвязал крышечку, отмерил дозу, чуть-чуть выплеснул на снег - пращурам, пробормотал: "Ну, лиха им!" - и выпил. Крякнув, степенно принялся за еду. Макая куски в соус, облизывая усы, неспешно беседовал с Ратмиром.

- Это все от Авериных? - спрашивал Ратмир, чуть хмурясь. - Не густо нынче...

- Не-е, только от Аверы-младшего. Старший божился, что фарта не было. Не идет прохожий человек и все тут! - двухсотник снова захохотал.

Ратмир пожал плечами:

- Значит, передай ему: столько и еще полстолько...

- Э-э, Рат, лепо ли, возьмет сдуру да и пожалится на тебя Игумену, что не чтишь заповеди. Пришлет тот пару семеек, с десятком послушников...

- Песца за пазуху! Твой Игумен читает по слогам, у него мозг давно замерз.

- Зато он тебя хвалит! - заржал "архангел". - Есмень-смена, говорит, подрастает... Последний кусок изо рта... Дай Бог ноги, говорит, каждому... Как он тебя назвал - алчный волчец?

- Волчец, Паша, не может быть алчным, - рассеянно отвечал Ратмир. - Волчец, по Книге, это репей. Жалкий такой, цепляющийся, волочащийся...

Он внезапно остановил одного из десятиклассников, прущего жестяное ведро с мороженой ягодой:

- Эй, Телятников, братишка, давай его сюда! Ставь... Это вам, Илья Борисович. Берите, берите, будете на святках москвень-цимес варить. На целый кагал хватит! Ты вот что, Максим, снеси-ка эту тяжесть в учительскую и оставь пока у завуча в тумбочке, скажи - отец учитель домой пойдет и заберет.

"Архангел" вежливо заметил, обсасывая хрящик:

- Ребятишкам спасибо, конечно. Но я бы вам, зяма, посоветовал самому ни в коем случае не возиться, а отдать ягоду здешним бабам, повелев испечь пироги на поду... - Он конфиденциально понизил голос: - Получите за одним разом два удовольствия, все девять блаженств! Я вам отвечаю. Хотите, мы с вами могли бы...

Ратмир лениво вмешался:

- Бородатого давно влику зрел?

- Какого Бородатого? "Коня", что ли? Да как-то попадался под ноги...

- А точнее - давеча, намедни?

- Мнится, вечор. Кстати, борода прицепная, истинно говорю, по нашим астралам пришло, да и остальная волосатость сомнительная. Лысак беглый, что ли...

- Из этих? Хара-хара? Их же всех вроде тогда... отлучили?

- Ну, выкарабкался, бывает, крышка отошла, отлежался... А чего он - неблаголюбец, некротец? Отвьюживать не хочет?

- Представляешь, Павел, в гордыне своей заявляет - максимум десятина, вот что по божеским законам вам положено! Где-то что-то вычитал... Булла, мол, была... Все-таки излишняя грамотность вредит животным - прав, ох, прав был Герберт Джордж. Мы, мол, вам не степная конина - с нас каймак драть, ну, знаешь, все эти разговоры отороженные...

- Метелить пора, лед ему в рот!

- Да я надеюсь - оттает еще. Ведь вот так поговоришь по душам, внушишь - он, хара, и внемлет.

- Вообще-то он, хара, на Реку собирался, - раздумчиво вспомнил "архангел". - Представляешь примерно, где обрыв лесной? Это идешь от Нижнего Носа, проходишь заимку, забираешь вправо, а там через два капкана сворачиваешь вбок и дальше мимо ясных пней... Место глухое. Поговори, там удобно.

- Ладно. Теперь насущное - привез?..

- А как же! Как договаривались.

Двухсотник осторожно снял с нарт мешок, тщательно укутанный брезентом, поставил на снег.

- Гляди... - мужик сунул туда руку и принялся звякать, греметь железом. - Тут тебе и катанки, и чесанки... в масле еще... с пистонами... и кремневые есть... Снежatina! Прямо с амбара.

Ратмир, близко наклонясь, смотрел.

- Ладно, годится, - выпрямился, довольный. - Петро! Савельев! - крикнул он, повернувшись к школе. - Где у тебя Доезжаев? Уже внизу? Ну, давайте, братухи, выносите добро...

Десятиклассники резво принялись таскать к воротам туго набитые плоские мешки. "Архангел" возился, укладывал их, присобачивал, постоянно сбиваясь со счета, то зачехляя брезент, то снова в сомнении под ним копаясь, шевеля губами и загибая пальцы.

Призвали, наконец, Бога и Илью в свидетели, и все благополучно разрешилось.

- Крепкое хоть зелье-то, с придурью? - отдуваясь, спросил напоследок двухсотник.

Ратмир пожал плечами:

- Сами не балуемся, ты же знаешь. Но дегустатору, "анима вили" нашему, этот сорт очень по вкусу. Буроватенький такой.

Вынырнув из-за крыш, над головами низко завис вертолет Армии Спасения, защитно размалеванный святыми ликами. Люк был откинут, и на порошке, свесив ноги наружу, сидел патрульный в клювастой скоморошьей маске и вывернутой наизнанку шубе. На коленях у него лежали расчехленные перуновы стрелы.

Двухсотник весело погрозил ему кулаком:

- Наши катаются! Опять за зипунами собрались!

Патрульный помахал рукой, сбросил вниз пачку листовок - они, кружась, разлетелись по снегу. Вертолет поднялся выше, развернулся и улетел.

Илья подобрал прокламацию. Это было известное: "Миссионер, смирись!" (всем проповедникам всех ответвлений, бросившим это грешное дело, перешедшим в истинную веру - гарантировалось

Прощенье. А так - секим и аминь!) На обороте в "Памятке Русскому Человеку" предлагалось нераскаившихся ловить и варить в кипятке. Тут же приводились рецепты:

"...когда миссер сварится, воду слить в крушонницу и подавать ее на стол. Тушку обложить морошкой, выставить на мороз и подавать попозже в холодном виде".

"Архангел" Павел, вытирая руки о листовку, попрощался с Ильей:

- Ну, зяма, удачных трудов вам, хороших мозолей! Надеюсь, увидимся еще, попадетесь. А про ягоду не забудьте...

Хлопнул Ратмира по плечу: - Прощай, всадник божий!

- До завтра, - кивнул Ратмир.

"Архангел" лег на нарты, гикнул, особо свистнул, псы понесли.

Взметнулся, закружившись остывшим белым варевом, снег, и батька двухсотничек исчез за поворотом.

- Пойдемте в школу, отец учитель, - вздохнул Ратмир. - Верхний Нос не замерз у вас? Будем в Лес собираться.

В классе заканчивали сборы. Кто-то, забившись в угол, торопливо дописывал весточку и сворачивал треугольник конверта. Гриша Доезжаев, обвешавшись снаряженьем, подпрыгивал легонько - проверял, не громыхает ли где чего. Евпатий, вытянув богатырские ноги, полулежал, закрыв глаза, настраивался. Девочки наспех что-то доштопывали, перекусывая торопливо песцовые жилы зубками, переглядывались весело, поглядывая на Илью. Антип Прохоров рассматривал сегодняшнюю наледь на подоконнике - по форме и цвету определял погоду на вечер.

Возле доски висело свежее "Послание". Илья подошел поближе, пробежал глазами. Боевой листок! Журили Михеева, который, погнавшись сразу за двумя "конями", бездарно, с треском провалился под лед, схватил простуду и выбыл на время из борьбы, нанеся ущерб общественному здоровью, делу класса, Единому Организму. Жучили Евпатия, который явно несдержанно ведет себя за столом - аж за ушами трещит! - увеличивая, таким образом, постоянный Общий Вес, из-за чего кто-то должен за него отдуваться, сидеть без сладкого.

Имели место Страсти по Елисавете Воробьевой - "Светлый образ":

"Он вошел, и в классе сразу как-то посветлело... О, ты прекрасен, возлюбленный мой, ты прекрасен!.."

(Илья с изумлением обнаружил, что песнь посвящена о. Учителю, Илье свет Борисычу).

Наконец, было большое Откровение Ратмира "Лесные богатства. Экономический обзор", к сожалению, перегруженное цифрами и написанное на гимназическом аргю.

Илья подошел к окну. На улице - слякоть. Шелег пополам с гешем. И девушка стоит рядом, белый свитер, тонкое лицо. Хорошо так стоять, прижавшись лбом к холодной слюде окна, а руки положив на горячую батарею. Девушку звали Лиза Воробьева, и была она из тех, кто обязан был овладеть компьютером. Да пошто он ей, постылый?! Грубый шлемофон на изящной головке, руки вечно в смазке... Ей бы пластику там какую-нибудь, мелодекламацию, возникновение из пены... Хотя, кто ее знает, резонно подумал Илья, ведь снаружи снежно и сложно. Вот подойдет сейчас сзади Евпатий да и рявкнет: "Сто рупьев, отче! Помните у тонкого охальника Ивана Алексеича, старче?"

И мы едва... схватить ее за... в непродолжительном времени перейдя через границы...

10.

Электричка объявила: "Платформа Нижний Нос", открыла, зашипев, бронированные двери, выпустила их и ушла. Только лягнули, клацнули колеса, мелькнул штык кондуктора на последней площадке, и стальная махина уползла за поворот.

Они спустились с пустынной заснеженной платформы и грозной боевой колонной влились в Лес. Ратмир и его ратники были в тяжелых кожаных куртках на меху, и у всех на левом рукаве пониже плеча была вделана металлическая пластина - "щит пращуров" с начертанным знаком "XV".

Илья двигался как бы в обозе. Было привольно и спокойно. Толкотня, суматошное движение, скрип шагов и визг полозьев, крики каюров, набег, смог, стресс, пик и все, все остальные - остались дома. Вкусно пахло смолой, которую никто не лил на тебя сверху, несусветно бранясь.

Цепочки песцовых следов на снегу - отпечатки трехпалых лап и бревна хвоста. Веточка хрустнет - и снова тихо. Славно!

Смуцал немного только известный уже подшефный мальчик-гридень из младшей дружины, тоже напросившийся в поход, обещая хорошо, тятенька учитель, себя вести. В основном он двигался рядом с Ильей, чинно держа его за рукав, но время от времени принимался вдруг скакать с резвостью меньшого братца, норovia сколупывать с коры застывшие прозрачные капли - так называемую "жуйку" и совать, немытую, себе в рот, прикладывая к снегу ухо, по храпенью разыскивая под сугробами впавших уже в спячку снежных червей-зимлячков и складывать их в тут же найденную ржавую консервную

банку с обрывком этикетки “сайРа с ею”. Так что Илье приходилось хватать его сзади за шарфик и погонять перед собой.

Слева и справа от тропы тянулись причудливо изогнутые, стелющиеся над снегом корявые стволы берез, низкие кустарники, замерзшие болотца, поросшие торчащим из-под льда папирусом - привычная подмосковная тундра, зябкие хляби. Дикий зеленый шум побегам пробивался сквозь снег - Илья сорвал, с хрустом разгрыз дольку, выдохнул родимый отпугивающий запах...

Попадались гигантские валуны, вынесенные и отполированные ледником еще до Второкрещения. Выбитые на них узловатые знаки, праписьмена - “черты и резы” - никто прочесть не мог, хотя, говорили, в полнолуние на Антиоха Зимника они оборачиваются в православную речь.

Миновали горелое неживое дерево, увешанное дощечками с пожеланиями - очередное “Древо Плача народного” (в основном, по обычаю, желали, чтоб у соседа пеструха сдохла да песцы нестись перестали). Здесь тропа разветвлялась. Слева тянуло жилым духом, подгоревшей кашей, вареным топором, казалось, даже доносится поскрипыванье сушащихся на морозе портянок - заимка была близко. Повернули, увы, направо. Мальчик печально принялся вспоминать, как Патриарх, скитаясь в снежной пустыне, питался, как известно, котлетами из снежевики с грибным соусом.

“И нам велел!” - облизываясь, бубнил мальчик. Потом он заявил, что ножки устали, и Илье пришлось тащить его на закорках.

Сразу вспомнилось: “Детство. Тогда для евреев еще было рабство. Я маленький. Горло в ошейнике. И папа вот так же, на плечах, везет меня, посапывающего, стылым утром, в бойцовник, в младшую группу...” Там они перед своими драками “на кулачках” гоняли прутиком на замерзшей луже маленький красный клубень. Да, это было хорошее время, когда все только начиналось, когда Рогач Косноязыка еще только замышлял Ледяной Бунт, подбирая в свою банду каждого, кто может носить меч; времечко прозрачное и поцарапанное, как лед той канувшей лужи.

Илья двигался ровным шагом, поматывая головой. Дозорные с Евпатием во главе на легких лыжах бежали впереди.

Вот они издали замахали, засигналили лыжными палками, сообщали что-то, но Илья эту азбуку плохо знал, он улавливал только отдельные слова: “...река... лед... блестеть...” Однако мальчик-наездник спешно спешился, ловко соскользнув со спины Ильи, выволол из-под тулупчика укороченный самопал и, грозно щелкнув, взвел курки.

- Убери немедленно! - растерялся Илья.

- А он чистый ! - ухмыльнувшись, успокоил постреленок, похлопывая по вороненому. - Не засвеченный... Этот ствол на дело со мной еще не ходил.

Деревья постепенно расступались, переходя в густой кустарник. Показалась серая лента замерзшей реки, черневший лес на другой стороне. Дул холодный ветер, нес снежную крупу по льду.

Они лежали в кустах над обрывом и смотрели вниз. Там, на шероховатой глади реки, сидели, стояли, подпрыгивали, шевелились - согнанные в кучу - юродивые, убогие, блаженные, попрошайки, нищелюбы, побирušки, сироты, калики перехожие, культяпые, непарноногие, шелудивые. Кое-кто тряс веригами, кто-то приплясывал на льду босой (говорят, детки, полезно), выпевая:

*Месяц светит,
Котенок плачет,
Завтра встанем,
Утром поужинаем.*

Вокруг неподвижно стояли "кони", опираясь на бамбуковые копыя. Несколько конвойных в темных очках - от снежной слепоты - бдили, озираясь, поодаль. Надменно подбоченясь, торчал, как кол, знакомый злодей - голощекий Белобородый. Белая борода его была заплетена в косичку и переброшена через плечо, обветренная физиономия вымазана зеленой целебной грязью. Невнятно цедя слова, он принялся что-то втолковывать толпе, до обрыва долетало: "Пялься сюда, люд московейский... взнуздать гордыню... затянуть пояс потуже... на пирах вставать из-за стола слегка голодными... платить отныне половину..."

- Как же - половину, родимец? - плакало сборище, утираясь ветошкой. - Когда всегда треть была!

Сброд этот, насколько Илья знал, составляли люди все больше степенные, сурьезные, устойчивого среднего достатка. Нахрапом их было не взять. Разом же падать наземь и подставлять выи было не в их хватках.

- А отныне - половина! - жестоко ухмылялся Бородатый. - И присно, ну, а там дальше посмотрим. А то ведь дверцы в подземке хлипкие, можно и выпасть на полном ходу, толкнет неведомо кто - и все полущки растеряете...

- Эх Бородатый разливается! - с восхищением качал головой мальчик в кустах, неосторожно сплевывая вниз. - "Конь", об лед!

У озорника - видимо, от азарта ожидания - напрочь пропали из речи спокойно-размеренные ратмировские интонации, зато появились разбойные манеры - он харкал во все стороны и непрестанно бранился. Потом он впихнул Илье в руки какой-то пенал:

- Это ваш складной меч, отец учитель, именной складенец, берите, берите, я его всю дорогу за вами таскал, да вы не нюхайте, это там чьи-то святые мощи в рукоятке...

Сейчас мальчик лежал в сугробе возле Ильи и нетерпеливо грыз край щита.

“Не грызи!” - хотел сказать Илья, но смешался.

- Травяной мешок вареный! - снисходительно поругивал мальчик Бородатого. - Нажевался и выступает. Так они ему и отсыплют медяков! Щас!.. Клювы разверсты, ан клубни развесисты... Мы-то их, слава Ейбогу, изучили... Костылем со стилетом ка-ак двинут промеж лопаток! Ого! А жестяная тарелка с медными грошиками, край отточенный, как бритва - метательная, - по горлу целят и не промахиваются!

- ...А теперь для доходчивости и понимания нового распорядка, - объявил во всеуслышанье Бородатый, - отобрав из ваших рядов некоторых - по примеру сорока мучеников, постоявших за веру голыми на льду, - мы ими соответствующе займемся!

“Что у него за манера такая неприятная - раздевать на морозе? - морщась, думал Илья. - Давеча меня, мерин бородатый, хотел в проруби окрестить...”

Оцепление подняло по команде копья, тесня оборванцев. Толпа шарахнулась, давя друг друга, раздались стенанья.

И тут по-звериному молча метнулся с обрыва вожак Ратмир. И кинулась вслед остальная стая.

Илья, будучи разумным, но стадным, тоже воинственно привскочил и попытался скатиться с обрыва, но мальчик был начеку и крепко схватил его за штаны:

- Сидите уж, отец учитель! Без вас там...

“Кони” в панцирях сноровисто выстроились тупым куренем и свирепо устремились вперед, казалось, сметая гимназистов: вот-вот врежутся и раздавят, но те, расступившись, налетели с боков, да за жабры - и началось побоище!

...Послушай, далеко-далеко, у озера Чуд, где Желчь, превращаясь в реку, течет, - бысть сеча ту велика...

Воины Ратмира, обрушившись с обрыва на лед, исполнишася духа ратна, грянули на врага. Такого Ильи никогда не видел и не представлял даже, что нынче такое возможно, - это была древняя “буза”, “пляски под драку” - страшная система пагубы пустыми руками, основанная на языческих еще наговорах и медитациях, когда “дух входит в кулак” и человек превращается в чудовищную боевую машину.

Тут, увидев, как дело-та поворачивается, вступили в битву и нищие.

Слепцы, неслышащие, мычащие, лишенные отдельных конечностей, вся эта убогая восставшая плоть - в едином порыве гнали угнетателей. Уже и Илья, отмахнувшись от мальчика, цепляясь за кустарник, гремя топором и мечом, сверкая сталью, спустился с обрыва - давно он хотел поучаствовать в благородно-освободительном возмущении, и вот довелось.

Загнанные "кони" (ох, не вернуться уже им в родные кочевья! Ждет их иное Коньково) метались по замерзшей реке, подвергаясь постепенному истреблению. Вот очередной, захрипев, лег на бок и затих...

Все завершилось. Радостно тащили Бородатого, его поймали уже на исходе, кинув перевес - ловчую сеть. Нищие оживленно галдели, шумно обсуждая сражение и показывая друг другу язвы и раны.

- Пэр аспера ад бестиас, Илья Борисович! - приветствовал его разгоряченный, с закатанными и все равно забрызганными рукавами кожаной куртки, Ратмир. - На шкаф, отец учитель, на шкаф!

"И лестница туда крутая, скользкая, - привычно заныл про себя Илья, - или даже раскачивающаяся, веревочная, на ледяном ветру..."

Тут поблизости снова возник подшефный мальчик и повел победные речи.

- Кончено с "конями"! - распространялся мальчик, небрежно дую в дуло самопала. - Давно-о мы до них, негожих, добирались! Сколько они у нас грядок грибных потоптали, сколько грибонош-одиночек сгнуло в лесной глухомани - это ж ни в сказке сказать!.. И вот - виктория!

- Все полегли? - облегченно спрашивал Илья.

- Иные изранены ушли, царствие им... - мальчик перекрестил ножом подметку. - Пропадут, будем верить, в сугробах - заметет к утру али задерет кто.

Юродивые тем временем посовещались с убогими, и из их рядов выдвинулся благообразный лощеный нищий в дорогом вретисе. На груди его широкой висел вырезанный из жестянки наперсный крест, и опирался он, согласно сану, на клюку с набалдашником в виде песца-двуглавца.

- Спасибо, кормильцы, поспособствовали! - сдержанно и достойно принялся благодарить он гимназистов. - Господь вам подаст! С миром ступайте, старших почитайте да падающих толкайте... Успехов в учебе!

Ратмир, не тратя дорогого времени на пустые разговоры с неинтересными людьми, от которых ничего не зависит, негромко сообщил:

- Дарить теперь будете нам - треть, как и раньше. Больше вас никто не тронет. Куны складывайте в борти, дымари заберут. И помните притчу о пчелах неверящих.

Отвернулся и стал подниматься по откоосу. За ним карабкались остальные ребята.

Преображение витязя в мытаря ("Успехов в учете!") не шибко поразило Илью. Тут даже если бы сейчас из сугроба восстал Патриарх и - оц, тоц, перевертоц - вытащил из митры за уши живого песца, Илья бы только вздохнул. Чего уж там...

Скребя в затылках и вообще почесываясь, нищие побрели по зимнику, постукивая тирсами и посохами с железными оконечниками. Слышалось их протяжное и заунывное: "Уж мы лед усеяли, усеяли..."

Дошел черед и до Бородатого. Накладные волосы с него сорвали в сраженьи, включенная борода-мочало трепалась на ветру. Расхристанный, спотыкаясь о трещины почвы, тащился он на обрывистый лесистый холм, его для порядку подталкивали сзади тычками в шею: "Съел, брат?"

Наверху гимназисты уже заканчивали монтировать и устанавливать раздвижной столб с перекладиной. Бородатого стали крепить к столбу, заглядывая в иллюстрации, причем - примечательная деталь! - без единого гвоздя, как издавна ведется на Руси. Бичевать предварительно не стали, обойдется.

Тут бабка какая-то простоволосая, нищенка, кинулась к его ногам, обхватила. Хотели было (святая простота!) оттащить, увещевая, но, оказалось, ушлая старушка просто ботинки с коньками снимала, чего добру пропадать, еще послужат - по замерзшей воде аки посуху.

- Славь гегемона! - говорил Евпатий и тыкал Лысака легонько под горло лыжной палкой.

- Хай виват интеллект! - послушно вопил с креста Лысак, тряся бородой, похожий одновременно на ожившее Хайгетское чудовище и на Волковский бобок.

Гимназическая братия, закусывая бутербродами, одобрительно кивала, лениво советовала Евпатию: "А вот ткни его еще знаешь куда..."

Бородатый бушевал:

- Каюсь, обмишурился! Обращаюсь! Виноват, исправлюсь! Примаю иночество и отныне прозываюсь Архип! Веру в пазухе несу!

Темнеть начинало, пора было возвращаться восвояси из ледяного похода.

Бородатого, посмеиваясь, отсоединили от столба (пояснив Илье, что нельзя говорить: "Он хищен и злобен", но - "Одержим был и прельстился", с кем не бывает, знамо дело - леса лысы, работа адская будет сделана и делается уже, и тогда соблазняются многие), и он с клетком рухнул, обвалился в снег. Ему раздобыли огромные лыко-

вые снегоступы, и новоявленный инок Архип убрел по сугробам, горячо разговаривая сам с собой, божась, размахивая руками и запрокидывая лысую голову к небу. Валил белый снег, расстился, заметая след заблудившегося сына человеческого.

11.

На затерянной в сугробах маленькой станции пришлось долго ждать электричку. Ее все не было. Тоскливо выли песцы в вечерних снегах: “сно-у-у!”

Платформа была пуста, пустынна. Евпатий подошел к ее краю и пробурчал, что вот так можно ждать и ждать, до второго Спаса, а потом кто-нибудь посмотрит вниз и увидит, что рельсов вообще нет и все обросло льдом. Или, скажем, сказочным колючим растением.

Появился, размахивая фонарем, здешний смотритель, делающий обход. Подивившись, повел озябших детей и их учителя к себе в будку (“как-нибудь потеснимся...”), напоил их пуншем из чайника, рассказал, что уехать отсюда в этот период трудно - поезда то долго не появляются, то сразу три подряд идут, передвигаются стадами. И все равно проносятся, не останавливаясь, переполненные. В лучшем случае удастся детей устроить в ящике под теплушкой, а уж отцу учителю придется трястись на крыше.

- Уедем в нормальном вагоне, - уверенно шепнул Илье мальчик. - Вот увидите.

Смотритель, вздыхая и сморкаясь, долго жаловался, что лесные недруги безобразничают, то и дело совершают набеги на его сторожку. Попутно посетовал, что станция на отшибе, вдалеке от дорог, и как это они, бедолажки, сюда забрались, заплутали, видно?

- Мы едем в сторону, - нехотя отвечал Ратмир. - Разве вы нас не узнаете?

Смотритель, заслышав книжную речь, только сейчас подслеповато вгляделся в “щит” на его рукаве и отшатнулся в изумлении. Знак этот явно был ему знаком.

Евпатий рукой в железной перчатке достал из печурки уголек и аккуратно вывел на побеленной стене “XV”.

- Отныне будет тихо, даже скучно, - объяснил он смотрителю, следившему за ним с испуганным почтением.

- Чертовски хочется уехать! - задумчиво произнес Ратмир. - И, может быть, - эх, мечтать так мечтать! - все-таки внутри вагона, с освещением, а то, как Пришедшему и Непонятому песцами в ермолках И.Х., иногда что-нибудь хочется сделать - не могу: темно, темно...

Смотритель останавливал электричку всеми средствами - подавал знаки фонарем, разложил костры на платформе, хотел даже немного перегородить пути бревном (отговорили), казалось, сам готов был взойти на рельсы.

Электричка озадаченно притормозила. Смотритель мгновенно, сорвав какие-то пломбы, открыл своим ключом дверь последнего вагона и запустил их внутрь.

- Это прицепной вагон, исповедальня на колесах, - быстро объяснил он, прощаясь. Мигнул в последний раз его фонарь, и состав тронулся.

В тамбуре в самую душу взирал с потолка равноапостольный образ Железного Монаха, сидящего у себя в избушке лубяной под дыбой. Это сразу настраивало на доверительный лад.

В вагоне-исповедальне было не слишком свободно, но сидячие места имелись. Пахло излитым русским духом - сивушными маслами, прокисшим квашеньем, мочой в проходе, блевотиной повсюду, сухим дерьмом по углам. Это формула есть веселия Руси, там все через Пи выражается...

Кое-кто бродил, шлялся по вагону, кочевряжился. Те же, у кого, по выражению древнего автора, "хмель был незазорного свойства", мирно дремали. Шибко храпящим засовывали в рот портянку, чтоб не храпели.

Илья уселся возле окна на свежооструганную, вкусно пахнущую лавку. На замерзшем окне было начертано: "Спаси вагон от шумных сивонистов!"

Электричка тряслась и дребезжала, пожирая пространство. Прицепной, шестьсот веселый, вагон качался и скрипел. Вокруг гомонили:

- Православие, по сути, богомать, третьесортно. Трудно пережевывается. Все время в нем какие-то щепки попадают - это что же, с крестом рубили?..

- Ты слышь, друган, все мы в оны годы лезли через забор в соседскую церкву - там, как говорится, и свечки слаще! Но пора бы уже и остепениться, понять, что краше своей веры - исконной, пуповинной - нет нигде! А православье - лепешка насущная, детское место. В нем хорошо и уютно, можно свернуться в клубочек. Сказано же в Книге: "Крошка Русь... и воды отошли..."

-...называется Державная икона Божией матери, кстати, рекомендую сходить помолиться - сеанс! - так вот, у нее на башке макитра, а на ней - стародавнее изображение солнышка, крючковатое такое. Эх, выйдет, выгланет крючковатое солнышко из-за туч, разгуляется!..

- Ржа лож! И лжа рож ихних! В фартуках, с молоточками, обступают, тянут когтистые лапы - хотят хряснуть по коленке!..

- Такое впечатление, что забыл про нас Господь! Положил как-то в морозильник и забыл...

-...нужен переход Руси из жидаобразного состояния к ледяной твердыне...

- Учили же старые люди - на отчество, на отчество тоже надо смотреть! В корни!

- Знамо, замешали квашню да на жидовских дрожжах. Вот и ешь пирог с еврейским фаршем...

Илье хотелось снять шапку и треснуться головой о стенку вагона. Когда же это все кончится, все эти разыскания о начале конца Руси, упреки во всем, окромя погоды, когда же я перестану все это слышать, видеть и обонять, когда же, а?

У вас нет другой Руси? Я хочу обязательно Русь, но без этого. Она пьет и бьет - значит, любит.

Ребята тихо пели, перебирая струны:

*Будет все, как мы хотели, будет долгий звон хрустальный,
Если стукнуть лыжной палкой ровно в полночь по луне...*

“Будет все, как они хотели, - думал Илья. - Это я теперь точно знаю. Убедился. Где вы, простые и понятные прежние бунташные времена - мускулистые, рукастые и мордастые двоечники и, как водится, очкастые, головастые, хилые отличники (как на той же Луне) - ау, увы! Новая генерация - элои нашего смутного Ледниковья - закаленные такие божьи снежинки. Они будут, как электричка, отважно грохотать вперед и вверх, навстречу взвешенному и расчисленному, на высокоуважаемый шкаф...

А я?! Я никогда не Дозвонюсь До Люды, - понял Илья вдруг. - Это как в сказке: один землемер очень хотел попасть в Замок, из землемеров в небожители, но никак не мог, хотя ничего ему вроде не мешало. Не дано по определению. Предначертано.“

Ратмир-воевода сидел насупротив Ильи и читал какую-то хронографию.

Вот он, повелитель бурь и снежных мух. Ему все ясно и почти все понятно. Вокруг шатия - товарищи, с которыми вместе боролись. Хорошо!

- Скажи, Ратмир, что ты читаешь?

- Это, Илья Борисович, “Лекции” одного франка, он тут пишет: “Детей должно будет так воспитывать и обучать, чтобы они знали, как им действовать в человеческом обществе для того, чтобы быть счастливыми...”

- Интересный пергамент, - пробормотал Илья.

- Полезный, - тихо уточнил Ратмир. - Не просто - как выжить в общезжитии, а еще и быть счастливыми. Не из-под палочки... Мне нужно. Я ведь хочу стать учителем.

Он заложил пальцем страницу и наклонился к Илье:

- Вы поймите, Илья Борисович, мы же не закаляки какие! Мирные гимназисты, вынужденно принимающие форму сосуда. Что толку в гуманности, если окружающий гумус таков... Сугробная жизнь, правила игры! Помните, юный Павлуша осознает, что "полные баллы" от Учителя (сиречь - от жизни, от судьбины) получает не самый способный, а тот, кто быстрее всех подаст треух. Мы же еще и скорректировали, усилили - у нас самый способный и подает треух. Не переломится! На общее-то благо... Но мы ждем и ответной реакции, ходов навстречу - Сверху (кто-то там все-таки, видимо, есть). Это же метанье бисера - для тех, кто понимает. Поэтому нужна уже не училка с тетрадками, а компьютерный многознатец - вот как вы, Илья Борисович, Большой Побратим, который так нам во всем нынче помогает.

Ратмир благодарно поклонился Илье и вздохнул:

- Каков поп, вдалбливали нам, таков и приход. А вот каков Уход - нигде ничего не сказано, приходится доходить самим. Мне вот часто снится какая-то огромная Тихая купель, прозрачная голубая вода залива, лед сколот, пышная зелень на берегу, белый песок, и мы с брателлами зачарованно смотрим с высокого борта каяка, и солнце напекает латы... К чему сей сон, зигмунд его знает!

Лицо Ильюши: горбоносое, вытянутое, подслеповатое (мое, значит, очкастое лицо в его простой оправе) выражало какую-то тупую, болезненную заботливость (о, как он угадал!).

"Правда што ль обрести новые небеса и новую землю? - лениво размышлял Илья. - На вывод, в дивное дикое поле? Не надо будет больше пробираться к кучам мерзлого угля, откалывать, озираясь, куски и тащить в наволочке, по пути подбирая щепки для растопки. Не потребуется ходить с ведрами на саночках за водой, спускаясь к проруби по проклятому обледеневшему откосу с вмерзшими дохлыми песцами (а ведь есть, говорят, такие ведра, что идут домой сами). Хочется, наконец, сидеть возле оттаявшего окна, завешенного тонкими прозрачными одеялами (говорят, есть такие), а окно приоткрыто, и ветерок (не пурга, смутно представляете?) надувает и колыхает их... Причем сидеть не на привычном старом ящике с торчащими сучками, а на ящике мягком (говорят, существует), под лампой, которая светит, вблизи батареи, которая греет, - и держать на коленях не Книгу, а

книгу, а на стене - полки из гладких блестящих досок (говорят!..), а на полках - книги, книги, книги, а за окном не вечнозаснеженная помойка, а что-нибудь, даже не знаю... другое! Хочется также большей предсказуемости при выходе из подъезда, какой-то хотя бы последовательности ("один из них Утоп..."). А то вместо обещанного острова канцлера из морозного тумана все время выплывает остров доктора...

Но с другой, с другой стороны, с родимой, так сказать, сторонки! Отродясь жить на Руси, в теплой ее шерстке, худо-бедно в сытости и относительном покое - и вдруг уходить из избы, бродить, скитаться, неизвестно где паразитировать - неблагоприятно, даже неудобно как-то. А тут с детства знакомый подъезд с его домашними запахами, родная речь - мать, ласково вопрошающая: "Яша, хочешь щец?" А куда к лешему девать врожденную способность различать десятки оттенков цвета снега?.."

Илья, покашляв, печально обратился к Ратмиру со строками Книги: "Не падайте духом, провождая время с жидами и маршируя в грязи, уповайте на будущее, и, если вам невероятно повезет, вы, может быть, и выйдете в один прекрасный день из Леса и увидите впереди Длинное Болото".

- Видите ли, ребе... - начал Ратмир, улыбаясь, но в этот момент вагон дернуло, заскрежетали колеса, электричка резко затормозила. Многие попадали со своих мест, но как-то равнодушно.

Народ, кряхтя и охая, принялся собирать разлетевшееся имущество, хмуро переговариваясь:

- Чего там - опять пути впереди разобрали?
- Шпалы на дрова, рельсы на Царь-ботало...
- Да нет, это банда Василисы...
- А-а, лесные Воительницы пошаливают, весталки-встаньки...
- Снегини, тудыть им клубень!

Илья осторожно выглянул. Вдоль вагонов, на низкорослых мохнатых горбунках скакали крепкие ядреные девки-православки в ватниках, с боевыми рогатинами. Вздымали горбунков на дыбы, свистели люто. И среди них, отдавая приказанья, ехала предводительница - русоволодая, русскоглазая Василиса-краса. Илья машинально облизнулся.

Через малое время двери тамбура слетели с петель, и в вагон ворвались снежные весталки - румяные, разгоряченные, пахнущие морозной свежестью и нежным потом. За ними неспешно и строго вошла Василиса - в какой-то невиданной роскошной шубе, а уж рогатина у завуча была серебристой, в блесках. Оглядела притихших людишек, нахмурила пушистые брови и вдруг улыбнулась, глаза протаяли:

- Ну, конечно, десятый “в”, и, как всегда, в полном составе!
- Здра-а-асте, Василиса Игоревна!
- И обновка у вас, я гляжу и вижу - новый Учитель? Вечер-темец,

Илья Борисович!

Пока Илья решал, повалиться ли в ноги или достаточно отвесить поклон, Василиса спросила:

- Как успехи, карбышата? Успеваете?
- Да-а-а, Василиса Игоревна!..
- Как Учитель - не балуется?
- Не-ет, Василиса Игоревна...

- Похвально, душа моя, - обратилась она тогда к Илье, - что вы нашли контакт с нашими детьми. Это, дорогой, и редкостно, и радостно. Я же их вела когда-то, еще несмышленишей, начинала... Есть, значит, в вас что-то свыше! Вы пока спрячьтесь под лавку, чтобы не видеть происходящего, а как мы уйдем - вылезете.

Под лавкой оказалось тихо и уютно, как в горнице, глухо доносившиеся звуки можно было трактовать разнообразно, и Илья, лежа на боку и с интересом вслушиваясь, уже было начал задремывать, убаюканный, когда раздалась дикие прощальные посвисты и прогремело:

- Доброго снега вам, Илья Борисович! Опосля еще увидимся!
- Учитель, вы целы? - с беспокойством спросил Ратмир. - Вылезайте. Можно уже.

Выбравшись из-под лавки, Илья заметил, что свободных мест в вагоне значительно прибавилось. Он тут же прильнул к окну. При свете луны он увидел, как Василиса, сидя бочком в седле, небрежно махнула рукавом кому-то на паровозе - пшел, кыш!

Получив разрешение, электричка задымила, запыхтела, медленно тронулась. Всадницы возвращались обратно в лес, гоня перед собой небольшую колонну мужичков со связанными за спиной руками, в рванье, в каких-то бабьих тряпках, наверхенных на голову.

- У нее огромная усадьба в посаде - такая Микулишна! - объяснял Ратмир, тоже глядя в окно на Василису. - Надо же кому-то возделывать сей сад. Кайло в зубы, в обед - сухарь из кулича. Очень хваткая баба. Суцая грушенька - везде поспеваает! Мешками на торг возит. Песцов откармливает. Вы, кстати, обратили внимание - вечно от нее паленой щетиной несет?..

- Ратмир, тут братки одно дело предлагают... Давай вместе прикинем, - позвал Евпатий.

- Иду. Извините, Илья Борисович...

12.

Электричка набирала ход. Вокруг дремали, закусывали, положив тряпочку на колени, лупили сваренные вкрутую клубни. Посыпали крупной красной солью, разглагольствовали:

- У нас ведь как. Встань, кличу, русский богатырь-муромец! А он мне: "Не подходите, не подходите: вы с холода!" Ну а бесам самый шабес!

- А вот, чтоб копыто их раздвоенное не ступало на святую землицу, у нас на окраине народ давно средство придумал - ходули им, осино-вые! Видишь, ковыляет на ходулях, возвышается, колеблет свой треножник - ага, бей, не промахнешься! А то вся Москва от них, пришельцев чужеродных, желтой травой заросла, уже из-под снега лезет...

- Зато на огородах шаром покати - одни муаровые гряды!

Илья задумчиво водил пальцем по стеклу, протаивал дырочку.

"Все эти разговоры - инерционные, вслед, - думал он вяло. - Вторение задов. Исконно местное маханье на лестнице. Никого уже нет, и трава-таки проросла на пороге. Спина уезжающего арамея излучает сиянье... Я - один, яхвезаветный, последний из Изъ, самец-поскребыш, оставшийся... И я никогда не дозвонюсь до Люды".

- Яникогданедозвонюсьдолюды, пробормотал он. И грустно вспомнил, что вот у них в группе Маша Кац - желтобилетница и отличница - постоянно старается на лекциях сесть рядом с ним, подсовывает свои аккуратные конспекты, приглашает в гости по поводам и без - тут различений быть не может!..

Маша Кац: папа имел свое дело - покупал селедку, резал на кусочки и продавал дороже; мама вела дом. Милые усталые интеллигентные люди, всегда такие благожелательные. Они давали ему читиво, альбомы лубочной живописи, глиняные свистульки, отлакированные шкатулки, навязывали даже расписные подносы ("О, нет!..") и приглашали обязательно заходить. Он набивал всем этим рюкзак, утрамбовывал и, сопя, волочил прочь.

- Уж, пожалуйста, и подносик вместе возьмите, - деликатно уговаривал папа, провожая в прихожей и помогая навьючить рюкзакащице.

А мама, тихо улыбаясь, собирала со стола хрусталь и серебро, шепотом, в стихах, пересчитывая вилки. Он им нравился, это же всегда чувствуется.

У Люды мать работала звеньевой, а отец углежогом. Он регулярно поддавал, но, как равнодушно говорила Люда, не колобродил, сразу приходил домой, ложился возле двери под вешалку и засыпал. Илье доводилось осторожно перешагивать через него и видеть откинутую

в сторону руку, державшую закопченные очки с дужкой, замотанной синей изолентой.

Конечно, это все не главное, все это зола, чешуя. Но, согласитесь, все же окружение формирует... А как оно влияет! У Маши родители готовились к отъезду. Давно уже готовились. Не спеша собирались, педантично и аккуратно (ну там, два ножа, сухари, компас, увеличительное стекло для добывания огня). Так, может быть, как бы это выразиться - женихов берут? Тук-тук, пустите меня в теремок, пока Телемак не закрыл на замок. Да-а, Маша Кац. Фельдкуратская дочка. А что? Скорей всего, судьба не есть жестко закрепленная система, и возможность слабо трепыхаться присутствует. Сказочка про бабушку и зеро: "Садись поближе к печке, Малыш!" И вообще - из-за леса, из-за гор варяг Серен утверждал: "Как бы ты ни поступил - все равно пожалеешь". Или - или: однофигственно!

Печальными нежными голосами пели девочки в вечерней электричке - как большой песец порвал сети, опрокинул баркас и никто не вернулся назад, не спустился с холмов...

Электричка мерно катилась. За окном, опережая, бежала упряжка, звеня бубенцами в морозном воздухе. Илья смотрел в проталину на затуманенном стекле. Лес кончился. Начиналась городская свалка, места богатейшие, но осваиваемые варварски и поверхностно.

Какие-то фигуры ковырялись в мерзлой земле, искали в культурном слое что попадется. Вдоль путей брели лыжники с заиндевевшими хоругвями, возвращаясь с крестного хода. Проехали Дачные Пустоши, Ближнее Запустение, замелькал городской частокол. Пошел уже собственноручно город - град мал, деревян, занесен по самые крыши и наречен Москва. Виднелись полуразрушенные зубчатые стены, обвалившиеся башни - там, где был сход снежных лавин. Вдали, за городскими чертогами золотились купола Царь-церкви. Показался утыканный горящими факелами ханский Курган. На вершине его громадная каменная баба-синильга, распахнув рот в матерном крике, занесла огромную метлу над обуялым страхом городом: "Ратуйте, крестославные! Идет орда рогатая, очередная! Шеломы блестят, шаломы слышатся... Прибудет много жида, и пребудет их царствие..."

На соседней скамье бархатно, успокаивающе повествовали:

- Э-э, батенька, вспомните Русское Ханство - каков оксюморон! - а ведь было же... Так и Московская Синагога... "И желтым звездам на забаву даны клочки твоих знамен..." Сгинет все, канет, осыплется - а Русь останется!

Илья уткнулся лбом в стекло и обзоре очима своими семо и овамо.

Печальные огоньки ночных церквей, лампадки в окнах домов. Там живут. Там не спят, спорят всюду, что огненной - печь али геенна. Там дрожат всюнощно возле ржавых ледяных радиаторов от ужаса грядущей Парниковой Напасты, напущенной злокозненными мудрецами известного роду-племени.

Желтенькая, жалкенькая звездочка, я повторяю имя - звезда КАЦ, висела над Москвой, мерцающе светила, помаргивала, пульсировала - не надо ора, все к лучшему в этом христианнейшем из скотных дворов других миров, и пусть даже дадут по тебе мешалкой, а печатные пряники все-таки снимают со шкафа, встав на лестницу...

А электричка, наконец, доползла, устало раздвинула двери, и все вышли на морозный перрон. Скитаний пристань, Рим-Три. Они шли по перрону сплоченной дружной бригадой - Илья и его десятый "В". Симбиоз крепчал! Это, кажется, у Пятачка или у самого Святого Пуха висела над жилищем скрижаль: "Посторонним В". Своим В! Ибо и братья десятого поверили в него!

У спуска в подземный переход они остановились.

- Пора домой, - вздохнула Лиза Воробьева.

- Метро закрывается. Архангелы расступаются, - прогудел Евпатий.

- Вот теперь, погуляв, свежими и отдохнувшими, и можно приступить к выполнению домашнего задания.

- Надо еще зайти к подшефным, в пятый "в", - напомнил Ратмир.

- Поднатаскать, как грамотно обложить данью пригитовишек? - не удержался Илья.

- Нет, - покачал головой Ратмир. - Мы просто учим их Братству. Пусть они начнут раньше, чем мы. Авось воздастся...

- Хорошо бы в ночное успеть, Павлуша зовет, - озабоченно заявили братья Волокитины. - Помочь просил патрулировать, трясти разжиревших лавочников. Только уж больно нынче холодно, опять ларьки жечь придется...

Илья вспомнил батьку-"архангела" и поежился.

Ратмир, внимательно смотревший на Илью, протянул ему круглую выпуклую пластинку - все тот же "щит пращуров" с выбитым "XV".

- Это значит: десятый "в", - объяснил он. - Победный! Не потеряйте, Илья Борисович. Лучше всего повесьте на шею, вот тут дырочка для веревочки. Это пропуск. Всегда и везде, в любую погоду.

- До свиданья, Илья Борисович! - заговорили все. - Вале! Всего доброго! До завтра!

- До завтра! - помахал Илья.

Он стоял и смотрел, как они сбегают по ступенькам, исчезают под землей.

“А как же я?! - хотелось крикнуть ему. - Возьмите меня с собой, братца-переростка. Я тоже хочу непрерывно выигрывать, а не изредка выпрашивать...”

Хотенье такое принесло неожиданный результат. Откуда ни возьмись, возникнув из вокзальной толпы, слепившись из кусочков падающего снега и осколков лунного света, - на Илью налетела Василиса - в той же разбойничьей, невероятной роскошной шубе до пят, схватила его за руку:

- Ты здесь... Где ты ходишь, я вся обыскалась, пойдем скорее...

Она повлекла его в какой-то грязноватый, пахнущий мокрыми песцами подъезд, куда-то вниз по темной лестнице, заботливо стряхивая по пути с его плеч снежные хлопья. Илья машинально семенил по ступенькам.

“Шо? Шо такое, Яхве? - перепуганно метались мысли. - За что завучиха меня тащит? План Урока вовремя не сдал, проповедь игнорировал... разъяснение вышло “Нащот жидов”, так ахнули, опомнились, самокатчик наказ привез: считать евонную заранее обдуманную педагогическую деятельность растляющей... и посадить на цепь... по месту обнаружения...”

Вот и лестница кончилась, под ней была запертая на ржавый замок дверь темницы, рядом валялись метлы, колодки, сломанные стулья, лопаты. Василиса прислонилась к столу без одной ножки и распахнула шубу. Приятная неожиданность - она была совершенно голой. Праздник, что ли, сегодня какой-то древнеславянский?

- Ну, Илюшенька...

Он чуть подсадил ее на край стола, лихорадочно копаясь в своих меховых штанах, рвя примерзшие крючки, расшнуровывая ширинку, доставая своего зайинку... И вот - сладостное вхождение в обволакивающую нежность, нырянье в теплую мягкую норку, в милый уютный туннель. “Здесь, здесь, не сам костер, но его отблеск... волосатое пещеристое тело... огонь чресл сокрыв в стволе, вошел я в лабиринт, где нет исхода...” Она откинула голову назад, выгнув спину, часто задышала, глаза закатились. Илья уткнулся губами в сладкую грудь, русые волосы облепили ему лицо.

“Ру-у-усь ласковая, - летело в буйной его головушке. - И я на ней, родимой, в ней, горяченькой, наконец-то, с Божьей помощью, тону в мокром щастье, хлюпаю - вот и выгреб, выгреб, выгреб! Спа-а-асся! Уф-ф...”

- Василиса Игоревна! - позвал женский голос сверху через перила. - Вы у себя, под лестницей? Там из управы звонят насчет детских утренников...

- Ничего не бойся теперь, - быстро говорила она, прощаясь, и целовала Илью в лоб, в щеки, в глаза (очки он суетливо сорвал и сунул за голенище валенка). - У тебя теперь будет все, все благополучно. Я твоя Берегиня! Опосля еще увидимся...

Облизывая губы и механически ощупывая, все ли у него застегнуто, Илья медленно поднялся по лестнице, толкнул дверь подъезда и вышел на улицу. Детские утренники да жертвенники, чтоб им! Плестись в свою берлогу совершенно не хотелось, желалось остаток дня лежать, обнявшись с Лисанькой, под чудесной лестницей на хромом столе, изредка лишь плавно передавая друг другу баклажку из выдолбленного клубня - хлебнуть хорошего...

А как же Люда? И бесплодные доселе старанья - дозвониться до?..

- Сними-ка, брат, с меня пальто, - раздраженно попросил нутряной голос разума. - Чего ты надоедливо долбишь в одно и то же место? Очумел? Увеличь разброс. Проведи эксперимент - поищи свежую будку, смени комбинацию цифр.

Илья двинулся по тротуару. Проносившиеся машины швыряли снежную грязь из-под колес. Осиянно сверкали витрины Елисеевских, спешили под липким снегом прохожие. Через дорогу горели огни "Макдональдса", и громадные буквы бежали по крыше: "Сам сунь" - реклама какого-то Надмирного Банка, предлагающего сунуть свой хвост в прорубь и ждть.

В ближайшем киоске Илья купил хот-дог с кетчупом, баночку "колы" и зашел под пластиковый навес троллейбусной остановки. В углу, рядом с урной, валялись окурки и апельсиновые корки. На стенке, под глянцевым пастушком с плаката "Мальборо", на фоне сияющих снегов ("Посетите Ратмирову пустынь!") серела старая ободранная листовка: "Хотите похудеть? Русь, опояшья мечом!"

"Вот будь сейчас здесь, на этом самом месте, телефон - позвонил бы Машке! Ей-Яхве! - помышлял Илья, с урчанием прожевывая сосиску. - Смех смехом, а песец кверху мехом!"

Направившись к урне - выкинуть пустую жестяную банку, он поскользнулся на банановой кожуре, взмахнул руками и чуть было не грохнулся на шейку бедра (прощай, практика!), но, к счастью, был подхвачен под локоть маленькой, но крепкой рукой. Это был все тот же мальчик-снежачок - явный подшефный и тайный оберегатель - в яркой "дутой" курточке и лыжной шапочке.

- Все мечетесь, Илья Борисович? - сочувственно спросил мальчик.
- Эксперимент ставлю, - угрюмо пробормотал Илья.

Спаситель покивал:

- Надо думать, это "экспериментум круцис", "опыт креста", в смысле - решающий эксперимент. Название, как известно, восходит к тем крестам, что ставились на распутье, указывая разделение дорог. А он чистый, эксперимент-то, помех нет?

- Как же им не быть, - бормотал Илья. - Хочу вот позвонить, да сам не знаю... Ходить, искать...

Мальчик, размотав пушистый шарф, извлек из внутреннего кармана куртки сотовый телефон:

- Позвонить? Ну что же, позвоните, Илья Борисович.

Илья вздохнул, погладил мальчика по голове, махнул рукой и решительно потыкал в кнопки.

И номер был не занят, и сразу ответили - жда-али...

КОНЕЦ ПЕРВОЙ ЧАСТИ

НИНА ВОРОНЕЛЬ

Полет бабочки

(роман)

„Таинственная атмосфера туманного Уэльса и старинной библиотеки в антураже многолетних бытовых традиций, исполняемых по-британски неукоснительно... Арабский властитель, стремящийся установить тайные связи с Израилем... Борьба разведок... многокрасочный kaleidoscope экстравагантных персонажей, среди которых необходимо вычислить „своих” и „чужих”... И любовь, разворачивающаяся на столь завлекательном фоне”.

„Новости недели”

378 стр. Цветная обложка

„Москва – Иерусалим”

P.O.B. 44050 Тель-Авив 61440

(32 шек. в Израиле; 22 ДМ для Европы; \$16 для США,
включая пересылку)

Вадим Фадин

ТЕМНА ВОДА ВО ОБЛАЦЕХ

Жадность к чистой бумаге - добрый порок. Многие из пишущих, едва взяв в руки новенькую тетрадь, воображают, будто именно в ней запишется нечто нетленное, более того - будто она уже хранит в себе это, и рвутся немедленно известить ее всю. Удивительно, что эти порывы легко приспособить к делу: когда, глядя на пустую страницу, мнишь, что тебе удастся различить срывающиеся с нее голоса и очерки лиц, можно, только не упустив момент, сделать не удававшееся прежде; то, что получится сразу, на одном дыхании, будет хорошо. В другой раз подобного состояния придется ждать долго, теряя всякую веру в свои способности к сочинительству и тщетно надеясь на случайную помощь извне. Вот и теперь я поторопился начать, едва заполучив письменные, еще невинные, принадлежности - нет, не тетрадь купил, а принял дорогой подарок, самописку с тончайшим пером, более прочих отвечающим бисерному почерку близорукого человека и тоже, кажется, знающим, какие слова готовы сорваться с его острия. Конечно же, ее понадобилось немедля пустить в ход (и даль свободного романа охотно наметилась в конце туннеля), но, как водится, тотчас образовались уважительные причины для занятий не тем и для не-занятий, и я целые сутки нервничал и раздражался, мучая себя и домашних, а когда все-таки добрался до стола, оказалось, что мой непочатый "паркер" остался на даче и придется писать старой ручкой, не обещающей сюрпризов. Впрочем, это уже не имело значения, оттого что невидимые колесики, раскрученные накануне, еще вертелись в голове, неведомые маятнички качались и тикали, и не поздно было с пользой понаблюдать за движением стрелок.

День, проведенный без путного дела, все же не пропал для меня окончательно: именно тогда я успел узнать кое-кого из действующих в последующей истории лиц, речи которых приготовило было подаренное мне перо. Первой я увидел девушку, и в самом деле некогда (я

был моложе нынешнего себя на треть) встреченную на улице. Она шла по другой стороне, и я не различал черт, но обратил внимание на одежду. Черная закрытая кофта из тонкой шерсти дерзко повторяла рельеф отменной груди, а разрез длинной, до лодыжек, васильковой юбки при каждом шаге оголял до середины необычайно белое бедро; белизна его говорила воображению не о весеннем нездоровье соскучившегося по солнцу тела, а, напротив, лишь о детской свежести кожи. Понятно, что девушка было высока и длиннонога. Наблюдая за нею, я невольно взмолился, призывая ее на остановку, где сам ждал трамвая, но она непослушно углубилась в переулок - тот, откуда должен был прийти мой номер; мне оставалось только с сожалением смотреть вслед. Нечаянный старик, к которому вздумалось ей обратиться, показал в мою сторону, и девушка, переспрашивая, тоже протянула руку сюда, изящно помахав кистью, но возвращаться, как следовало и как хотел я, не стала. Лишь когда нужный трамвай прошел мимо, она, спохватившись, пустилась догонять - побежала некрасиво, как барышня.

Сев в вагоне как раз впереди меня, она поспешно достала из сумки и принялась как-то особенно нервно просматривать потрепанную книгу, я решил - учебник: быстро перелистывала несколько страниц кряду, прочитывала совсем немного, наверно, абзац, и потом долго смотрела в окно, так что я хорошо изучил ее профиль. На улице, глядя издали, я обманулся редкой в наши дни элегантностью походки и туалета, и теперь черты разочаровали простотой: короткий, слегка вздернутый нос, небольшие глаза, губы такого рисунка, что можно заранее приготовить увидеть при улыбке верхнюю десну - лицо провинциалки. Из туго стянутых назад черных волос собиралась выпасть шпилька; пролистав первые страницы, девушка, потрогав затылок, нащупала эту шпильку и потом уже непрестанно ненужно проверяла пучок, надолго задерживая, словно забывая, руку, и я увидел, что она коротко стрижет ногти и не пользуется лаком. Неухоженные руки выдавали ее, более, чем черты лица, разрушая первое впечатление. Обручального кольца она не носила, это я отметил без задней мысли, не собираясь заговаривать с нею. Выходя, я не оглянулся - быть может, и она сошла там же, не знаю.

Звали ее Лариса Гайтанова, и ехала она в один из Тишинских переулков, где жила в старом, давно приговоренном к сносу и поэтому постепенно, по дощечке, распадающемся доме. Переступая порог, она всякий раз с огорчением замечала кислый запах запустения, с которым никто здесь не умел бороться, и тишину; казалось, будто дом

брошен жильцами и зимовал без тепла. Сегодня ее почти испугали движение и незнакомые голоса; она подумала - несчастье.

- Что случилось?
- Ничего не случилось.
- Что случилось?
- Таня! Таня! Таня!
- Я не Таня. Позвольте пройти.
- Который час?
- Позвольте же пройти.

И, ничего не понимая и волнуясь, прошла через странную толпу в коридоре, где в темноте угадывала соседей и, вперемежку, чужие лица, новые тени, изучающие взгляды.

Закрыв за собою дверь комнаты, она словно попала на другую сторону земли и в другое, одной ей присущее время, в котором не выжить встреченным сейчас в доме антиподам. Ее же собственное существование, наоборот, только и было возможно в окружении прижившихся здесь предметов: пианино, старинной люстры с подвесками, книжного шкафа с резными амурчиками, часов с кукушкой, бабушкиных икон с вечным огоньком, пра- или даже прапрабабушкиного сундука, покрытого домотканой дорожкой, и наконец современной хлипкой мебели, приобретенной Ларисой. В ноги ей бросилась бородатенькая собачонка Чапа; в Москве была мода на это имя, которое давали даже солидным собакам - Лариса однажды видела на выставке тяжеловесного ротвейлера, чемпиона, бывшего почти тезкой ее собачки: тот был - Чаб, и существенная разница замечалась только в полном имени, данном в честь "короля твистов" Чабби Чеккера. Ее бородатенькая на родство со знаменитостями не претендовала, а была наречена Чапой ради смеха, потому что шлепала при ходьбе ногами - чапала.

Бабушка встретила Ларису без улыбки:

- Долго ты нынче. Заждалась Чапуля-то.
- Что, бабуся, у нас происходит? Еле протолкалась.
- Желтухины гараж продают.
- В коридоре...
- Авоську вина принесли.
- Машину где будут ставить - на улице? - пожала плечами Лариса.
- Все равно съезжать - на кой им этот сарай? Машину, глядишь, тоже продадут. Деньги большие, капитал.
- Продать, бабуся, недолго - что взамен останется?
- Денежки, милая, всегда надобны.
- Протекут меж пальцев - ни машины, ни денег...

- Разве Желтухины продают машину-то? Я не слыхала.
- Они раньше времени не скажут.
- Скрытные люди.

Такая беседа могла затянуться надолго, а Лариса спешила на встречу с подругой; до того же и дом требовал внимания, и Чапа вожделела прогулки. Подхватив собачку на руки, девушка пронесла ее людным коридором, крутой лестницей, отрезком улицы и лишь на крохотной площадке, где на месте снесенного сарая росла трава, спустила на землю. Мимо медленно прокатилась дипломатическая машина, и Лариса попыталась представить себя глазами седока. "Дама с собачкой", - определила она и решила, что при нынешнем наряде ей пошла бы широкополая шляпа.

Пассажижкой шикарной машины оказалась молодая женщина. Обратив внимание на Ларису больше было некому (но она нарочно сбежала в безлюдный переулок, чтобы уберечь свою крохотную Чапу от нагрянувшей орды), и все же тревога, смутившая ее во враждебном коридоре, исчезла, и ей теперь захотелось поделиться с кем-нибудь новым ощущением легкости и желанием нравиться или быть полезной.

Прохожий юноша застыл на дороге, якобы заинтересовавшись собачонкой.

- Ах, какая лапочка! - найдясь, произнес он слова, годные при всяком случае; Ларисе угодно было отнести их на счет Чапы, и она не задержала шага.

- Мальчик или девочка? - поинтересовался юноша, пристраиваясь рядом.

- Сука.

- И как зовут?

- Вы все равно не станете окликать ее на улице.

Юноша отстал, и она подумала о том, как приятна его внешность и аккуратна одежда, и о том, что он, очевидно, сейчас догонит ее и тогда придется обойтись с ним помягче; оглянувшись, она не увидела никого. Ждать приключений от дня, отведенного для подготовки с подругой к экзамену, было нечего.

Дома бабушка завела старую песню:

- Смотри, не загулай. Не ровен час, старухе худо станет, а тут стакан воды подать некому.

- Что ты, бабусь, я не на гулянку. Экзамен на носу.

- Вот и сидела бы за столом, училась, как путная.

- Одной нельзя, трудно. Да ты не волнуйся, я ненадолго.

- Что только с тобою дальше будет? И сейчас-то на месте не уси-дишь, а кончишь учение - поминай, как звали.

- Ларисой.

- Ларисой! Как такая жить будешь?

- Замуж выйду, детей заведу.

- Час от часу не легче! Нет уж, этак ты совсем старуху забросишь. Дай век дожить - мне немного осталось. Вот похоронишь бабку - гуляй, заводи мужа.

- Не могу откладывать, - хихикнула девушка.

- Что это? - насторожилась бабка. - Не понесла ль?

- Боюсь в старых девах остаться. Лет уже много - поезд уходит.

- Поезд? Ты ж сказала - к подруге? Крутишь что-то, смотри, не натвори чего. Поезд!

От таких разговоров настроение Ларисы быстро и безнадежно падало, сегодня же - особенно заметно, оттого что, кроме обычной темы о необходимости постоянно находиться при бабушке, она сама затронула другую, столь же неприятную - о своем возрасте: нынешний год она считала критическим, потому что, кончив учиться, она из общества сверстников попадала в общество людей устроенных и старших. Правда, она сама, одна, волновалась бы не слишком, но подруги докучали советами, и Лариса, не умея ответить, чувствовала себя несчастной.

Солнце после темноты подъезда ослепило, и жара показала несносной. Лариса уже опаздывала, но трамвай все не приходил, а на такси жаль было денег - у нее всего-то оставалось рубля два или три. Наконец решившись, она помахала рукой первой же попавшейся машине: та затормозила, и Лариса увидела, что это и не такси вовсе, а малолитражка. Не умея торговаться с частниками, она решила не садиться, но водитель уже приоткрыл дверцу с ее стороны и, наклонившись к проему, настойчиво приглашал - модно одетый и подстриженный, симпатичный молодой человек.

- Теперь без вас не уеду, - услышала она.

- Нам, быть может, и не по пути, - возразила Лариса, тем временем устраиваясь на сиденье; ей не так просто было влезть в тесную кабину в своей длинной юбке, не распахнув ее донельзя.

- Определенно по пути, - заверил шофер. - Еще бы не по пути: я ехал без цели.

- Цель, я вижу, появилась.

- Вы ее пока не назвали.

- Кататься мы не поедем.

Ей наконец удалось завернуться в ткань.

- Это чужая машина, - зачем-то пояснил он. - Я проверяю ее после ремонта.

- Мне недалеко, к Никитским.

- Куда угодно. Только сразу договоримся, чтобы не ссориться: никаких глупостей с деньгами. Я катаюсь, получаю удовольствие.

Она не поняла, но согласилась.

- Хотелось бы только побыстрее.

- А мне - подольше, - вздохнул он. - Впрочем, если бы наши желания совпали, это было бы уже чудом, а чудеса что-то плохо мне удаются, это доказано только что.

- Что вы имеете в виду - нашу встречу?

- Нет, другое. Темное дело.

Повернувшись на сиденье, Лариса внимательно взгляделась в лицо своего водителя, обеспокоенная внезапной напряженностью его тона. Последние его слова показались ей странными, и она пожалела, что не взяла такси.

- Почему вы волнуетесь? - сама волнуясь, спросила она.

- Разве? Не делает мне чести. Но как бы там ни было, на езде это не отразится.

- Все же лучше бы вам не отвлекаться.

- О, я не отвлекаюсь, - ответил он, восхищенно глядя на девушку, и рассмеялся. - Мне не нужно отвлекаться на управление.

- Вы часто попадали в аварии?

- Как-то не удавалось.

- Сделайте так, чтобы счет открыла не я.

- Как скажете. Ваше слово...

- И перестаньте наконец говорить банальности.

- Извините, но так проще на первых порах. Иначе и рта не раскроешь. Со временем мы поймем, о чем говорить друг с другом. Надеюсь, вы и в дальнейшем будете пользоваться моими услугами?

- Мне и в голову не приходило. С какой стати?

Он не ответил, и Лариса, посчитавшая было его способным на недоброе, теперь пожалела о своей излишней холодности. Выдержав паузу, она продолжила, все еще не сумев заметно изменить тон:

- Удовольствие - вещь капризная, и я боюсь, что вам скоро надоест ваша затея. Такие работники ненадежны, не правда ли? Неразумно доверяться столь несолидной фирме.

Ему снова не захотелось отвечать, и они оба молчали, пока Лариса не попросила остановиться. Не спеша выходить, она тронула замок сумки, но молодой человек удержал ее:

- Стоп, стоп, мы же договорились: без глупостей. Иначе я больше не смогу пригласить вас.

- Сами же сказали, что это чужая машина - на что же вы рассчитываете? Попадётся, а мне - краснеть. Нет, несолидная у вас фирма.

- Машина будет подана в назначенный час, остальное - мои проблемы. Только запишите мой телефон или дайте свой.

- У меня его нет.

- Плохой признак. Тогда назначим встречу.

- Так и знала, что кончится этим.

- Просто мы исчерпали все варианты.

Потеряв интерес к спутнику, она все же записала номер.

Когда, потерпев поражение в борьбе с раскрывающейся настешью юбкой, Лариса выбралась из машины, она увидела, что подруга стоит в двух шагах и смотрит на нее с явным одобрением.



Годы его были средние. Назвав однажды заказчику возраст, он услышал что-то о галилейском плотнике и, будучи как-никак станочником, обиделся.

Василий давно прочно стоял на ногах, в ремесле считался не последним, дом его был устроен, а семья - сыта, и сам он не одну водку пил, а при иных гостях позволял себе ликер, который, честно говоря, не любил. Это вовсе не означало, что в другое время он пренебрегал предложениями выпить в магазине на троих - исключительно оттого, что находил вкус в общении с новыми людьми. Здоровье, однако, следовало беречь, и он соглашался не всякий раз, а с разбором, и слыл среди приятелей непьющим; из-за этого к нему относились уважительно, понимая, что достатком он во многом обязан стойкости характера. С женщинами, на стороне, Василий не гулял; пошутить иногда с глупенькой девчонкой да потискать ее в кладовке было не в счет. Так что жил он довольным собою и немало порадовался, случайно услышав, как соседка говорит его жене:

- Положительный у тебя мужик.

Именно так он и думал о себе.

Сегодня, с получкой в кармане, Василий не забыл остановиться у киоска и купить шоколадку для дочки; ей исполнилось шесть, и звали ее красиво: Стелла. Больше он не собирался нигде задерживаться, да, подходя к дому, увидел, что в магазин завезли пиво; это он всегда замечал издали - ящики, сгрузив с машины, ставили штабелями прямо в торговом зале, загораживая изнутри витрины. Подивившись

редкой картине, он особенно остро ощутил жару, а во рту - неприятный вкус, и вспомнил, что, пожадничав, съел за обедом две порции селедки с репчатым горьким луком.

Сосед Гена стоял в очереди у самого прилавка, доставая из авоськи порожнюю посуду на обмен, и Василий поспешил пристроиться к нему.

- Твоя уже взяла штук шесть, - предупредил Гена.

Известие было на редкость приятным, но Василий не мог дотерпеть до дома и отсчитал Гене тридцать семь копеек.

Отойдя с бутылкой в сторону, он принялся шарить по карманам, ища подходящий инструмент, сосед же недолго думая поддел жестяной колпачок зубами. Василий зажмурился:

- Сломаешь ведь!

- Она железная, крышка, - успокоил Гена, переведя дух после первых глотков.

Напившись, сосед ушел, не дожидаясь Василия, а тот, оставшись один, не устоял и откликнулся на призыв рябого веселого парня: и не выпить с зарплаты было грех, и принести водку домой он не мог - жена позволяла только по выходным. Третьего они ждали довольно долго, но рябой не унывал - напротив, отчего-то развеселился и, подмигнув Василию, неожиданно обратился к солидному на вид пожилому мужчине в очках и при галстука, спросив доверительно:

- Третьим не будете?

Тот оскорбленно засопел, а рябой, пожав плечами, проговорил с серьезным видом:

- Извиняюсь. Внешность обманчива.

Несколько человек слышали это и рассмеялись, а один из них, похлопав шутника по плечу, попросил:

- Возьми в компанию. С тобой весело.

- Еще и не так будет, - пообещал рябой.

- В этом ли веселье? - назидательно просипел, входя в их кружок, маленький старичок, тоже заметно довольный выходкой рябого. - В старину великий князь рек: веселие Руси есть пити.

- Во дал! - воскликнул, изумившись, Василий. - Как же это теперь забыли? Надо бы на плакатах писать.

Но особенно долго порассуждать ему не дали: очередь рябого уже подходила, и надо было отсчитать деньги. Третьего они отправили за плавленными сырками; рябой, правда, пожелал себе лично "сто грамм сметаны, чтоб не заводиться", но ему даже не ответили - столь наивной показалась просьба. На старичка они постарались более не обращать внимания, чтобы не пришлось делить бутылку на четверых.

Подъезд нашли чистый и прохладный, в новом доме, подальше от магазина и от дружинников; третьему, правда, там показалось тесновато, но и бутылка, и закуска свободно разместились на подоконнике, а требовать иных удобств было просто стыдно.

- Как он сказал, дедок-то? - попытался вспомнить Василий. - Насчет того, что у нас пьют - веселятся?

- Дался тебе этот старикан, - отмахнулся рябой. - Он же просто примазывался выпить на халяву - и все тут.

- Хорошо ведь сказал, - пожалел Василий. - Такое твердо помнить надо. Видишь, человек в старину говорил, князь, а в народе до сих пор повторяют, значит - вещь.

- Ты, часом, не учитель?

- Мастеровой.

- Мастеровой? - захохотал рябой парень. - Мастеровой - ну и фиг с тобой. Вот тоже слово откопал! Везет мне сегодня: то этот одуванчик старый режим помянул, то ты. Ну, коли мне такое везенье, то пью первым.

- Нет, надо разыграть, - возразил Василий.

Они кинули на пальцах, и первым выпало пить Василию, а рябому - после всех, и Василий остался доволен жребием, потом что умел, отметив ногтем уровень и затем качая бутылку при каждом глотке, незаметно передвинуть палец. Рябой разочаровал его, достав из кармана граненый стакан.

Внизу хлопнула дверь, и бутылку пришлось на всякий случай спрятать за спину, но тот, кто помешал им, не внушал, казалось, опасений: и не мальчишка был, не комсомолец, и одет вольно, в джинсы и пеструю рубашку, и волосы отрастил длинные, по моде. Наполнив стакан, рябой протянул его Василию.

- Ну, дай Бог... - начал Василий.

- Эй, лучшего места не нашли? - окрикнул длинноволосый.

- А тебе что, больше других надо? - угрожающе проговорил Василий. - Проходи-ка, проходи, не лезь не в свое дело.

- Прошел бы, да свинства не люблю.

- Что ты сказал? - шагнул к нему Василий, и тут стакан выскользнул из его руки.

Все оторопели, даже длинноволосый, но тот все же быстрее остальных оценил положение и разразился нехорошим хохотом. Когда Василий сообразил, что следует проучить виновника, тот уже был в лифте. Кабина проползла мимо Василия и его собутыльников - если их теперь можно было так называть.

- Что ж, - сказал рябой третьему. - Допьем пополам с тобой из горла.



Сегодня у него ночевал товарищ, который, засидевшись накануне, не захотел тащиться через весь город. Утром Платону пришлось ждать, пока тот побреется его бритвой, да и завтрак за разговорами затянулся; в результате он едва не опоздал на работу. На улице Платон еще мог бежать, но потом в длинном переходе метро попал в окружение медленно и бестолково идущих людей; его и прежде раздражало, когда пешеходы, явно незнакомые друг с другом, не обгоняли и не отставали один от другого, а так и норовили строиться парами и шеренгами, как члены одной семьи, занимая так весь проход или тротуар. “Синдром советских родственников, - ворчал по этому поводу Платон. - Лечиться надо”. Перед ним маячила спина долговязого мужчины, нагруженного связкой книг - без упаковки, а лишь старомодно перетянутых ремешком; тот явно относился к сорту людей, кому в толпе непременно наступают на пятки, как если бы они забывали вовремя переставлять ноги. Дважды наткнувшись и едва не разув попутчика, Платон обозлился. Вдруг захотев, чтобы с долговязым случилось что-нибудь неприятное, он живо представил себе, как тот спотыкается, едва не падает и, чтобы сохранить равновесие, неуклюже взмахивает длинными своими руками, отчего книги с шумом сыплются на пол. Платон позже так и не понял черты между этой воображенной картиной и действительностью, даже усомнился потом в главном - в том, что он сначала не увидел, а вообразил, - но в переходе произошло вот что: шедший впереди Платона неожиданно споткнулся на ровном месте и, высокий, стал падать на соседней так, что те шарахнулись, а он, нелепо взмахнув руками, выгнул, чтобы удержаться, спину; книги, что он держал под мышкой звонко шлепнулись на пол. Кто-то рядом хихикнул, другой - заржал, третья - ахнула, а Платон, юркнув в образовавшийся проход, прибавил шагу; лишь через некоторое время он понял, что случай вышел точно таким, как ему прежде того представилось, и так удивился происшедшему, что и сам запнулся на ходу, и кто-то ткнул его портфелем под коленку.

Занятый своим скорым продвижением - маневрами и обгонами, - он тут же забыл о происшествии, а в вагоне и подавно отвлекся, уткнувшись в книжку. Его манера чтения была довольно своеобразна: как ребенок, не любя описаний и рассуждений, он искал одну прямую речь, найденное же изучал досконально. Так он надеялся постичь секрет соразмерности диалогов, в которых (в устной речи) считал себя слабым. Между тем, по его мнению, умение складно и умно говорить ему, пытающемуся подняться над нынешним своим окруже-

нием, навязанным нелюбимой, но довольно доходной работой, было необходимо в первую очередь.

Платон с радостью сменил бы профессию, но для этого следовало учиться, раз и навсегда сделав выбор, а как раз выбрать единственную специальность он не мог: ему по-мальчишески хотелось всего сразу. Время, между тем, уходило, и в этом году он, решив поступить хотя бы в какой-нибудь институт, начал потихоньку готовиться к приемным испытаниям. Документы он еще не подавал, словно впереди у него были месяцы, и лишь сегодня запаниковал: увидев в метро юношу с учебником, он пересчитал дни по пальцам и понял, что их осталось в обрез. Пора было засесть за книги по-настоящему, а там уже и подыскивать новую работу, потому что при нынешней он имел право поступить на вечернее отделение только в технический вуз; карьера инженера не привлекала его.

В обеденный перерыв один из рабочих отозвал его в сторонку:

- Тут халтуру предлагают. Ты как?

- Без меня, - покачал головой Платон. - Сдаю экзамены в институт.

- С тобой не соскучишься. Давно придумал?

- Утром. А кроме того - давно.

- И куда ты намылился?

- Не знаю, - рассмеялся Платон.

- Рехнулся малый. Не иначе, как на почве любви.

- На унавоженной почве любви... Но скорее уж - на нервной почве.

А еще скорее - у меня цель, которой можно добиваться где угодно: хочу интересно пожить и повидать мир.

- Может, в геологи пойдешь? Всю карту СССР можно пешком проверить. Как говорят, сам бы пошел, да деньги надо.

- Можно и в геологи, - согласился Платон. - Или на аэрофото-съемку.

- Разобьешься, как пить дать. Хоть и сто раз прилетишь, а на сто первый упадешь.

- Как повезет.

- Везет всегда другим. Да и не позабыл ты еще, чему в десятилетке учили?

- Я и в армии готовился, там - заставляли, и сам потом зубрил вечерами, а теперь придется поднажать как следует: с завтрашнего дня засяду безвылазно.

- С завтрашнего - это по-нашему: никогда не откладывай на завтра то, что можно сделать послезавтра. Но, выходит, надо спрыснуть последний твой вольный день?

- Я бы и не завтра, а уже сегодня начал, - вздохнул Платон, - да нужно разделаться с одной халтурой. Как раз на вечер осталось.

Тем не менее, он не дождался вечера, а, загоревшись внезапно, воспользовался простым в казенной работе и отпросился у мастера.

Халтура состояла в том, что он ремонтировал побывавший в аварии "Москвич". Машина пострадала незначительно, но она и по возрасту требовала ремонта, так что Платон с напарником возились с нею больше недели. Теперь оставались сущие пустяки, и Платон один справился за пару часов и к концу дня уже выехал из гаража; хозяин "Москвича" улетел в командировку, оставив Платону доверенность, чтобы тот пока пользовался автомобилем по своему усмотрению.

Заперев гараж, Платон присел на траву и закурил. Куда ехать, он не знал.

Платон хотел, чтобы знакомые увидели его за рулем, пока он степенно едет по городу, и чтобы кто-то сидел рядом, когда он, не жалея чужой резины, закладывает пугающие виражи на извилистом шоссе, и чтобы этим кто-то была девушка; он не знал, кого бы посадить с собою - подружки, с кем случалось бывать в компаниях, не оценили бы мастерства, даже та из них, представлявшая собою странное исключение, оттого что быстрая езда доводила ее едва ли не до оргазма; их познакомили прошлой осенью - сам он не проявил бы инициативы, не взглянул бы на такую, тощую и носатую, но тут уже некуда было деться, неловко было не предложить встретиться, и пришлось пригласить ее прокатиться - на чужой машине, разумеется. Платон предоставил выбор маршрута ей и услышал необычное:

- Туда, где можно ехать быстро-быстро.

В ее понимании "быстро-быстро" могло означать вполне умеренную скорость, но Платон решил поймать девушку на слове. Поездка, однако, началась неудачно: буквально через четверть часа после выезда из города Платона, не заметившего в темноте милицейскую "Волгу" с радаром, оштрафовали за превышение скорости. Такое начало не предвещало хорошего, он по опыту знал, что теперь следует ждать целой цепочки других происшествий и поэтому лучше вернуться, но неудача слишком обозлила его, и он погнался пуще прежнего. Вслушиваясь, как в музыку, в жужжание мотора и совсем забыв о своей спутнице, Платон насторожился, когда в приятную его слуху мелодию вмешались новые звуки, он не понял сначала, какие и откуда: это пассажирка бормотала что-то, забывшись. Постепенно бормотание становилось громче, а дыхание - тяжелее, и еле различимые слова восхищения скоростью и благодарности ей становились все

более невнятные, все чаще перебиваясь стоном. Он не удивился бы, обнаружив на сиденье парочку, но это девушка в одиночестве отдавалась стихии - шофера не существовало для нее. "Как славно, ах, как хорошо! - вскрикивала она, распаяясь. - Еще! Еще!" Голос ее срывался, и Платон, пораженный, подумал: "Как бы девочка не забеременела", - но тотчас и рассудил, что она, возможно, нарочно взвинчивает себя, имея в виду простые намерения водителя, и поэтому лучше остановиться на обочине и обнять девушку, пока та не получила удовлетворение без его помощи.

Возможно, ее-то и следовало выбрать сегодня, но ей ли, кому ли другому звонить было еще рано, и Платон пока направился домой - не спеша поест и принять душ.

Недалеко от дома, возле магазина, где вечно толпились одни и те же пьяницы, инвалид, тоже из завсегдатаев, которого Платон еще не видел трезвым, неожиданно сошел с тротуара и, не глядя по сторонам, заковылял наперерез машине. Платон, резко вильнув, угодил колесом в изрядную выбоину у трамвайного полотна, которую прежде старательно объезжал, и стук подвески отозвался в нем почти физической болью. С машиной, кажется, ничего не случилось, но настроение Платона испортилось моментально. Оставшийся кусочек пути он тихо бранился, а когда в своем подъезде увидел, что там распивают на троих, не стал сдерживаться; он готов был даже ввязаться в драку с этими тремя. Драка назрела тотчас: один из компании, самый крепкий, с тяжелыми кулаками, уже двинулся на Платона, не поставив почему-то никуда полный стакан, и Платон подумал насмешливо: "Куда ж ты - с водкой? Не боишься расплескать, а боишься, что дружки выпьют? Да ты еще когда будешь спускаться по лестнице, разольешь. Пожадничал, а теперь и размахнуться нельзя - как же ты выйдешь из положения? Так разлей, брось драгоценный свой стакан, алкаш несчастный, брось же, тебе говорят!" Ему нестерпимо захотелось, чтобы тот разжал руку, он представил даже, как ослабевает хватка потных пальцев и стакан скользит вниз.

Противник разжал пальцы и выпустил стакан.

Платон оторопел.

Будучи лишь зрителем, он пришел в себя первым - и засмеялся. Смех вышел странным - неуправляемым, как икота. Конечно, ему смешно было, что пьяница выбросил стакан с водкой, а читатель разбросал книги, но Платон смеялся не над их неловкостью, а от страха, хотя пока и не мог взять в толк, с какой стороны грозит и как выглядит опасность: обрывки того, о чем важно было бы подумать, усколь-

зали, никак не сгущаясь в понятные слова, а лишь вскользь задевая сознание, и Платон понял, что пропадает.

Дома, вымыв холодной водой голову, он уселся на кухне лицом к стене. В поле его зрения находились невымытая чайная чашка, кувшин с водой, огрызок карандаша и чахлая геранька в горшке, неведомо зачем переставленная на стол с подоконника. Теперь, в спокойной обстановке, Платон осмелился составить вопрос: уж не научился ли он творить чудеса? Это прозвучало нелепо, и он фыркнул, но память тотчас снова предъявила ему две сливающиеся картины, связанные единым действием: падением - книг, стакана, долговязого незнакомца - последовавшим за злым желанием Платона. Чудесного он в этом не находил, оттого что чудо в его представлении могло быть лишь добрым, а он сегодня творил дурное, но как ни назови, а выходило, что то ли взгляд, то ли мысль Платона действуют на расстоянии; новую эту способность следовало доказать опытом.

В обоих нынешних случаях Платон, кажется, сначала представлял себе желаемое происшествие зрительно, вот и теперь было легче всего вообразить, например, что круглый карандаш вдруг сам собою покатился по столу. Когда-то он читал в газете о женщине, способной передвигать предметы взглядом; забыв от волнения о прочитанном, он верил сию минуту, что сам придумал испытание. Надувшись, Платон уставился на карандаш. Лоб вспотел от напряжения, но на столе не произошло никаких перемещений, и он сказал себе, что глупо пытаться навязать свою волю бездушному кусочку дерева, а нужно иметь дело с живой природой. От его взгляда, переведенного на цветок, одному из листиков должно было стать тепло, теплее, чем остальным, потом еще теплее, потом горячо - в конце концов листу следовало завянуть. Платон снова напрягся и уже, кажется, наблюдал увядание воочию, но едва стоило ему расслабиться, как он увидел, что с цветком ровно ничего не произошло. Он слышал, что растения чувствуют - и предчувствуют - боль, но этому, видимо, ничего не грозило. Ясно было, что Платону придется поставить опыт с живым существом. Высунувшись в окно, он увидел на соседском балконе голубя. Сосед прикармливал птиц, и бестолковая их стая докучала Платону, ни свет ни заря будя его воркованием и бестолковым стуком лапок по карнизу. Теряя терпение, он уже было всерьез собрался смастерить себе какую-нибудь вертушку, рогатку или силок, но теперь неожиданно получил новое оружие. "Умри!" - повелел он, ясно представляя, как голубь, закатив глаза и не раскрыв крыльев, валится в двенадцатизатяжную бездну. Он сам словно бы пережил все перипетии

падения, вплоть до удара и размазывания останков по асфальту, но, переведя дух, нашел птицу сидящей на прежнем месте.

Чародея из Платона не получалось. Пережитые приключения, утратив окраску чуда, более не вызвали интереса, надежды пропали, будни остались буднями, и этого ничто не могло изменить. Кухонные ходики показывали самое обыкновенное время, и не в силах Платона было заставить их идти с другой скоростью или в другую сторону.

Звонить знакомым девушкам было еще рано, зато вот-вот могли прийти отец с мачехой, а Платону не хотелось объяснять, куда и с кем он собрался и откуда взялся красный "Москвич", в который он садится с видом хозяина.

Автомобиль празднично блестел на солнце, и Платон подумал: "С чего я вдруг скис? Жизнь прекрасна и удивительна". От одного лишь прикосновения к рулю сладострастное волнение охватило его, и все постороннее, минуту назад не на шутку тревожившее, сразу отдалилось и утратило силу: ничто, кроме езды, более не было важно - кроме езды и решения начать завтра новую жизнь.

"Наняться санитаром в психовозку - и поступать в медицинский?" - подумал он, но не успел оценить новую версию, как в боковое стекло постучали. Платон открыл дверцу:

- Привет, Гоша!

Они жили в одном дворе, учились в одном классе и вместе служили в армии.

- Твоя?

- Как всегда, дали покататься.

- Не забудь: мы собираемся сегодня попеть под гитару. Минут через сорок вернусь - заходи. Кстати, не подбросишь до Грузинской?

- В одну сторону - да, - согласился Платон, включая зажигание. - Что можно сделать за сорок минут? Будь у меня сорок часов - вот таким сроком я бы распорядился: посадил бы рядом девчонку - только меня и видели.

- С тачкой ты - вольная пташка.

- А надо - чтобы и без тачки. Хочу найти такую работу, чтобы везде побывать.

- Запишись в экспедицию.

- И этот туда же! - в сердцах воскликнул Платон. - Словно сговорились. Но экспедиция - удовольствие временное, а мне нужна любовь на всю жизнь. Да и что за кайф - ходить в разнорабочих? Мастером своего дела там, скажем прямо, не станешь.

- Тебе и нужно - временно, не будешь же бродяжить до седых волос. Хочешь, не хочешь, а женишься - и осядешь, как пень. Свобода вообще вещь недолгая.

Высадив соседа на Большой Грузинской, Платон вылез протереть стекло и задумался, глядя вслед Гоше. Больше ему не с кем было посоветоваться: если Гоша не принял его сомнений всерьез, то об остальных нечего было и говорить. К тому же Гоша был прав в главном: вечных радостей не бывает; но если это так и если тут бессильно даже сверхъестественное, то оно, сверхъестественное, и не нужно вовсе человеку. В бессилии же его Платон убедился несколько минут назад. Все, что он мог - это строить воздушные замки; в конце концов, помечтать было не грех: всякому хотелось бы стать волшебником. Но в реальной жизни существовали, в лучшем случае, только какие-то скучные биополя, от совпадения или сложения которых зависело совсем не многое - нечаянное угадывание мысли или способность почувствовать чужой взгляд в спину. Платон и сам, бывало, ощущал чей-нибудь пристальный взгляд издали и поэтому верил, будто, напряженно глядя вслед другому человеку, можно заставить того обернуться или споткнуться.

Гоша споткнулся.

Платон устало прислонился к машине. С него довольно было странных случаев - не хотелось думать о них, чтобы не испортить вечер.

Не проехав и полквартала, он увидел на мостовой поднявшую руку девушку в голубой юбке. Платон хотел было проехать мимо, да нечаянно чуть дольше, чем нужно, задержал на ней взгляд - и затормозил. Девушка шагнула к машине - и вдруг отпрянула, словно испугавшись. Не поняв, что так подействовало на нее, и опасаясь, что она вот-вот передумает, Платон распахнул дверцу.

- Я думала - такси, - извиняющимся тоном сказала она.

- В Одессе говорят: вам нужно ехать или вам нужны шашечки? Садитесь, теперь я без вас не уеду.

Она неуверенно возразила, но еще не кончила говорить, а уже садилась в машину.

. ★★★

Искать связи между событиями он не умел, да и нужда в этом не появлялась в жизни, и когда случилось нечто, оскорбившее его, то скупые злые мысли, пробудясь, так и не простерлись дальше признания самого факта, напрасно вызвав тягучее беспокойство. То, что он

знал и делал раньше, легко излагалось при помощи самого краткого словаря: взял, скрепил, включил, отрезал, захотел - и собрал из частей, без колебаний, коли уж решено; сейчас он испытывал неудобство как раз оттого, что припоминал какое-то свое колебание. Схваченное следовало держать крепко, не отдавая чужакам, - эта и подобные доступные ему истины были незамысловаты, как действия еды или питья, а в том, что сделалось с ним сегодня, он находил непонятное: секундное, быть может, сомнение в обязанности хранить в руке некий драгоценный предмет и, более того, желание увидеть его падение - и гибель. Он тогда еще сопротивлялся, смутно ощущая нечто вроде долга перед людьми, сопроводившими его в злополучный подъезд, но собственных сил не хватало, и он разжал пальцы. Стакан с водкой мягко скользнул по ним вниз - еще был миг одуматься и задержать - и с противным треском раскололся на каменной ступени. Брызги и осколки осыпали ногу, но он обратил внимание только на волнуемый запах. Именно запах и привел его в себя, заставив сообразить, что не будь рядом того, кто так нахально нарывался на кулаки, он не лишился бы своей порции. Первым запоздалым порывом было - догнать и уничтожить; но не мог же он состязаться с лифтом.

Какое-то время он еще надеялся, что товарищи войдут в положение и поделятся оставшимся (ведь он пострадал как-никак за общее дело), но те даже не посмотрели на Василия - и были правы; ему ничего не оставалось как уйти. С этой минуты он и мучился непривычным вопросом: почему? Он почти понимал - и не мог понять, ответ витал где-то рядом, не даваясь в руки и дразня своей простотой, отчего разламывалась голова - знакомая боль, которую можно унять одним лишь способом. Однако необходимое зелье пропало зря.

Пришлось вернуться в магазин, и его снова позвали в компанию, но Василий даже не обернулся, словно обиженный предложением, а подошел без очереди и взял бутылку.

Дочка, отворив дверь, обняла его и, обрадовавшись шоколадке, убежала в комнату. Жена не обняла и не поцеловала - он удивился бы - и сластей не получила; увидев водку, она сначала подняла брови, а затем сдвинула их так, что лицо стало старым и серым, и спросила без улыбки:

- Никак, сегодня пить собрался?

Ударение пришлось на "сегодня".

- Сейчас, - твердо заявил Василий. - Думала, до ноябрьских спрячу?

- Не забыл, что завтра - на работу?

- На память не жалуюсь.

- И глотка не дам. Обойдешься.

- Что, будешь еще тут командовать? - возмутился он. - Мужик после смены еле ноги таскает: вкалывал с утра до вечера, пришел голодный, как собака...

- Что ль не кормлю? Иди мойся, черт, да садись за стол, трескай.

- И пива дашь.

- Глянь-ка, пронюхал! - изумилась жена. - Чутье у вас, окаянных...

По случаю водки обедали не на кухне, а за полированным столом, в комнате. Жена налила себе половину небольшой рюмки и Василию поставила было такую же, но он потребовал стакан и налил до краев, сказав непонятное:

- Этот-то не брошу.

К водке была, словно жена готовила нарочно, сельдь с вареной картошкой и луком, и второй стакан прошел еще лучше первого, и полдюжины пива исчезли незаметно.

Поев, жена отправилась на кухню мыть посуду, но Василий остановил ее:

- Погоди, сядь. Споем.

Поставив посреди комнаты стулья, он усадил рядышком жену и дочь, а сам сел напротив и растянул мехи баяна; у него была еще и балалайка, но сегодня, он чувствовал, требовался мощный звук. Василий начал, и семья подпевала:

Когда имел златые горы

И реки, полные вина...

За стеной включили то ли магнитофон, то ли радио, так уж всегда получалось, что соседям хотелось слушать свою музыку как раз когда Василий улучал минутку для пения; он давно привык к этому, но сейчас обидно стало, что они мешают во время такой его тоски. В ответ Василий заиграл громче, уже другую песню. Поперхнувшись дымом папиросы, он пропустил начало куплета, жена, глядя на него, тоже замешкалась, и Стелла одна завела:

Я люблю тебя, жизнь,

Что само по себе и не ново...



Лариса, и стройная, и гибкая, все же завидовала подруге, меньшей ростом и тоненькой, как подросток; считая свои собственные формы совершенными, она тем не менее хотела быть еще и такой, как Лина. Сравнивать их было нельзя, как две разнородные величины; все в них было неодинаково, и если обе, например, были свободны в движениях, то Лариса осознавала и, возможно, даже когда-то

училась этой свободе, а зверушечья раскованность подружки оставалась ей недоступна. Более того, одна из них была хороша, а на другую не оглянулся еще ни один мужчина; впрочем, пара из двух красавиц образуется редко: природе нужно, чтобы невзрачность несчастливой девушки заставляла переводить взгляд на другое, несравненное лицо - поэтому та из двух, что считает себя привлекательнее, не расстается с дурнушкой. Сама о себе Лариса знала, что не красива, по строгим меркам, но эффектна - на нее-то как раз оглядывались на улице, - и Лина с лицом забитого деревенского мальчика вполне годилась ей в спутницы. Были у Ларисы и еще две такие же влюбленные в нее неприметные подружки, и она и к ним, как к Лине, относилась немного свысока, держа дистанцию, а те, каждая, считали ее ближайшей, единственной подругой.

- Как тебе это удастся? - восхищенно воскликнула Лина, входя следом за Ларисой в свой подъезд. - Такой интересный парень! Ты мне не говорила - вы давно знакомы?

- Минут пять. У него было такое лицо, точно он собирался меня убить.

- Какой ужас! А что же ты записывала? Все же взяла телефон? Вы встретитесь?

- Он хочет служить у меня шофером.

- Служить - у тебя? Ну, знаешь... Он же хотел убить?

- Такой интересный парень!

- И с Жорой перестанешь встречаться?

- Это и сейчас удастся редко.

- У него появился кто-то? Другая?

- Типун тебе на язык. Но не в том суть, - улыбнулась Лариса. - Препятствия-то создаю я. Ты же знаешь мою бабушку: стоит сказать, что я иду всего лишь прогуляться (о вечеринках нельзя и заикаться - какое там...), как она сейчас же серьезно заболевает - сердце, голова, берцовая кость... Тут уж не до личной жизни. Сегодня она знает, что я пришла к тебе заниматься и сюда можно позвонить, но потом непременно встретит упреками: ей было худо, а я гуляла, и некому было подать стакан воды. Когда я сижу дома, у нее отменное здоровье, дай Бог каждому.

- Жора говорил, что не женится до тридцати.

;- Жора живет по плану. При его аккуратности - что за скучное существование уготовано его жене!

- Я бы - за такого - вышла, - вздохнула Лина.

С Жорой, своим однокурсником, Лариса встречалась второй год. Он ходил с нею в кино и отказывался - в консерваторию, иногда они

заходили в кафе-мороженое, но чаще проводили время на вечеринках у приятелей; дома друг у друга они не бывали, словно это обязывало бы к серьезному. На самом деле Жора вовсе не нравился ей, и в компаниях Лариса сразу забывала о его существовании. Жора не обижался и, казалось, готов был вообще прекратить встречи, если она того захочет, но Лариса не допускала этого - держала при себе, не забывая о приближении черты двадцатипятилетия, за которой, она думала, придется оставить надежды. Новых знакомств что-то не предвиделось, и поэтому нынешняя встреча взволновала ее. Платон отличался и от Жоры, и от других ее знакомых молодых людей уже тем, что не учился, а работал, живя в мире, в который всем им только еще предстояло войти. Ей было бы интересно хотя бы поговорить с ним подольше, но звонить ему она считала невозможным.

- Пусть сам позаботится, - сказала Лариса.

- Жора? - поразилась Лина.

- При чем тут Жора? Платон. Тот, что в машине. Господи, неужели ничто не может решиться своим путем? В конце концов, он встретил меня однажды, встретит и еще раз.

- Хочешь, я позвоню ему? - вызвалась подруга.



Пение давно закончилось, жена мыла посуду, а Василий все еще брэнчал на балалайке, стараясь не слышать магнитофона за стеной. Что за диво-развлечение была эта балалайка: не надо двигать туда-сюда тугие мехи, а стоит чуть взмахнуть кистью руки, как возникает чудесный, ясный звук, какие бывают только в живой природе, и перед глазами встает картина: пляшущие парни и девки - свои, деревенские, но в народных костюмах похожие на артистов. Телевизору далеко до этой яркой картинки - она и наряднее, и приятней оттого, что не принуждает думать. Голове его стало легко и от зрелища пляски, и от выпитого, и одно лишь мешало отдыху - желание выпить еще. Желание было вполне определенным, Василий точно знал, сколько и чего требует организм: пол-литра портвейну, чтобы отполировать кровь.

Вздыхнув, он отложил балалайку.

Нужно было придумать, где выпить. С новой бутылкой жена домой не пустила бы, в магазине пить не хотелось, да там и не дали бы; оставалось только зайти к кому-нибудь из приятелей. "Пойду к Димке, - решил Василий. - У него жена молодая, не станет скандалить. Да и долг за ним не заржавеет".

Выйдя на кухню, он обнял жену одной рукой, а другая привычно

скользнула было вниз, но Василий вовремя вспомнил, что так и не сумел выгнать дочку погулять. С сожалением отступив, Василий присел на табурет.

- Мать, праздник сегодня или нет? - начал он издали.

- Середина недели.

- Что ли мы только что не гуляли?

- Погуляли и хватит. Шел бы поспал.

- Дай белую рубаху.

- Скоро в штiblетах станешь в постель заваливаться.

- Дай рубаху белую. В гости пойду.

- Пока в стельку не упьется, не остановится. Стыда человек не знает. Не стирана твоя рубаха. Хочешь - бери из грязного бака.

- Когда ж ты ее туда положила? - цедя слова, с подозрением спросил Василий.

- Да на той неделе.

- А ну как она бы мне срочно понадобилась?

- Только у меня и времени - твои тряпки тереть. И так поворачиваться не успеваю.

- Раньше успевала. Где это ты теперь шастаешь?

Последние слова он уже прокричал, оставив табуретку и утвердившись в центре крохотной кухни.

- Ни выпить, ни поесть, - распался он, - ни белья чистого надеть

- на что ты годишься? Желаю сто грамм принять - можешь обеспечить? И чистые портки дать не можешь.. Ну и ... с тобой, пойду, в чем есть: пусть видят, что за баба у Василия.

И, провожаемый бабьим криком, хлопнул дверью, торопясь к заветной цели - бутылке портвейна.



Если только Лариса и в самом деле ушла заниматься (как она вскользь сказала ему), то ждать ее в ближайшие два-три часа не имело смысла, но потом будто само собою разумелось, что он придет и станет караулить у входа, он просто обязан был вернуться и ждать, и обрести, и беречь; все прочее, задуманное на вечер, отменялось - он не раздумал, а просто выбросил из головы лишнее.

Нужно было как-то скоротать лишнее время, и Платон вспомнил, что Гоша-музыкант приглашал посидеть вечером во дворе, послушать гитару.

Гитара была старенькая, исцарапанная, но менять ее Гоша не хотел, резонно объясняя, что мастер он маленький, и для песенок, да

еще с его голосом, сойдет и такая; голоса, честно говоря, не было вовсе, зато играл он - отменно. Во дворе иногда и прохожие девушки без приглашения подходили поближе, послушать, да и старушки, не покидавшие своих скамеек у парадных, ворчали на него не всякий раз. Гоша чаще всего пел песни Окуджавы, звонкая мода на которые осталась в прошлом десятилетии, и реже - те немногие, что сочинил его друг, полжизни проведенный в дальних таинственных командировках. Платон предпочитал Окуджаву, а остальные дворовые ребята - самодельные командировочные песни, после которых Платону тоже хотелось уехать куда-нибудь в необжитые края. На днях этот Гошин друг и сам сидел с ними, и пел, и участковый постоял рядом; слушал и попросил дать списать слова.

Забыв, что только что отвез Гошу на Грузины, Платон поспешил к нему домой. Не заезжая во двор, где его могли увидеть - и зазвать на ужин - родные, он оставил машину на улице, под Гошиными окнами. Закрыв дверцу на ключ, Платон поднял голову и поежился: перед ним стоял тот самый верзила, что давеча разбил на лестнице стакан.

- Привет дружинникам, - ухмыльнулся Василий, в знак приветствия подняв над плечом литровую бутылку дешевого вина.

- От такого слышу, - огрызнулся Платон.

- Ну, как хочешь. Имену право в праздник. А насчет долга не беспокойся, подожду. Ты извини.

- Что-то не припомню за собой долгов.

- Стакан водки - и не помнишь? Из-за тебя же разбил. Ты извинишь?

- Ах, это? Считаю, что ты его выпил. Так и для здоровья полезнее.

- Как - выпил? - оторопело уставился на него Василий.

- Как, как - теперь разницы никакой. Был стакан - и нету, - нетерпеливо объяснил Платон, пытаюсь обойти Василия; тот пятился, но дороги не уступал. - Значит, выпил.

- Ах, ты... Да я сроду капли наземь не пролил, потому что ни один гаденыш не лез, куда не просят. Не вина жалко...

- Ладно, не заговаривайся, не дожدهшься, что я и этот "огнетушитель" разобью.

- Сначала заработай, студент сопливый, а потом уже чужим швыряйся, - зло и трезво сказал Василий, перехватывая бутылку за горлышко.

- Да и сам, смотри, не упади...

Василий шагнул вперед, и Платон, брезгливо посторонившись, подумал, что лучше бы тот захлебнулся своею злобой и своим вином, лучше растянулся бы здесь, у стены, да так и провалялся, пока не

приедут из вытрезвителя; он даже нечаянно представил, как тот, схватившись за грудь, падает на тротуар под звон стекла и как по асфальту растекается красная лужа - то ли кровь, то ли портвейн. В мозгу Платона это пронеслось мельком, как всегда пролетают случайные мысли между прижившимися и спокойными своими сестрами; позже, припоминая подробности, он не сумел повторить про себя эту как бы украдкой показанную картинку: в памяти осталось одно только смутное пожелание противнику каких-то неприятностей - искреннее, как видно, пожелание, если оно исполнилось сейчас же. Словно во сне, он хотел закричать - и утратил голос, увидев, как Василий, царапая ногтями грудь, медленно валится лицом вниз на тротуар, на разбившуюся уже бутылку. Из-под тела потек бурый ручеек. И сладкий винный запах повис в тяжелом воздухе. Улица, только что пустая, вдруг наполнилась беспокойным народом, и какие-то люди, откуда ни возьмись, окружили Василия, переворачивали его, сажали, толкая Платона и браня его за бездействие; он и в самом деле стоял столбом, пока не сообразил, что отсюда лучше уйти, и не увидел выходящего из трамвая Гошу.

- Что это с Васей? - спросил тот. - День вроде бы неурочный: он выпивает лишь по большим праздникам, да и то на улицу не выходит, а колотит жену без отрыва от очага.

- Праздник или нет, а только твой Вася еще днем поддавал на троих в моем подъезде. Но пойдем подальше от греха. Откуда ты с ним знаком?

- Живем рядом, на одной площадке. Через стенку. Он здесь недавно, с зимы. Нет, постой - с той, с прошлой зимы! Время, однако... Интересно, как это сейчас его угораздило? Ты видел что-нибудь? Лицо в крови...

- На бутылку упал. Я стоял рядом.

- Надо сказать его жене...

Гитара, песни, прогулки на авто - ничтожны были, если смотреть с той высоты, с которой срылся в бездну Платон; он уже не понимал, зачем оказался здесь. Все, только что бывшее для него важным, все его прошлое могло быть или исчезнуть - и ничего не изменилось бы, во всяком случае для посторонних, зато новое касалось каждого и было страшно. Из окна Гошиной комнаты Платон увидел, как подъехала санитарная машина и как зеваки затоптали лужицу на тротуаре, и, понимая, что один виноват во всем, не только испытывал раскаяние и страх, но и торжествовал.

Чувствуя себя правым в смешной стычке в подъезде, Платон и теперь, когда с Василием случилось настоящее несчастье, не нашел в

себе жалости, словно и не был пусть не виновником, но очевидцем, а прочитал о происшествии в газете. Василий или кто иной попался ему под руку, не имело значения; важно и дурно было другое - то, что он поверг противника словно бы ненароком, даже и мимолетно не успев разобраться, где тут было добро, а где - зло, и это значило, что он мог случайно причинить беду и невинному, и доброму человеку и что отныне ему следует опасаться собственных мыслей; да он и боялся их.

Вместе с тем, он был доволен собой, получившим в дар силу, какой не владел на земле никто. Платон не знал пока способа применить ее во благо, но надеялся придумать что-нибудь достойное - и придумал почти: заставить, с помощью этой силы, неведомую еще красавицу влюбиться в него. Эту выдумку он едва не отверг с гордостью - мол, что за прок от купленной любви, - но на этот жест Платону не хватило щедрости: слишком заманчивым становилось будущее, да и Лариса уже встретила ему. Остальное, кроме любви, уже имелось у него или определено предвиделось, или не было нужно; лишь дождавшись любви он согласился бы расстаться, за ненадобностью, со своей темной недюжинной властью. "К врачу, что ли, пойти? - с тоскою подумал он. - Я свихнулся". Как ни странно, такой вывод успокоил Платона: болезнь - это было нечто определенное, описанное в справочниках, то, против чего известно оружие: микстуры, скальпели и заговоры. Он подумал, что его необычную болезнь можно даже не лечить до конца, а лишь умерить степень недуга, снять острый приступ, оставив больному хроническую способность к гипнозу, - с тем, чтобы ему потом и не чинить более зла, и соблюсти выгоду. Он хотел любви - теперь она будет у него, но это не могло стать его единственным желанием, он знал, что непременно захочет сотворить еще уйму полезных для себя вещей - например, повлиять на экзаменатора.

"Только надо ли сдавать экзамены?" - малодушно усомнился Платон. Цель его была ясна - свобода, ради нее он и собирался учиться, но разве сейчас он не стал свободен? Он волен был распоряжаться собой, сняться с места, уехать, куда глаза глядят, выбрав любую девушку; почему-то девушка в нынешних его мечтах оказывалась лишь спутницей в путешествиях. В случае неудачи на экзаменах он не горевал бы, а мог податься на Дальний Восток или на Алтай - работать шофером или завербоваться на китобойное судно; простительная слабость души подсказывала и более простой вариант: уехать сразу, не затевая учения, подзаработать на машину, а тогда уже и браться за ум.

- Видел утром ребят из ансамбля, - перебил его мечтания Гоша-музыкант.

- Берут они тебя?

- Ни да, ни нет...

- Тогда плюнь. Если бы еще речь шла об оформлении на работу по всем правилам, официально - тогда другое дело, а это - какая-то самодеятельность. Тот самый уровень, когда в лучшем случае приглашают играть на агитпунктах.

- Ну, тут ты кругом не прав. Ансамбль серьезный, а это значит, что ему суждено весь свой век провести наполовину в подполье. Порядочных людей официально не признают. У меня ведь нет других возможностей, а здесь - зацепка... Постой, да и ты вчера так говорил!

- Вчера! - пренебрежительно махнув рукой, воскликнул Платон. - Было время подумать. Такие "зацепки" собираются в каждом подъезде после семи вечера.

- Были бы другие места... Да что же я тебе твои же слова передаю? Что с тобой сегодня? Ты недобрый какой-то.

- Разве?

- К ребятам выйдешь?

- У меня свидание. Да и настроения нет, голова занята совсем другим, самыми посторонними вопросами. Вот, например, ты изувечил или погубил человека, причем явного преступника или проходимца, алкаша, то есть ненужного, вредного человека - ты бы после этого жил дальше? В смысле угрызений совести и прочей лирики?

Гоша пожал плечами:

- Зависит от обстоятельств. Если - в драке, если он начал, если... то, возможно, я и не думал бы об этом после - пусть не лезет. Если нечаянно - жалел бы, конечно.

- Хорошо. А если б ты получил право казнить? - не унимался Платон. - Не понравился тебе человек - и в расход. Просто стоило бы тебе захотеть - и нет человека? Ты бы такой властью воспользовался?

- Да зачем? Ну, если по необходимости, если, скажем, ночью подойдут к тебе трое - куда денешься? Но и тут может выйти несправедливость: они у меня - часы и пиджак, а я их - к стенке.

- Часы или нет, а подойдут - с ножами. Только я немного о другом: вот, идет кто-то, и ты знаешь, что это подонок, и уверен, что все вздохнут свободно, если ты его убьешь...

- Почем знать, а вдруг это я - подонок? - возразил Гоша, начиная что-то наигрывать на гитаре, перескакивая с мелодии на мелодию и, видимо, теряя интерес к разговору.

- Значит, никто на свете и судить не имеет права? А судьи кто?

- Слушай, что ты завяз на одном месте? Детский какой-то разговор.

- Пойми, - не унимался Платон, - если человек вдруг получает такую власть, он не может делать вид, что ничего не изменилось, и жить по-прежнему. Пусть он никогда не применит свою силу, но он обречен помнить о ней днем и ночью, жить с ней и постоянно, каждую секунду держать себя в напряжении, думая только о том, как бы не навредить невзначай добрым людям. Иначе он обозлится случайно на кого-то, кто ему в трамвае ногу отдал, и - здравствуй, моя Мурка, и прощай: готово уголовное дело. Таким людям место на войне, они - сами себе оружие, им надо обращаться с собой с особой осторожностью, чтобы не выстрелить.

- Где они, такие люди? - снова возразил Гоша. - Покажи - сто рублей заплачу. Да если б и были - их на улицы не выпускали бы, а держали, каждого, в конуре или - в кобуре.

- Да, да, в одиночке, без прогулок. Еду им подавали бы на транспорте, чтобы сохранить жизнь бедным, беззащитным надзирателям.

- Да где ж они? Ты какой-то фантастики начитался?

- Это все равно, как если бы какой-то один человек вдруг стал летать. Не на самолете, не с крыльями, а просто так: захотел - и поднялся. Он тоже, наверно, всякий раз боялся бы, что уже разучился, больше не взлетит, и оттого, надо или не надо, а пробовал бы: идет, идет пешком - и подлетит немного. И еще боялся бы, что умение пропадет прямо во время полета, на высоте. Хотя это уже другое. Так и в моем... примере: человек будет думать, что утратил свой дар, и постепенно будет проверять, силен ли он еще, не разучился ли убивать.

- Лучше жить без этого.

- А если это уже существует? И в самом деле станешь прятаться от людей.

Платон обнаружил, что избегает смотреть на приятеля.

- Пойду-ка я, - сказал он с неохотой. - Неточно договорился с девочкой. Лучше подождать лишнее, чем разминуться.

Не торопясь уезжать, Платон начал протирать суконкой запылившуюся хромировку машины. "Была бы своя, - подумал он, - я б из нее сделал конфетку. А уж если б это были "Жигули"..."

- Купил? - поинтересовалась дворничиха.

- Дали покататься, - недовольно ответил он и, оставив не вытертыми колпаки левых колес, поспешил сесть за руль.

За углом он увидел переходящего улицу того самого инвалида, который сегодня вылез со своими костылями прямо под колеса. Инвалид ковылял по дальней стороне, и Платону не приходилось опасаться его новых рискованных перемещений, но что-то все же заставило его

задержать взгляд на пьяном калеке, а когда понял, что именно, было уже поздно: тот, разбросав свои подпорки, растянулся на земле. Платон в отчаянии надавил на тормоз, и "Москвич", вильнув, остановился поперек улицы. Платон не знал, зачем затормозил и почему бегут люди - кто с одной стороны на другую, к упавшему человеку, а кто и к машине. Он очнулся лишь когда к окошку кабины склонились два красных мужских лица; лишь теперь он заметил вокруг и другие яростные лица, мужские и детские, и пронзительные голоса достигли его слуха:

- Лихач, частник проклятый! Глаза бы разул - видишь, человек на костылях!

- А ну, выходи! Мы тебя научим ездить.

- ... сам видел...

- Вы что, с ума посходили? - крикнул Платон, поняв, в чем дело. - Посмотрите, где он и где я. Что ж я, по тротуару, что ли, ехал?

- Ты мне зубы не заговаривай.

Один из краснолицых уже тянул на себя дверцу, и у Платона не хватало сил удержать, но он знал, что надо делать. Перед машиной людей не было, они столпились только с его стороны, и двигатель работал, не заглох; значит, надо было только избавиться от ретивого парня, уже распахнувшего дверцу и отрывавшего руку Платона от руля, и мчаться что есть мочи до первого милицейского поста. Сделав вид, что поддается, Платон резко повернулся на сиденье и обеими ногами толкнул противника в живот. Тот, охнув, рухнул навзничь, увлекая за собой еще кого-то, а Платон, мигом вернувшись в прежнее положение, выжал педаль - и услышал почти над ухом долгий милицейский свисток.

- Что здесь происходит?

Вокруг загалдели, перебивая друг друга, но постовой не слушал, а лишь выжидающе смотрел на водителя светлыми немигающими глазами.

- Почем я знаю? - устало отозвался Платон. - Там, на тротуаре, человек упал, я подумал - беда, вот и остановился.

- Я видел, можете не рассказывать. Ваши документы. И ваши, - обернулся милиционер к тому, кого ударил Платон.

- Нету с собой, - с трудом выговорил парень; он стоял согнувшись и был бледен.

- Тогда пройдемте, - машинально пробормотал милиционер, просматривая водительские права и что-то выписывая оттуда в замусоленную записную книжку; покончив с этим, он посоветовал Платону: - Поезжайте, да живее, тут и без вас мороки хватит. Если понадобятся показания - вызовем. Ваше счастье, что я проходил здесь.

Платон не заставил себя упрашивать.

Выходило, что он, как и предвидел, не может доверять самому себе, не властен над собственными поступками и не в силах побороть желание снова и снова убедиться в своем сомнительном могуществе - испробовать себя, как только подходящий объект оказывается под рукой. Нет, Платон не против воли сделал это, у него и сейчас не пропало желание утверждать себя многократно, и он не хотел знать и знал, что снова и снова станет делать это, а потом - казнить и праздновать победу.

Навстречу, завывая сиреной, проехала "Скорая помощь".

"Все объяснят жарой", - подумал Платон.

Отныне он был обречен на любовь к ближнему, не смел более гневаться, посылать вслед проклятия, он... Но нет же, он снова заблуждался: последний его противник, тот, что ломился в машину, остался невредим, хотя дошло уже до рукопашной и он имел куда больше шансов быть поверженным, чем никому не мешавший инвалид. Платон постарался ударить его побольнее, сознательно метаясь в живот и представляя себе, как тот упадет, скорчившись; так оно и вышло, но - естественным, если можно так сказать, путем. "Я разучился! - ужаснулся Платон. - Что теперь делать? На ком попро... Что за жуткие мысли! Я становлюсь зверем - что делать?"



Здесь тоже висели часы с кукушкой, но не такие, как у нее дома, а современные, в пластмассовом корпусе, и птичка в них смолоду не пела. Как они здесь появились, трудно было понять, в остальной небогатой обстановке чувствовался строгий вкус, но этот предмет, очевидно, подарил какой-то хороший друг, и теперь его, предмет, и терпеть было неприятно, и выбросить нельзя.

Дверца отворилась со щелчком, кукушка молча выглянула в комнату, и Лариса, подняв на нее взгляд, подумала, что пора собираться домой, оттого что все равно ничего не лезет в голову, и бабушка не смеет лечь без нее, и лучше уж подольше погулять с Чапой и развеяться, чем без толку смотреть в тетрадь, постоянно сбиваясь на болтовню с Линой о тряпках. Хорошо было бы, придя домой, поиграть на пианино, да час уже настал тот, когда люди ложатся спать. В последнее время ей редко удавалось сесть за инструмент. Когда-то Лариса кончила музыкальную десятилетку, но дальше учиться не пошла - до отличницы ей было далеко, а быть в музыке середнячком, по ее мнению, совсем никуда не годилось, - однако и теперь старалась играть

ежедневно по полтора-два часа, а в выходные дни и больше, чтобы сохранить форму. Как и в школьные годы, она играла гаммы и упражнения, непременно - этюды и Баха, и подруги удивлялись, почему не слышат от нее любимые ими - и ею - джазовые вещи.

Теперь, в сессию, времени на фортепиано не оставалось, и Лариса с грустью думала, что скоро так будет всегда - едва только она начнет работать. Мало-помалу она осознала детскую ошибку, и если бы кто-нибудь спросил ее, она теперь убежденно сказала бы, что предпочла бы слыть пусть и посредственностью, но - в любимом деле.

Сейчас она вспомнила о музыке из-за часов: к своим она за всю жизнь не смогла привыкнуть настолько, чтобы не замечать вовсе, и всякий раз переставала играть, как только слышалось кукование. Немую птичку Лины она не замечала, и лишь сегодня ее раздражила распахнувшаяся дверца, заставившая оторваться, вздрогнув, от чтения, словно она читала недозволенное, а кукушка подглядела. "Живые птицы не подсматривали бы, - подумала Лариса. - И отчего бы нам не заниматься в саду или у речки, чтобы еще и кузнечики стрекотали над ужом?"

- Все время думаю о чепухе, - пожаловалась она. - Смотрю в концерт, а думаю о кино, о парикмахерской, о кузнечиках в траве. Я, когда играю на рояле, если и думаю о постороннем, то все же о другом.

- О другом думать неприлично, - засмеялась Лина. - И вредно.

- Скажи, бывает с тобою, будто ты чувствуешь, что кто-то вдруг вспомнил о тебе?

- В этот момент, говорят, икается или уши горят.

- У меня сию минуту как раз такое ощущение, будто кто-то думает обо мне и даже напряженно вспоминает внешность: как будто меня ощупывает слепой.

- А этого слепого ты не можешь представить?

- Нет, я себя вижу, со стороны, будто его... нет, не глазами же.

- Без лоскутка или все же в белье? - насмешливо поинтересовалась Лина.

- Вот в этой одежде, как есть, - серьезно ответила Лариса.

- По-моему, ты переучилась.

- Просто, наверно, очень хочется, чтобы обо мне думали, а то ведь - некому: отец далеко, бабушка - тоже, в своем особенном мире, только вот собака ждет хозяйку, не дождется.

- Говорят, собачья преданность портит человека.

- Тем, что открывает глаза на отношения между людьми.

- Одно время Жора бегал за тобой, как собачонка - и не он один. Грех жаловаться.

Но Жора или кто другой - это было слишком конкретно, о таком слишком легко было говорить, и сказанное представлялось, из-за своей ясности, излишним; то же, чего ждала она, не могло быть ни писано в письме, ни сказано в речи, разве что - сквозить между строк и быть понятным не каждому, или вовсе никому из знакомых ей людей, в том числе - и нынешнему шоферу.



Похоже было, что Платон вправду, разучившись летать, шлепнулся на землю - пусть и не в грязь, но это уже все равно было, он возвращался в пеший, в рядовой строй с единственным разрешенным или физически возможным направлением зрения: снизу вверх. Лежа, он мог спокойно вспоминать события минувшего дня; ничто не могло и не должно было тревожить его.

Но нет, он еще сомневался в освобождении: могло стать, что его власть распространялась не на любого (есть же люди, стойкие перед гипнозом) или что употребить ее он мог лишь при определенных условиях. Он ничего не имел против тех, кто вытаскивал его из машины, а лишь боялся их: понимал, что люди сгоряча ошиблись и, ударяя ногами, не хотел причинить им настоящего зла, а лишь - защититься и удрать. Тогда и его, Платона, друзьям ничего не грозило (он не вспомнил, как споткнулся Гоша), и девушка, которую он сейчас ждал, была в безопасности.

Ждал он, быть может, напрасно. За час, проведенный им у подъезда, дверь вообще не открывалась, и Платон начал уже думать, что она заколочена, а жильцы пользуются черным ходом; ворота во двор находились вне поля зрения, он раньше не догадался следить и за ними и вполне мог упустить Ларису. Он с усмешкой подумал, что, в придачу к уже обретенной способности повергать, ему сейчас очень бы пригодилось умение видеть сквозь стены; проявись еще и такой дар, Платон уже не удивился бы. Быть может, он обладал и еще каким-нибудь, не менее сказочным свойством, не ведая того; все их, какие только могли теперь прийти в голову, следовало проверить, в первую очередь, опять-таки, - то, уже известное: ему просто необходимо было узнать, сохранилась ли его сила или же вышло так, что кто дал, тот и взял. Кошки и собаки не годились для проверки, только - люди, и невозможно было избавиться от желания на долю секунды вообразить падение первого попавшегося прохожего. Пока

еще сопротивляясь, Платон понимал, что все равно воспользуется тем исключительным, что имеет, как уже пользовался без надобности. Он изо всех сил старался не замечать движения пешеходов, сосредоточив все внимание на подъезде, да и то сощурил глаза так, чтобы лишь заметить полоску света, когда дверь начнет открываться; едва увидев кого-нибудь в проеме, следовало зажмуриться или отвернуться; как при этом узнать Ларису, он не понимал, но особенно не беспокоился из-за этого, надеясь, что и в полной темноте угадает ее присутствие, как это получается у близких людей - по звуку шагов, едва ли не по дыханию. По дыханию, по аромату - глупо, он же сидел в железной коробке, но - по стуку каблучков (он - помнил!), по тому, как, увлеченное вперед движением воздуха, в щели открывающейся створки колыхнется голубое полотнище, по необычному изгибу руки, которую увидит прежде, чем тело, - он должен был узнать ее, как узнают друг друга влюбленные: не видя, не слыша - сквозь стены. Сказав про себя "влюбленные", он удивился наивному слову, но не отверг его. Прежде не склонный к сантиментам, более - любивший позу циника, в которую не всегда умел стать, он вдруг захотел влюбленности, а, возможно, и влюбился уже. Даже и в самые острые моменты нынешнего дня - и когда упал Василий, и когда назревала скорая расправа с ним самим, - он не переставал думать о Ларисе. Она и сейчас стояла перед глазами Платона, словно репетировала выход: шла навстречу, разбрасывая ослепительными ногами тяжелые полы, и махала ему гибкою рукою. Она была так омыта солнцем, что взгляд различал и каждый шовчик кофточки, и каждую морщинку в уголках прищуренных на ярком свету глаз; теперь, вечером, Платон ждал увидеть, скорее всего, лишь силуэт - и еще, наверно, скупая лампочка высветит голубизну ткани, а потом женская фигура двинется вперед из светлого проема - и упадет на теплый асфальт.

В ярости он ударил кулаком по сиденью, и мягкость подушки еще более вывела его из себя. В спешке заведя машину, Платон тронулся было подальше от греха, но тут же затормозил и вышел на мостовую. Было бы обидно уехать, потеряв всякую надежду на новую встречу, - и потом узнать, что черный дар утрачен им навсегда.

Об этой утрате Платон сожалел бы впоследствии, но теперь, боясь за Ларису (ни за кого больше), он убеждал себя в готовности отдать за избавление от непрошеного таланта полжизни; не понимая физической величины этой жертвы - половины жизни - и не зная цены всякого самоотречения, он был вполне искренен. Как и любой другой начинающий влюбленный, он видел смысл своего существования в том

только, чтобы боготворить свою избранницу; словно подросток, он хотел ходить за нею следом, не смея догнать, а если найдется предлог, то взять за руку и смотреть в глаза; как самое малое, он хотел увидеть ее сейчас, когда она выйдет из парадной, спокойно полюбоваться издали, и, не отводя взгляда, шагнуть навстречу и заговорить; он уже отрепетировал жесты и текст, и мог еще тысячу раз повторить их, представить - и представил: плавное движение тени и скрип двери, неразличимые против света черты лица, черные туфельки на высоких шпильках, нащупывающие ступеньку - и мягкое падение тела.

Он и застонать не успел, только жалко всхлипнул, и не успел броситься за руль и умчаться, хотя, кажется, и готов был, и на этот раз не остановился бы и не оглянулся; он опоздал, и вертикальная полоска света разрешила темный прямоугольник входа, показав узкую кисть руки, толкающую створку, и голубая материя осветилась неяркою лампочкой. Платон напрягся в жестоком усилии, не зная, какие порывы и помыслы ему надобно сдерживать и как заменить их неведомой энергией любви, а пока лишь стараясь отвести взгляд - и не отводя, а, напротив, жадно уставившись на Ларису. Он ждал падения и не хотел, чтобы она упала, чуть было не крикнул даже, предупреждая, но тут ему почудилось, что она и впрямь покачнулась и падает и ее надо спасать; он не успел понять, происходит ли в это в действительности, но бросился к ней, чтобы поддержать, уже ощущая в груди нелепый холод и в страхе замечая, как вместе с девушкой кренятся и обрушиваются окружающие предметы. Нога, не достав до кромки тротуара, подвела его. Он успел только подумать, что не могут же они падать оба, одновременно.

“ИЗРАИЛЬ - 50”

Впервые вся история Еврейского Государства за 50 лет. Главные и второстепенные события; войны; борьба с террором; экономика и культура; люди, чьи имена вписаны золотыми буквами в историю государства; скандалы, всколыхнувшие общественность.

Праздничный альбом, 160 цветных страниц.

В Израиле – 87 шек. В Америке – 37 дол., включая пересылку. В Европе – 30 дол., включая пересылку.

Издательство “Меркур” ул.Дов-Хоз 11/7, Тель-Авив

Александр Кушнер

*Верю я в Бога или не верю в бога,
Знает об этом вырицкая дорога,
Знает об этом ночная волна в Крыму,
Был я открыт или был я закрыт ему.*

*А с прописной я пишу или строчной буквы
Имя его, если бы спохватились вдруг вы,
Вам это важно, Ему это все равно.
Знает звезда, залетающая в окно.*

*Книга раскрытая знает, журнальный столик.
Не огорчайся, дружок, не грусти, соколик.
Кое-что произошло за пять тысяч лет.
Поизносился вопрос, и поблек ответ.*

*И вообще это частное дело, точно.
И не стоячей воде, а воде проточной
Душу бы я уподобил: бежит вода,
Нет, - говорит в тени, а на солнце - да!*

★★★

*Скучно, Гоголь, жить на этом свете!
Но повеет медом иногда
От пушистых зонтичных соцветий! -
Чудно жить на свете, господа!*

*Господа посматривают косо,
Хмуро, кисло, заняты другим.
А еще дымком от тепловоза
Вдруг пахнет и паром полевым.*

*Он ползет, грязнуля и неряха,
Из Полтавы, может быть, Орла,
Словно пылкость взял у Шлипенбаха,
И пыхтит, и воеет, как пчела.*

*Ах, и сам я мрачностью страдаю
И всю жизнь с собой борюсь.
Отбивайся! Лезь в Петрову стаю!
Кипятись, как Боур или Брюс!*

*Лучший способ, может быть, и метод
Жить среди печалей и обид,
Не сдаваясь: сдашься - кто за этот
Сладкий пар и запах постоит?*

★★★

*Первым на сцену является белый шиповник,
Чтобы, наверное, знали, кто первый любовник,
О, как он свеж, аккуратен и чист, - как Пьеро!
Вот кто, наверное, всех обольщений виновник,
Снов и иллюзий: печаль и сплошное добро!*

*Он не отцвел еще, как зацветает махровый,
Душный, растрепанный, пышный, свекольно-лиловый,
Так у художников в ярком трико Арлекин
Смотрит с полотен, все в скользкую шутку готовый
Вдруг обратить, ненадежный такой господин.*

*Третьим приходит, как шелк ослепительно-алый,
С желтой середкой рассеянный гость запоздалый,
Нами любимый всех больше и дикой пчелой.
Кто им порядок такой предписал, тот, пожалуй,
Знает, что делает, прячась за вечную мглой.*

★★★

*Однажды на вырицкой даче, в компании шумной,
Я был поражен приоткрывшимся видом на реку,
С какой-то неслыханной грацией полубезумной
Лежавшей внизу и смотревшей в глаза человеку,
Как будто хозяин держал у себя под обрывом
Туманную пленницу в тайне от всех, за кустами,
Турчанку, быть может, и прятал глаза, и счастливым
Был, и познакомить никак не хотел ее с нами.*

Поэтому в дом пригласил и показывал комнат
Своих череду затененных, с кирпичным камином:
“Легко нагревается и хорошо экономит
Дрова”, и вниманье привлечь к полутемным картинам
Хотел, и на люстре дрожали густые подвески,
И плотными шторами окна завешены были,
Вином угощал нас, чтоб мы позабыли о блеске,
Мерцанье в саду - и его ни о чем не спросили.

★★★

Дети в поезде топают по коридору,
Или входят в чужие купе без разбору,
Или, с полки упав, слава богу, что с нижней,
Не проснувшись, полночи на коврике спят;
Плачут; просят купить абрикосы им, вишни;
Лижут скобы, крючки, все железки подряд;
Пятилетняя девочка в клетчатой юбке
Мне старалась понравиться, вся извелась,
Извиваясь, но дядя не шел на уступки,
Книгой от приставаний ее заслонясь,
А поддался бы, дрогнул - и все: до Тамбова,
Где на дождь, наконец, выходила семья,
Должен был бы подмигивать снова и снова...
Там, в Тамбове, будь умницей, радость моя!
Дети в поезде хнычут, смеются, томятся,
Знать не знают, куда и зачем их везут;
Блики, отблески, пыльные протуберанцы,
Свет, и тень, и еловый в окне изумруд;
Но какой-нибудь мальчик не хнычет, не скачет,
Не елозит, не виснет на ручках, как все,
Только смотрит, к стеклу прижимая горячий
Лоб, на холмы и доли в их жаркой красе!

★★★

Достигай своих выгод, а если не выгод,
То Небесного Царства, и душу спасай...
Облака обещают единственный выход
И в нездешних полях неземной урожай,

*Только сдвинулось в мире и треснуло что-то,
Не земная ли ось, - наклонюсь посмотреть:
Подозрительна мне куполов позолота,
Переделкинских роц отсыревшая медь.*

*И художник-отец приникает к Рембрандту
В споре с сыном-поэтом и учится сам,
Потому что сильнее, чем уму и таланту,
В этом мире слезам надо верить, слезам.*

*И когда в кинохронике мальчик с глазами,
Раскаленными ужасом, смотрит на нас,
Человечеством преданный и небесами, -
Разве венчик звезды его желтой погас?
Видит Бог, я его не оставляю, в другую
Веру перебежав и устроившись в ней!
В христианскую? О, никогда, ни в какую:
Эрмитажный старик не простит мне, еврей.*

*Припадая к пескам этим желтым и глинам,
Погибая с тряпичной звездой на пальто,
Я с отцом в этом споре согласен, - не с сыном:
Кто отречься от них научил его, кто?*

*Тянут руки к живым обреченные дети.
Будь я старше, быть может, в десятом году
Ради лекций в столичном университете
Лютеранство бы принял, имея в виду,
Что оно православия как-то скромнее:
Стены голы и храмина, помнишь? пуста...
Но я жил в этом веке - и в том же огне я
Корчусь, мальчик, и в небе пылает звезда...*

КРАСНОЕ МОРЕ

*Овидий ни при чем, и Пушкин здесь не к месту,
И к слову здесь прийти не мог бы Мандельштам.
Но с ног до головы здесь кутают невесту,
И ветер гонит пыль песчаную к подъезду,
Песчаные холмы лежат по берегам.*

*Так что же, никаких зацепок и завязок?
Чистейший изумруд, редчайшая лазурь,
Гостиничный каскад балконов и террасок,
Но слуху, кроме волн, глазам, помимо красок,
Значений нужен ряд... Как быть? Глаза прищурь*

*Или совсем закрой - и вдруг увидишь пестрый
Обоз: мужчин, их жен, детей и стариков,
Услышишь говор их, и плач, и скрип колесный
Меж двух морских пучин, двух волн высокорослых,
Ракушечника хруст, придонных гребешков.*

★★★

*Мавританский стиль хорош в Европе,
Где-нибудь в Венеции сырой,
Эти дуги, круглые надбровья,
Розоватый камень кружевной.*

*Вплоть до кресла гнутого и стула:
В тесной спинке дырочка сквозит,
Словно вдруг из Африки подуло,
Намело весь этот реквизит.*

*Весь декор прищуренно-стрелковый,
Весь гаремно-сводчатый уют,
Сердцевидный и трехлепестковый,
Будто пики с трефами сдают.*

*На Capale Grande в самом деле
Есть под синим флагом казино, -
Если б мы с тобой разбогатели,
Мы б сидели, пили там вино.*

*Что ты, что ты, страшно, не умею
Ни сказать, как надо, ни ступить, -
Лучше эту странную затею
До загробной жизни отложить.*

Анатолий Добрович

НАРОДНЫЕ ТАНЦЫ НА НАБЕРЕЖНОЙ ТЕЛЬ-АВИВА

*Движущиеся вместе, но каждый сам по себе.
В общем хлопке и жесте - дань единой судьбе.
Толстяки и тростинки, прелестницы, горбуны
ритмом либо инстинктом в целое сведены.*

*Танец простой породы, музыка третий сорт.
Дружные повороты юбок, рейтуз и шорт.
Что-то в этом от хлестких - с пеной наискосок -
волн средиземноморских: рядом, через песок.*

*В окриках диск-жокейши - скрытый сержантский лай.
Славный и богатейший кем-то придуман край.
Танец идет под песни. Окрик необходим.
Танец делают вместе. Но танцуешь один.*

*Ни одного сефарда - разве что йеменит.
Гроздью, врозь и попарно... Что ж мне кровь леденит? -
Горя неизреченность? Преодоленный страх?
Гордая обреченность? Призрак "узи" в руках?*

*Кто-то придумал танец. Город. Народ. Удел.
Кисти плывут, взметаясь, над перебросом тел.
Обувь стучит о плиты, волны чертят зигзаг.
И словно глаза закрыты - при открытых глазах.*

ДОЖДЛИВО

*Дождливо. Это как знак
в начале нотного стана.
Меняется лад, меняется флаг,
и в вышних осанна.*

*Как будто за тучей скрыт
при ярком солнце невидимый
податель благ удивительный,
защита защит.*

*Растущие с неба вниз
побеги дождя вплелись
в лимонных деревьев заросль.*

*Догадываешься: жизнь
не в том, в чем казалось.*

*Скользит под ногой ступень
("О черт", - говоришь себе),
Белье опять не просохло.
Однако ж, как хорошо стопе
в кроссовках.*

*Догадываешься: смысл
тебя - не тобой обоснован.
Дурак,
рассмейся, щекой прижмись
к ребенку, глотни спиртного.
Включи, предположим, Орфа,
свари, предположим, кофе,
пока не пришлось,
натянув капюшон,
сказать: "Я пошел".*

★★★

Н. З.

*Над красными крышами вилл Ашкелона,
над желтою дюной в округлых кустах
фиалковым сгустком внизу небосклона
вздывается море на тихое "ах".*

*С белеющим судном (привет от морей)
рассеянный Крым наплывает, непрошен.
Вот этот оттенок нашел бы Волошин,
затевя с утра написать акварель.*

*И хватит о том, что тебя раздавило!
Глаза наводи, разжимаясь внутри
на красные крыши, на белые виллы,
на дюны, а дальше-то: черт побори,*

*Там скалы и древний причал Аскалона,
и шлепанье пены, и говор зыбей,
и в море вступая, ноги не разбей
о черный топляк византийской колонны,*

*И к мысли привыкни, что это не страх -
в какое-то утро уйти, прекратиться
над морем, над дюной в округлых кустах,
над этой бросающей в жар черепицей.*

Анатолий Добрович

МОНОЛОГ

(стихи)

Тель-Авив, 2000

Стихи, десятилетиями писавшиеся "в стол", самой своей сутью непричастные к потоку "советской литературы", - все же остаются стихами, если действительно были ими изначально.

Автор этой книги как бы решился проверить, обладает ли сочиненное им - написанное давно и недавно - тем внутренним единством, той узнаваемостью голоса и мировосприятия, которые способны затронуть любителей поэзии.

Поступившие отклики свидетельствуют: книга удалась.

*162 страницы, тираж 200 экземпляров, цена 9 долларов.
Заказы по телефону: 054-79-52-90.*

Александр Мильштейн

ПИСЬМО

*...и заявил, что все еще занят
решением проблемы, истинно ли
тождество $A = A$, делом вообще-то
зряшным...*

Ф. Дюрренматт

Пока я думал, как мне тебе об этом написать, стемнело.

Но буквы еще видны, и я попытаюсь, а то потом забуду то, что сейчас пришло в голову. Ничего особенного, просто я сидел, глядя на лист, и вдруг подумал, что слово, составленное из тех же букв, что “живу” - это “вижу”.

Совсем темно, и буквы сливаются. Но ведь и письмо уже написано!

Сегодня утром я прочел письмо, порадовался, что, несмотря на темноту, оно получилось разборчивым и решил сразу отправить - купил конверт, запечатал, написал адрес. Вот только индекс не смог вспомнить, но подумал, что письмо дойдет и без него. Оказалось, что индекс играет другую роль: письмо не ушло. Вскрыл конверт и пишу дальше. События касаются тебя непосредственно, и тебе все же стоит о них узнать. Прости, если я ошибаюсь, и тебя это давно уже не интересует, не читай тогда.

Темно. Я стараюсь побольше отступать, чтобы строчки не набегали друг на друга. Из того, что остается за пределами листа, сейчас видны только огни. Чем дальше к северу от Хайфы, тем они реже. Итак: в ночь накануне я проснулся в три часа, вышел из сторожки справить малую нужду и увидел три ярких огня, висевших на севере. Возможно, над Ливаном. Один из них исчез и сразу появился в другом месте. Это повторилось несколько раз. Надо сказать, что, хотя огни выглядели

странно, я был не уверен, что это НЛО, а не ЦАХАП или НАТО. День прошел вполне обычно: я бродил по городу, листал в библиотеке периодику, плавал в море, пообедав, увидел, что уже пора на работу. Помоему, я писал тебе, что стройка, которую я охраняю, происходит на горе Кармель. Когда автобус въехал на гору и стал приближаться к моей остановке, я увидел в окне Марину. Я не знаю, сможешь ли ты в это поверить. Могу только сказать, что у меня было достаточно времени, чтобы понять, что я не обознался. Автобус ехал медленно, потому что в эту минуту брал самый крутой участок подъема. Я видел, как она остановилась и, сняв со лба прядь, задержала руку на голове, как она пошла направо по улице, которая ведет к стройке. Автобус проехал еще метров двести. Через какие-то секунды я бежал по улице, но ее там уже не было. Я влетел сквозь открытые ворота на стройку. Дверь в сторожку была открыта, внутри следы беспорядка, смятая постель. Я ничего не соображал, сердце продолжало совершать гигантские скачки. Увидев банки из-под пива, я понял, что это были строители, и выбежал за ворота. Стоящий сразу же за ними дом с двумя башенками - проходной. Спустившись на три этажа, я выбежал с другой стороны на террасу. Лестница снова начиналась возле ее левого края и зигзагами сквозь густую зелень Бахайского парка вела прямо к автобусной остановке. Но я не побежал по ней. Я подумал, что Марина могла войти в один из домов и теперь не знал, идти мне вниз или вернуться, а потом почувствовал, что дело не в том, в какую сторону двигаться: просто я уже не верю в то, что увидел. Ты сам говорил, что ее удастся догнать в городе, только если действуешь, не раздумывая. На террасе стоял столик и три кресла. В одном сидел худощавый благообразный старик. Я стоял и смотрел на него, он на меня. "Ата роцэ кос ти?" - спросил он. "Хочешь стакан чая?" Я машинально кивнул. На рябом лице появилась улыбка. Он налил мне чай и сказал по-английски, что его окно выходит на стройку, и он привык видеть меня в это время сидящим в кресле возле вагончика. Я подтвердил, что работаю там сторожем. Старик спросил, чем я еще занимаюсь. Я сказал, что ничем, потому что работа поглощает меня целиком. Он представился: "Бергер, - сказал он, - меня зовут Симон Бергер". Я тоже назвал свое имя, поблагодарил его за чай, сказал: "Си ю самтаймз" и ушел.

За полчаса я обошел всю улицу. На ней стоит лишь один многоквартирный дом, остальные - это частные виллы с закрытыми в любое время суток жалюзи. Я был удивлен, обнаружив, что во всех кто-то живет, но других результатов у моего исследования не было. Никто, нигде не видел никакой Марины.

В три часа ночи меня разбудил будильник. Я вышел из сторожки, тщательно осмотрел панораму, но не нашел ничего аномального. Потом долго не мог уснуть. Был сильный ветер, стучала дверь. Когда я в шесть утра спускался к остановке, старик читал на террасе газету. На столике перед ним стояли два стакана. Когда я подошел, он отложил газету и поприветствовал меня. Я рассказал ему про НЛО и в шутку заметил, что не исключаю того, что он вошел со мной в контакт. "Но почему в таком дряхлом виде?" - спросил он. "Удобная шкура - старик", - сказал я, пояснив, что это цитата из Давида Самойлова. Он попросил процитировать еще что-нибудь. Я сказал, что вряд ли смогу на ходу изобрести даже подстрочник. Потом я спросил, чем он занимается. Выяснилось, что теперь уже по существу ничем, а раньше психиатрией.

На следующее утро на столике был чай и газета, а старика в кресле не было. Я взял газету - это был номер "Jerusalem Post" и сразу наткнулся на сообщение о том, что два дня назад террористы пытались ночью пересечь ливано-израильскую границу на дельтапланах. Их сбили и до утра над долиной Бекаа сбрасывали на парашютах осветительные ракеты. В газете сообщалось, что в долине ночью было светло, как днем. Пришел старик, принес печенье. Я протянул ему газету, указав пальцем на эту колонку. Перевел ему две строчки Давида Самойлова: "Мы с тобой в чудеса не верим, оттого их у нас не бывает". Старик, казалось, тоже был не в восторге от такого финала. Мы пили чай молча. Потом он спросил:

- Вы тогда были еще чем-то взволнованы, не огнями, правда?

Я кивнул.

- На вас лица не было, - сказал Бергер, - вы были на грани.

После этого он быстро задал мне несколько вопросов. Я отвечал на них прямо, но ему казалось, что я ухожу от ответов. Мне это надоело, и я сказал, что вряд ли смогу ему помочь узнать, кто такая Марина. Потому что сам никогда не мог этого понять. Старик помолчал. Потом начал было:

- То, что вы рассказали мне о Марине...

Но я позволил себе его перебить и сказал, что мне кажется, что я ничего ему о ней не рассказывал. Только отвечал "да" или "нет".

- Согласен, - кивнул старик, - но, тем не менее, мне захотелось рассказать вам историю болезни одного из моих последних пациентов. Если вы не возражаете.

Я сразу понял, что Бергер решил, что он сам сможет мне объяснить, кто такая Марина. При этом он решил изъясняться притчами.

Постараюсь воспроизвести его рассказ дословно, возможно, за вычетом нескольких медицинских терминов. Все это случилось с ним, или с ней, но тогда еще с ним, через год после приезда в Израиль. Ранение, полученное в бою, казалось наихудшим из всех возможных. В романе Хэмингуэя в аналогичном случае персонажу сказали, что он "отдал за эту землю нечто большее, чем жизнь". "Больше жизни" герой рассказа Бергера поначалу отдавать не хотел, в госпитале он предпринял попытку самоубийства. Она оказалась неудачной. Старик отсчитывал начало болезни с этого момента. А предпосылки, с его точки зрения, были намного раньше ранения. Оно было только катализатором. "Ничего себе - только", - вымолвил я, и старик согласился, что использует в рассказе слишком грубые упрощения, но иначе пришлось бы читать историю болезни - а это довольно увесистый том. Больной, на этом этапе Бергер дал ему имя Леон, накануне операции по восстановлению детородного органа вдруг заявил, что хочет изменить свой пол. Он смог убедить врачей, что его желание не продиктовано безумием. После этого скальпель хирурга и гормональная терапия довели начатое осколочным снарядом дело до логического конца. Плюс работа психотерапевта. Леон стал Тиной. Красивой молодой женщиной. "От мужчин не было отбоя, вообще ничего поначалу не предвещало, что Тина станет моей пациенткой!" - сказал старик по-английски, но с типично ивритской интонацией и всплеском рук. Но потом у нее с мужчинами стало происходить то же самое, что у Леона было с женщинами - он, точнее она, вспомнила, что конкретные женщины Леона, чем дальше, тем больше разочаровывали. За их спинами всегда появлялся призрак какой-то другой женщины, он бросался к нему и встречал новую женщину во плоти, и все повторялось. Он на долгое время вообще прекращал половую жизнь. Призрак мерцал где-то вдали. Потом Леон опять принимал за него реальную женщину. То же самое теперь происходило с Тиной. "А Леон обращался по этому поводу к психиатру?" - спросил я. "Нет, - сказал старик, - и Тина по этому поводу обращаться бы не стала. Я начал ее лечить с того момента, когда она вдруг поняла, что единственный мужчина, которого она на самом деле хочет, - это Леон".

- Грустная история, - сказал я.

- Она тоже видела Леона в городе, бегала за ним, но никогда не могла догнать.

- Вы ее вылечили?

- Да. По крайней мере, она больше его не видит.

Потом старик спросил:

- Все же, Марина - это реальный человек?

- Конечно, - сказал я, - и поэтому мне не нужно обращаться к вам за помощью.

- Я бы и не смог вас принять. Два года назад я прекратил практику.

Мне вдруг захотелось его послать подальше. Я сказал, что познакомился с Мариной на маяке, куда я поехал работать по контракту. Маяк светил для кораблей, бороздивших Северный Ледовитый океан. По условиям я должен был быть один, но я сразу почувствовал, что там еще кто-то есть. Через некоторое время я познакомился с Мариной. Полгода мы жили с ней вдвоем, одни в радиусе тысячи километров, поэтому не приходится сомневаться, что Марина существует. Старик все это слушал, тихонько кивая головой, я так и не понял по его глазам, попался ли он на удочку.

- Так почему же вы были так взволнованы, я бы сказал сверхъестественно? - спросил он, когда я замолчал. - И почему, когда разговор касается Марины, вы меняетесь, вы начинаете обдумывать каждое слово, как будто боитесь проговориться?

- Потому что Марина - не обычный человек, - сказал я, - в том смысле, что я, когда вспоминаю ее, уже не могу говорить нормальным языком, а другого я не знаю - вот вам и кажется, что я ухожу от ответа. Вы спрашиваете меня, существует ли она на самом деле, а я, услышав ее имя, уже не знаю, существую ли я сам, существуете ли вы, вы меня понимаете?

- Да, - сказал старик, - теперь я понимаю.

Проснувшись ночью и, ступив за порог, я увяз в грязи. Ливень превратил стройку в сплошную трясику. Я вышел за ворота, просто чтобы почувствовать под ногами твердую почву. Шел дождь, я стоял на террасе и смотрел в зеркало, висевшее на стене дома. Потом зачем-то спустился сквозь дом по лестнице, пошел по дороге Стелла Марис мимо стены монастыря Кармелитов. Я остановился на смотровой площадке перед памятником Деве Марии, подошел ближе и стал читать вслух выбитые на камне латинские слова. За Марией мне померещилось мелькание крыльев. Присмотревшись, я увидел, что это - не ангелы, а локаторы, торчащие из-за забора военной базы. Они вращались, казалось, это дождь приводит их в движение. Я подошел к стоящей у края площадки подзорной трубе на штативе, нащупал в кармане металлический шекель, бросил в щелочку и припал к окуляру. Секунду там было совсем темно, но потом что-то щелкнуло, черный кружок отодвинулся, появилось блеклое мерцание - отражение огней города в море. Я повернул трубу и увидел сами огни,

пустые улицы, штриховку дождя, труба двигалась плавно, я как бы летал над городом, прослеживая характерные прежним прогулкам маршруты.

Если уходил последний автобус, я поднимался из нижнего города в верхний по наклонному лабиринту лестниц и улиц, до сих пор еще сложному для меня, я часто сбиваюсь, попадаю на лестницу, кончающуюся тупиком, лаем собаки, возвращаюсь, пробую другую. А теперь я перевел видоискатель по прямой, без всяких зигзагов и почти сразу увидел в нем закрытые ворота стройки. Возле ворот стояла женская фигурка. Раздался щелчок и в глазке почернело. Я бросил еще один шекель, нашел ворота, но возле них уже никого не было. Я судорожно сжимал ручки, которыми вращают трубу на штативе. Как будто пытался повернуть ее по другой оси - как вращают калейдоскоп. Чтобы сложить фигурку из комбинации теней. Потом оторвался и пошел назад, чувствуя, что свернул-таки трубу. Я видел теперь не дорогу, а двери квартиры, в которой жила Марина. Был год, когда я подходил к этой двери каждый день. Глазок часто темнел после моего звонка. И сразу светлел. Я говорил себе: "Все, это был последний раз". Но, выйдя на улицу, я каждый раз убеждал себя, что это была не Марина, а, например, переменная облачность, ведь дверь недалеко от окна. Бредя по дороге, я думал, что на самом деле никогда нельзя было с уверенностью отличить Марину от атмосферных явлений и что ничего не остается, как согласиться с тем, что эти облака, этот дождь и есть - Марина. Я зашел на стройку, упал в пластиковое кресло, запрокинул голову и смотрел на звезды, появлявшиеся между тучами.

Утром, открывая ворота, я увидел, что асфальт совершенно сухой. Спустившись на террасу, я положил на стол кекс, который купил накануне для утреннего чая и стал ждать мистера Бергера, глядя на птиц, которые летели из нижнего города в верхний. Они не остановились на уровне Кармеля, полетели выше и превратились в черные точки. Бергера не было, и я не стал есть кекс всухомятку, а поехал в нижнюю Хайфу пить кофе. Не было старика и на следующий день. Я стал подумывать о том, не нанести ли ему визит, но, во-первых, он не звал меня в гости, во-вторых, я даже не знал номера его квартиры. Кроме того, хотя мне был по душе этот разумный старикан, мне не нравилось, что его интерес ко мне - скорее всего профессиональный. Мне не хотелось становиться средством от скуки отставного психиатра. Тем не менее, через день, наплевав на условности, я расспросил жильцов проходного дома, узнал, где его квартира, и позвонил в его дверь. Никто не открывал. Я стоял, наблюдая за игрой света и тени в

глазке и, слыша усиливающийся стук собственного сердца, думал, что надо все-таки рассказать ему, как Марина строит мне глазки. Глазки. Никто не открывал, и я хотел было уйти, но на всякий случай нажал на ручку. Дверь подалась, и я вошел в квартиру. Я нашел его тело в большом черном кресле. В подлокотнике была кнопка, на которую я случайно нажал, когда другой рукой пытался найти его пульс. Спинка кресла плавно опустилась, а из-под ног поднялся дополнительный валик, и тело приняло горизонтальное положение. Очевидно, механизм был предназначен для плавного перехода из яви в сон. В подлокотнике была ямка, в которой лежал пульт дистанционного управления. Телевизор беззвучно работал, а за окном тархтел бульдозер. В комнате было слышно не хуже, чем в моей сторожке. Я подумал, что это бульдозеры выгнали старика на террасу, но он ненадолго задержался и там, и пошел еще дальше. И где он теперь? Я подошел к столу и позвонил по телефону. Меня попросили побыть в квартире, пока не приедет машина.

Он ухитрился передать мне томик Элиота и чек. Вручила мне их его племянница, строгая и неприветливая женщина, я сначала не понял, что она сказала про чек и переспросил. Она повторила, что это - моя зарплата за полгода обучения старика русскому языку. Я посмотрел на нее с изумлением, и она что-то заподозрила. Уходя, пробурчала, что ей кажется очень странным, что сумма в точности равна гонорару от последнего психа. Я спросил ее: "Разве он продолжал практику?", но она, не ответив и не попрощавшись, вышла за ворота стройки. Я решил, что старик придумал уроки русского, потому что иначе племянница не отдала бы мне деньги.

В книгу была заложена его записка следующего содержания: "Дорогой Максим, сегодня я проснулся, как всегда, в полшестого утра от звука, похожего на легкий, как бы непреднамеренный удар в колокол. Я уже давно понял, что звук получается от того, что, когда ты открываешь ворота, цепь бьется о железные прутья. Иногда ты ее удерживаешь, и тогда я просыпаюсь сразу от рева строительных машин. Прошу тебя, не удерживай эту твою цепь. Мне приятно думать, что ты выполнишь мою просьбу, даже если будешь немного ревновать ко мне Марину".

Прочитав записку, я подумал, что старик избрал довольно странный способ моего лечения, но утром, открывая ворота, сделал все так, как он просил. А вечером, когда я закрывал их, цепь сама вырвалась из рук, так же, как это бывало раньше. Но на этот раз я проснулся.

Что-то еще я хотел тебе сказать и забыл. Пишу в автобусе, который трогается с места и берет направление на Тель-Авив. Рядом со мной сидит хасид. Только что он снял шляпу. Под ней оказалась еще одна. Автобус едет очень быстро и кажется, что закончить сейчас письмо - все равно что выпрыгнуть на ходу. Раз. Два. Три. Не так просто. Я хотел спросить у соседа, что он пишет в конце письма. Повернулся к нему и увидел, что он держит перед глазами маленький молитвенник. Потом он его закрыл, положил в карман, а из другого кармана извлек тонкую бумажную полоску и стал с закрытыми глазами завязывать на ней узелки. Пока я писал эти строчки, а потом вспоминал, что еще хотел тебе сказать, он успел завязать по меньшей мере пять узелков.

Вышли в свет новые книги

ВАЛЕНТИНА КРАСНОГОРОВА

„ЧЕТЫРЕ СТЕНЫ И ОДНА СТРАСТЬ

или

Драма - что же это такое?“



„ПРЕЛЕСТИ ИЗМЕНЫ“

(сборник пьес)

Валентин Красногоров известен как драматург, прозаик и публицист.

«Четыре стены и одна страсть» – размышление писателя о сущности драмы.

Книга написана живо, увлекательно и высоко оценена многими известными деятелями литературы и театра.

В сборнике «Прелести измены» представлены пьесы, сыгранные в лучших театрах России: БДТ им. Товстоногова. Малом драматическом театре в Петербурге под руководством Льва Додина, Академическом театре им. Пушкина (Александринке) и др. Трагедия «Собака» поставлена также в США. Сюжет этих пьес вечен и прост – встречаются мужчина и женщина...

Цена каждой книги в Израиле – 18 шек.,

в других странах – 8 долларов США (не считая пересылки).

Желающие приобрести книги могут обратиться к автору:

11/20 Ha-Prahim St., Haifa 34733

тел.: 972-4-829-3461, 972-4-824-7538; факс: 972-4-867-9365

E-mail: merghvf@tx.technion.ac.il

ТО, ЧТО ДОКТОР ПРОПИСАЛ

ЛЕТАЙТЕ САМОЛЕТАМИ

- Радость моя, - сказала Мира, - мне пора ехать домой, родители, наверно, с ума сходят.

- Конечно, - сказал Рыжий.

Он попытался понять, почему его так тянуло к ней, еще недавно - во время летних каникул.

Отчуждение ощущалось вполне. Внутренне он находился уже не здесь, хотя еще не в далеком городе, куда нужно было добираться через столицу, сначала самолетом, потом поездом.

- Позвони мне как только доедешь, - попросила Мира.

Переступая через тюки, чемоданы и спящих людей, они вышли из здания аэропорта. Остановили такси.

“Словно вырвалась на свободу, - подумал Рыжий, вытирая с губ остаток Мириной помады. - Духота, запах пота - не ее стиль. Одна блузка на ней дороже всех моих тряпок”.

Он разговорился со старичком, провожавшим длинноногую, желтоволосую девчонку, которая сидела на полу, облокотившись на неподъемный с виду рюкзак.

- Не могу ждать, - жаловался старичок. - Как я доберусь, если не успею на автобус?

- Поезжайте, - сказал Рыжий, - я ей помогу.

- Танечка, - позвал старичок, - молодой человек за тобой присмотрит.

- Не надо за мной смотреть, уезжайте и все, - сказала Танечка.

- Племянница. На даче у меня гостила, - шепотом сообщил старичок, - как я с ней намучился.

Рейс опять отложили, теперь - до утра.

- Пойдем в зал для иностранцев, - предложила Таня, - там удобнее.

Рыжему подобная мысль и в голову не приходила,

- Нас не пустят.
- Скажу что-нибудь по-французски, я на инязе учусь.

Никто у них ничего не спросил. Таня вошла нахально, будто так и надо. Рыжий постарался не отставать.

В зале для иностранцев было чисто, свободно и пахло не потом, а мятой и карамелью.

Устроились в мягких креслах.

- Девочка тебя провожала, красивая, как Юдифь, - сказала Таня.
- Да, - согласился Рыжий.
- Твоя девочка?
- Теперь не знаю, меня целый семестр не будет.
- Где ты учишься?
- В медицинском.
- А французский я знаю с детства, - сказала Таня, - бабушка научила.
- Трудно поступить на иняз? - спросил Рыжий.
- Не очень.
- Кто твои родители?
- Папа - большой начальник, проектирует самолеты, но это секрет.

В зал вошла девушка в униформе и предложила пройти на регистрацию пассажирам нескольких отложенных рейсов - то есть улететь вне очереди на единственном сегодня самолете.

- А, если у нас другой рейс, но мы очень спешим? - спросила Таня по-английски.

- Идите, - согласилась девушка.

Регистрация происходила без суеты и давки: чернокожие, арабы, полдюжины болгар, пожилая пара восточноевропейцев...

Кроме одежды, свои от чужих отличались выражением глаз. Но Таня - столичная штучка - взгляд имела нездешний, а Рыжий нацепил темные очки-капли, купленные у моряка дальнего плавания. Что же касается одежды, то, во-первых, город портовый - все от фирмачей, а во-вторых, даже иностранная публика пообмялась и поблекла за долгие часы ожидания.

Очередь продвинулась. Вместе с билетами предъявляли паспорта.

- Вы же наши, - удивилась женщина за стойкой, - вам сюда нельзя.
- Ну, пожалуйста, - потянули хором Таня и Рыжий, - мы в институт опаздываем...

В очереди засуетились - спор приобрел международный характер. Оказалось, что иностранцы вполне понимают по-русски.

- Можно всем, - сказали чернокожие.
- Можно, у них ведь билеты, - сказали арабы.

- А почему нельзя? - заинтересовалась пара пожилых восточноевропейцев.

Болгары промолчали.

- Проходите, - решила, наконец, женщина за стойкой.

Прошли во внутренний зал.

- Ничего себе интерьерчик, - заметил Рыжий, - и бар, как в американском фильме. Жаль, что ночью не работает...

Подъехали к трапу.

- Группу пропустите. Раз, два, три, четыре ... двадцать четыре - все.

Они оказались в самолете.

- Спать пора, спать... - сказала Таня.

Рыжий попытался опустить спинку сидения - ничего не вышло.

- Кончилась граница, - сказал он.

- Ты сядешь в нормальное кресло, а я в поломанное, - распорядилась Таня, - теперь откинь спинку и подлокотник.

Она свернулась, поджав ноги на своем сидении, а голову положила Рыжему на колени.

- Укрой меня кофтой, - попросила Таня.

Рыжий не удержался и поцеловал ее в губы и в закрытые глаза.

- Из аэропорта поедem к моей сестре, - сказала Таня, - это недалеко. Она уйдет на работу, а мы поедим и отдохнем. Успеешь на свой вокзал.

В столице, за поездку на такси "недалеко" Рыжий заплатил треть всех денег, выданных ему родителями на первое время, но посмотрел на Таню и подумал: "Оно того стоит".

А сестра оставить их одних в квартире не решилась и на работу не ушла.

- Пойду я, - сказал Рыжий.

- И я, - сказала Таня.

Дошли до автобусной остановки.

- Будешь в городе, позвони.

ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ДОЧКА

Любка оказалась на чердаке, оборудованном под квартиру, где в двух комнатках со скошенными потолками жили студенты-медики, а остальная - центральная часть служила кухней, прихожей, столовой и гостиной одновременно. Там же, из важного, находилась уборная за фанерной перегородкой.

Семнадцатилетняя Любка могла выпить сколько угодно, не отказываясь от иглы и колес, когда угощали, и спала со всеми, кроме Бенчика.

Сегодня не шумели. Катя-медсестра, приходящая жена Левы, варила макароны. Рядом, на плите, в металлической коробочке кипятился шприц.

- У нас где-то было яйцо, - вспомнил Рыжий. - Кто его съел?

Посмотрели на Бенчика.

- Это он, - догадался Лева, - когда мы уходили сдавать бутылки.

- Да, я сделал себе яичницу, - живот Бенчика колыхнулся между спортивными рейтузами и короткой футболкой. - Я раб своего желудка.

- Нехорошо, - сказал врач-интерн Сеня, хотя ему-то до яйца не было никакого дела, он жил не здесь и питался прилично, - оно же общее.

Бенчик понял, что над ним издеваются.

- Тебе и Любка не дает из-за твоего антиобщественного поведения, - сказал Зорик.

Любка заерзала у него на коленях. Она была в вечернем платье, в котором неделю тому назад не вернулась домой с гулянки.

- Сходила бы белье сменить, родителей успокоить, - предложил Рыжий.

- А пошли они...

- У нас разный социальный статус, - заявил Бенчик. - Она блядь, а я интеллигент во втором поколении.

Любка заплакала и ушла в спальню.

- У нее папа генерал-майор, о каком статусе ты говоришь? - Лева прихватил шприц и пошел за Любкой.

- Она же себе стирает, - сказала Катя, - вон, висит на батарее.

- Я знаю наизусть триста стихотворений Пастернака, - настаивал Бенчик.

- Почитай, - попросила Катя.

Он ломаться не стал:

“Не как люди, не еженедельно,

Не всегда, в столетье раза два

Я молил тебя членораздельно...”

Появился Лева.

- Все, - ответил он на вопрошающие взгляды, - у меня ничего не осталось.

- Бенчик, - позвала Любка, - иди ко мне.

- Иди, - сказал Зорик, - пора с этим кончать, с девственностью твоей, я имею в виду.

- Не пойду, я ей не верю...
- Иди, - сказал врач-интерн, - если что - вылечу.
- Гнали б вы ее, - посоветовал он, глядя вслед Бенчику. - Надоело вас лечить.
- Рыжий ее привел, пусть и уводит, - предложил Лева.
- Не хочу я грубить женщине, с которой живу, - сказал Рыжий, - но иначе она не уйдет.
- А папа-генерал подал в розыск, - сообщила Катя.
Из спальни выскочила Любка.
- Ой, не могу я с этой жирной свиньей... - и засмеялась.
Вышел Бенчик, взлохмаченный, раскрасневшийся...
- Пусть убирается, она здесь не живет.
После ужина Катя забрала коробочку со шприцем и ушла домой. Лева проводил ее и вернулся - Катины родители его и на порог не пускали. А поздно вечером все, кроме Любки, отправились на переговорный пункт. Сеня принес телефонистке шоколадку. Он первым получил разговор и минут через двадцать ушел.
- Мама, - кричал Бенчик в телефонную трубку, - пришли мне другие трусы, мои совсем порвались.
К часу ночи - переговоры.
Возле дома стояла милицейская машина.
- За Любкой приехали, - предположил Рыжий.
- У меня все равно ничего не осталось, - сказал Лева.
- Повезло, - отозвался Зорик.
- Зайдем или нет? - спросил Бенчик. - Не ночевать же на улице в тридцатиградусный мороз...

СУКА АЛЬМА И ЛАВАНДА

Сеня, врач-интерн, будущий специалист по кожно-венерическим заболеваниям, снимал шестиметровую комнату в старом деревянном доме.

Раньше он проживал по соседству, на чердаке разгороженном фанерой на несколько комнатушек, с компанией приятелей-студентов.

Студенту Сене это подходило, врачу-интерну - не годилось. Совместное недоедание, недосыпание, попойки не вязались с напряженным рабочим днем и периодическими ночными дежурствами.

Домом владела моложавая разведенка, у нее были две дочки-погодки четырех и пяти лет, старая мать, всегда сидящая на табурете возле газовой плиты, и почти английский дог - сука по имени Альма.

Несколько лет тому назад разведенка выгнала мужа за пьянство и тогда же взяла щенка - дом охранять.

Со временем обида на вообще мужчин притупилась, и она решила: "Пусть будет жилец - тем более доктор".

Комнатка оказалась теплой и светлой. В ней помещались кровать, книжная этажерка, небольшой стол и старое, с большим зеркалом, трюмо. В качестве шкафа Сеня привык использовать свои чемоданы.

Единственным недостатком было то, что на притолоке, вместо двери, висела занавеска.

В первое же воскресенье Сеня решил постирать. Он наполнил ведра из колонки, которая находилась на улице, согрел воду на плите и одолжил у хозяйки небольшое корыто. Не прошло и часа, как первая рубаха была выстирана.

- Ладно, - сказала хозяйка, - если наносишь воды, я и твое постираю. Чуть больше белья, чуть меньше - какая разница.

Вечером Сеня лег пораньше, чтобы полистать в кровати медицинский атлас дореволюционного издания, доставшийся ему по случаю и недорого.

В комнату вошла разведенка-хозяйка. Поскольку не было двери, то и стучаться было незачем.

- Что-то ты рано лег, - констатировала она факт и присела на край кровати.

На ней была байковая ночная рубашка до пят с застегнутым под самое горло на мелкие пуговички воротником. Несмотря на рубашку, она казалась вполне голой. Байка напряглась на больших и явно твердых сосках, обтянула бедро... Кровать под весом ее заскрипела, женщина была ничего себе - из крупных.

- Что там у тебя? - она взяла в руки атлас, - бабы голые и мужики... Он объяснил.

- Мне утром на смену, - сказал он.

- Всем на смену, - сказала разведенка.

- Ко мне невеста приедет через неделю, дня на три. Ты не против? - спросил Сеня.

- Пускай, - согласилась хозяйка и махнула рукой, - какая разница...

Ночью Сеня проснулся - кто-то шумно дышал ему в ухо, а по щеке будто елозили мокрой тряпкой. В сантиметрах от своего лица он увидел два налитых кровью глаза.

- Пошла вон, - сказал Сеня.

Сука Альма тяжело вздохнула и отступила.

Сеня дотянулся до трюмо и взял первое, что попало в руку, - большой флакон с одеколоном "Лаванда" для бритья.

Собака отступила еще немного.

Сеня пшикнул в нее из пульверизатора.

Альма выскочила вон.

Утром он проснулся от невыносимого запаха лаванды. Возле трюмо стояли хозяйские девочки, старшая поливала младшую Сениным одеколоном.

- Я парикмахер, - сообщила она.

В комнату вошла бабушка, а за ней - хозяйка.

- Мама, ты опять заблудилась. Девочки, а вы что здесь делаете?

- Нельзя ли как-нибудь дверь установить? - спросил Сеня.

- А где ее взять?

В тот же день, после работы, Сеня зашел на стройплощадку.

- Продайте дверь, мужики.

- Новых нету, но можно снять с вагончика.

- Сколько?

- Трояк, вместе с замком.

- И с ключом, - сказал Сеня.

С ПОЗИЦИИ СЮРРЕАЛИЗМА

Лектор-любитель, пытаясь объять недозволенное, вяло критиковал Сальвадора Дали. Он демонстрировал дилетантские слайды и альбом, бережно обернутый в целлофан.

Молодые интеллектуалы, не оценив просветительской миссии, свистели, что-то выкрикивали и топали ногами.

Двухметровый детина лет восемнадцати-двадцати (косая сажень, кровь с молоком и так далее) с места произнес речь в защиту сюрреализма вообще и Дали в частности - говорил о бесконтрольном воспроизведении подсознания, о сочетании реальных и нереальных предметов, о виртуозной технике...

- Кто это? - спросил Бенчик, очарованно глядя на великана.

- Мясник с рынка, - ответил Сеня.

- Этот гад украл наш магнитофон, - сообщил Бенчик.

Вчера вечером, вернувшись домой на чердак (переоборудованный в подобие квартиры), который он снимал вместе с несколькими однокурсниками, Бенчик нашел его незапертым. А минут за пять до этого он встретил на улице вышеуказанного мясника-искусствоведа,

тащившего под мышкой магнитофон, очень похожий на тот, что должен был бы стоять, но уже не стоял на деревянном табурете.

- Я могу с ним объясниться, - сказал Сеня, бывший чемпион небольшой области по дзюдо среди юниоров, а теперь врач-интерн - без пяти минут специалист по кожно-венерическим заболеваниям, - но эта горилла дружит с Рыжим - пусть сами разбираются.

Спор о сюрреализме достиг температуры кипения и начал испаряться. Вышли на улицу.

- Здесь минус двенадцать, - объявил Бенчик, - а у нас еще лето. Я до ноября в море купался.

- Ты-то не мерзнешь, с такой жировой прослойкой, - сказал Сеня.

Рыжий пил воду из-под крана, не отрываясь, большими глотками. Зорик сидел за столом, обложенный тетрадами и атласами, и вид имел несчастный.

- Катя ширь принесла, а у меня курсовой, - пожаловался он.

- Брось учиться, - посоветовал Сеня, - чтобы найти вену, не обязательно быть врачом.

В одной из комнатшек шумно возились Катя и Лева. Их совместная жизнь заканчивалась вечером, после чего Катя возвращалась к родителям, которые Леву не признавали, несмотря на официальное свидетельство о браке, выданное молодой семье районным загсом.

- Он - не мясник, а ученик мясника, - зачем-то объяснил Рыжий, выслушав доклад Бенчика об очередном заседании молодежного интеллектуального клуба. - Я из него магнитофон с потрохами выбью.

Через день Рыжий вернулся с магнитофоном.

- Он говорит, что просто взял послушать. Пришел ко мне, а я спал, и дверь была не заперта. Вы же сами не велели закрываться, когда я сплю.

- Тебя не добудишься, - подтвердил Лева.

Рыжий сунул руку за пазуху и достал бутылку вермута.

- Кстати, магнитофон не работает, а это я взял в качестве компенсации.

- Ты бы лучше кусок мяса принес, - сказал Бенчик, - или, в самом деле, каких-нибудь порошков.

ПРАЗДНИК ВИТАМИНОВ

На столе лежали: огурец-переросток, десяток средней величины помидоров, пучок укропа, два пучка крупной редиски и связка молодого лука. Кроме того, в полулитровой банке белела неровной поверхностью деревенская сметана, купленная хотя не на рынке, но в

кооперативном магазине под названием “Дары природы” - дар, который обошелся недешево.

- Сметану можно было не брать, - заявил Рыжий, - я предпочитаю с маслом.

- Хозяин-барин, - объяснил Сеня, - а хозяин здесь я.

Сеня, совершенно один, снимал шестиметровую комнату в частном деревянном доме. Рыжий, он же студент мединститута, посетил своего земляка и приятеля солнечным весенним утром в воскресенье.

- Жрать хочется, - сообщил он с порога.

Врач-интерн Сеня еще вчера получил зарплату в кожно-венерическом диспансере, но потратиться по-человечески не успел, так как сразу же вышел “в ночь” - на дежурство.

- Весной нужно есть витамины, - сказал он, - но в это время года их можно достать только на рынке.

На всякий случай заглянули в овощной магазин, где увидели чудо: на прилавке лежали свежие огурцы.

- Парниковые, - разочаровался было Рыжий, - но пахнут...

Каждый огурец был размером с хорошую скалку.

- Возьми для своей малолетки, - предложил Сеня, - пусть попользуется.

- Пусть пользуется тем, что есть, - сказал Рыжий.

Купили самый большой.

Зашли в “Дары природы”.

- Нам бы сметану, - попросил Сеня, - густую, чтоб ложка стояла.

- От этой все что угодно встанет, - пообещала продавщица, - подфартило вам, мальчишки.

Показали продавщице эротический огурец.

Конской колбасы и косульего мяса решили не брать. Следующим и последним был рынок.

- Тут прилавков больше, чем продавцов, - сказал Сеня.

Пошли вдоль рядов, ориентируясь на самую большую кепку. Где-то там должны были находиться помидоры...

- Как ты теперь доживешь до аванса? - спросил Рыжий.

- Не хлебом *едимым*... - отвечал врач-интерн.

Овощи Сеня мыл и нарезал сам. Рыжему доверилось принести тазик с хозяйской кухни.

- Перчику не забудь, - говорил Рыжий.

Как всегда, подготовка к процессу еды, оказалась интереснее и острее самого процесса. Ели ложками. Объелись за несколько минут, не проглотив и половины. Потом сидели отстранено, думали - каждый о своем.

Кто-то давно уже скребся и поскуливал за дверь, запертой предусмотрительно на ключ изнутри. Открыли. В комнату ввалился средне-го роста толстяк.

- Здравствуй, Бенчик, - сказал Сеня.

- Что это у вас? - простонал Бенчик, инстинктивно хватаясь за ложку.

БОНЖУР, АФРОДИТА!

Из-за нелетной погоды он опоздал на неделю.

- Группа в колхозе, а ты поработаешь в общежитии, пока иностранных студенты не съехались, - распорядились в деканате.

- А нельзя ли там место получить, - закинул Бенчик, - а то я уж который год квартиру снимаю?

- Не мы решаем, кого можно поселять с иностранцами, а кого нельзя, - ответили в деканате.

Ему пришлось обосноваться в столетнем деревянном доме на чердаке, разгороженном на комнатухи деловитым хозяином.

В общежитии Бенчик разыскал коменданта и получил наряд на работу в библиотеку. Перезрелая девушка (библиотечный стандарт) в немодных очках, рутинного цвета costume и с клубком волос на затылке поручила ему сортировку книг по алфавиту.

В перерыве он пошел в столовую. Очередь состояла из иностранных студентов. Один из них разволновался, глядя на тефтели.

- Положите мне только гарнир, - попросил он по-французски.

Раздатчица не поняла. Бенчик понял и объяснил.

- Тут все свежее, - сказала она, - плохого у нас не бывает.

- Этот парень, наверное, мусульманин, - предположил Бенчик, - ему свинину нельзя.

- Беденький, - посочувствовала раздатчица. - Что же это их присылают, а денег на еду не дают? - и обильно полила мясной подливкой картофельное пюре.

Мусульманин обалдело уставился на тарелку.

После обеда Бенчик вернулся в библиотеку. Среди учебников и пособий он отыскал несколько сборников поэзии "серебряного века" для англоговорящих, изучающих русский язык. К каждому стихотворению прилагался английский перевод. Авторы были такие, что Бенчик сразу бросился в атаку.

- Я хотел бы взять эту книжку, у вас там еще есть.

- Насовсем дать не могу, - сказала библиотекарь, - возьмите, конечно, но верните когда-нибудь.

Она сняла очки и распустила волосы.

“Юная совсем, - удивился Бенчик, - красивая, как Афродита...”

- Я знаю наизусть триста стихотворений Пастернака, - похвалился он.

- Почитаешь мне после работы? - спросила Афродита.

В дверях замельтешил комендант, пропуская кого-то ответственного.

- Вы с ума сошли, - прошипел ответственный, - иностранца заставляете работать.

Загоревший за лето, отравивший длинные кудри и одетый по южной моде в кирпичного цвета штаны, Бенчик, в самом деле, выглядел не по-местному.

- Больше не приходи, - шепнул ему комендант.

- А справка для деканата?

- Я подпишу.

Бенчик проводил Афродиту.

“... Тупик, спускаясь, вел к реке...”

- Холодно, - сказала она. - Зайдешь? Чай? Кофе? Бутерброд с колбасой или с сыром?

“... Ты с ногами сидишь на тахте...”

Бенчик задержался на некоторое время.

“... Спи, царица Спарты,

Рано еще, сыро еще...”

МЕЗАЛЪЯНС

- Что же им во мне не нравится?

- То, что мне в тебе нравится.

- Например?

- Например, нос.

- Чем больше у мужчины нос, тем больше у него...

- Что-то я не замечала.

- Где это ты не замечала?

- Вот дурак, я же все-таки медсестра.

- Нужно снять квартиру, - настаивал Лева. - Зорик все вечера в прихожей сидит, ты ему ширь таскаешь. Нарвешься...

- Не поймают, - отвечала Катя, - я не наглеку.

- У меня денег нет передачи тебе носить,

- А говоришь - квартиру снимем. Выпил бы с моим папашей пару раз в какой-нибудь забегаловке, так ведь ты не пьешь.

- Я не пью? - удивился Лева.
- Ты как-то не так пьешь.
- В самом деле, пьем мы с ним по-разному.
- Что же делать?
- Уговори родителей позволить мне пожить у вас.
- Я их обязательно уговорю, - неуверенно пообещала Катя. - Временно и без прописки. А как только ты закончишь институт и получишь распределение - мы уедем.
- Им объясни, я-то сам все понимаю.
- Наверно, тебе нравится на чердаке, - сказала Катя. - Шлюшки всякие приходят, и генерал-майорская дочь...
- Клянусь, я чист, как Бенчик, - поклялся Лева. - Просто жалко ее, совсем еще девчонка.
- Мне ее тоже жалко, но и себя жалко.
- А Бенчик то хамит, как в трамвае, то стихи ей читает. Кому он нужен, этот Пастернак...
- Узнаю - убью, - предупредила Катя, - умрешь во сне от передозировки.
- Купи ребятам вермута, - попросил Лева, - вечером Сеня придет свою невесту показывать.
- Почему мы должны всех поить? Я не так уж много зарабатываю.
- А почему они должны слушать, как ты стонешь по вечерам за фанерой?
- Тебе не нравятся мои стоны?
- Нравятся, но могла бы и потише.
- Поттише не получается, - сказала Катя.

ЧЕРНО-БЕЛОЕ КИНО

В раннем детстве Зорик любил все фильмы подряд, но со временем понял, что хорошим является только цветное кино.

А сейчас его забирали в армию.

Вообще-то в армию его забирали уже два года, с тех пор, как турнули из института, а заодно - из комсомола, по причине, о которой сам Зорик вспоминать не желал.

В комсомол он вступил снова, на предприятии, где временно работал и постоянно, то есть ежедневно, а иногда и по несколько раз в день, раскладывал на тюках с новой спецодеждой неосвобожденного комсорга - кладовщицу Надю.

- Завтра веду “баранов” в райком комсомола, - сообщила как-то раз Надя, сползая с горы из ватников, - и тебя возьму заодно.

- Мне же скоро двадцать, - засомневался Зорик, - спрашивать начнут: “Где раньше был? Что делал?”

- Все схвачено, - успокоила Надя, - везде свои ребята.

Вскоре комсомолец Зорик восстановился в мединституте за две тысячи километров от родного дома.

Тут и началось: в текстильном городишке ощущался недобор в призывниках - “подметали” всех.

Оказалось, что отсрочка от армии сохраняется лишь за теми, кто перевелся и как бы не прерывал учебы, а он восстановился, то есть учебу прервал.

В первый призыв Зорика не заметили, второй - стоил нервов и денег, а к третьему - пришла в институт папка с его личным делом. В одном из отделов открыли ее, а там справка об отчислении из комсомола. Теперь-то Зорик безоговорочно подлежал призыву.

На занятия он уже не ходил - срочно сдавал “хвосты” за прошлый семестр - где коньяк подсовывал, где на жалость давил: забирают, мол, помогите завершить высшее незаконченное образование. А в свободное время ходил в кино. Смотрел все фильмы подряд - они отвлекали: полтора-два часа хорошей или плохой - главное, другой жизни. Но даже самые цветные фильмы выглядели черно-белыми.

Наступил день призыва. Последнюю неделю Зорик бурно отгулял; заодно, со всеми попрощался и почти примирился с неизбежным.

- С медицинским образованием пристроюсь где-нибудь в санчасти, - храбрился он.

- Армии не знаешь, - предупреждала Любка, дочь генерал-майора авиации, - солдатики все несчастные, а в санчасти ты скурвишься...

Она брала его руку и засовывала к себе под юбку.

- Как ты там без этого?

Письмо пришло через три месяца: “...служу в санчасти, - сообщал Зорик, - к спирту пока еще не подпускают, но конопля растет за окном...”

Больше письма не приходили.

ОДНО ИЗ ДВУХ...

- ...или в психушку, или замуж, - рассказывала Катя. - Уговорили политрука-майора. Вдовец - одну уморил, но специально искали,

чтобы умел гайки закручивать. Он согласился, потому что в Германию без жены нельзя, а главное - тесть генерал.

- Это из анекдота, - вспомнил Лева, - лучшие мужья - майоры: у них еще эрекция, но уже зарплата.

- Расписались и сразу на самолет, - продолжала Катя. - А в Германии им банкет устроили по поводу прибытия и свадьбы. Там уж Любка и отвязалась. Майор, с согласия папаша, быстро оформил бумаги, и теперь она в нашей больнице: уколы, таблетки - все как положено. Я заходила - говорит, что в психушке лучше, чем с офицерьем.

- Сумасшедшая, - сказал Бенчик. - Хорошо, что у меня с ней ничего не было.

- Это у нее с тобой ничего не было, - уточнил Рыжий.

- Скоро женюсь, - сообщил Сеня, он работал врачом в каком-то райцентре, но иногда приезжал к приятелям на выходные. - Она сейчас учится на четвертом курсе - может быть, сумею получить открепление.

- А если не сумеешь, к себе возьмешь? - спросил Лева. - Это же не семья - ты там, а жена за две тысячи километров...

- Кончились декабристы. У нее квартира в центре, мама, папа, университет... Здесь одно из двух: или я, или не я...

- Муж неожиданно возвращается из командировки, - сострил Рыжий.

- Буду у Кати жить, - сообщил Лева, - она с родителями договорилась. Теща сказала: "Пусть живет, но чтоб я его не видела". Стану человеком-невидимкой. Кстати, хозяин велел передать: либо новых жильцов ищите, либо платите за всю квартиру.

- Это не квартира, а чердак, - возмутился Бенчик.

- Обязательно найдем, - сказал Рыжий, - пусть успокоится.

ЭТО СЕРЬЕЗНО

- У меня шесть, - сказал Рыжий. - Нужно минимум двенадцать.

Лева, совершенно случайно зашедший в гости, вздохнул и дал рубль. Бенчик ненадолго скрылся в комнате и вынес трешку.

- Итак, - подбил Рыжий, - четыре на билет, потом автобус, метро... Остальное на представительство. Должен же я хоть раз расплатиться в кафе?

- А назад как же? - спросил Лева.

- Мира организует, - похвалился Рыжий.

- А ночевать?

- У нее, если не застукают. Знаешь, где она живет? В “Интуристе”.

- Столько мороки ради двух дней, - прикинул Бенчик, - причем на содержании у девушки. Не пойму, гусар ты или альфонс?

- Это серьезно, - сказал Рыжий, - уже полтора года.

- С перерывами, - подсказал Лева.

Позавчера Рыжий получил телеграмму: Мира в столице, дальше адрес и телефон. Ехать он не мог, но сразу понял, что поедет, а сегодня, в восемь часов утра уже стоял в телефонной будке возле гостиницы.

Номер не отвечал.

“Спит, наверное, - решил Рыжий, - позвоню через час”.

Было холодно. Он позвонил через час.

Потом еще раз - через полчаса...

В полдень Рыжий полистал телефонную книжку и позвонил одной местной девочке, с которой когда-то познакомился в аэропорту в родном городе. Тогда погода была нелетной, но они совершенно случайно сумели прорваться на единственный улетевший в тот день самолет.

- Таня на занятиях, - ответил женский голос, - будет не раньше семи. А кто ее спрашивает?

Рыжий объяснил.

- ...еще у меня ее кофта осталась. Случайно.

- Кофту я помню, - сказала женщина, - позвоните вечером.

“Ну, девочки, кто раньше?”, - подумал Рыжий.

Никакой кофты у него с собой не было, он даже не помнил, куда ее задевал, но это могло послужить опознавательным знаком для Тани, все-таки больше года прошло.

Часа через два, околавываясь возле входа в гостиницу, Рыжий наконец увидел Миру. Она тащила переполненную сумку.

- Тебе помочь? - спросил он.

- Я ездила в пригород, - объяснила Мира, - там хорошие магазины, многое удалось купить. Ты ешь, а то совсем худой... Собственно, все это можно достать и у нас, но хотелось вырваться, тебя повидать.

Они сидели в гостиничном ресторане.

- А если бы я не приехал? - спросил Рыжий.

- Я бы сама к тебе приехала. Хотя, не знаю... Родители волнуются, каждый вечер звонят...

- Здорово, - сказал Рыжий утром. - Ты, я, “Интурист”...

- А я замуж выхожу, - сказала Мира, - так уж получилось. У тебя учеба, потом интернатура, распределение... Ты появляешься раз в четыре месяца, а я же не могу одна в театр, например, или в кино...

- Не провожай, - сказал Рыжий, - поезд только вечером, а у меня сессия начинается. И, вообще, приличные студенты путешествуют автостопом.

КОНЕЧНАЯ ОСТАНОВКА

Бенчик, Лева и Рыжий - студенты медицинского института, решили навестить своего приятеля Сеню, получившего диплом врача по кожно-венерическим заболеваниям и работающего теперь по распределению в районном центре - километрах в ста двадцати от города.

Собирались долго: дожидались денежного перевода от чьих-либо родителей, праздников, сухой погоды, подходящего настроения...

И вдруг все сошлось.

Бенчик получил стипендию, а из дому - посылку с орехами, шоколадом и консервированной ветчиной иностранного производства.

Рыжий, отработав несколько вечеров и ночей на мясокомбинате, закупил местного "Советского шампанского" - вполне приличного в полусладком варианте.

Леве жена его Катя посоветовала убраться в праздничные дни куда-нибудь из города, а не шататься с утра до вечера по квартире, нервирова и без того нервных Катиных родителей, на что выделила несколько рублей, полулитровую бутылку лечебной настойки и трехлитровую бутылку маринованных огурцов.

Деньги и, главное, продукты временно заперли в чемодане, чтобы не провоцировать Бенчика.

- Лучший способ похудения - полное отсутствие жратвы, - сказал Рыжий, отъевшийся на мясокомбинате.

Бенчик протестовал до самого отъезда:

- Консервы испортятся, конфеты засохнут...

Бенчик протестовал в электричке:

- Не знаю, как вы, а я сегодня почти не завтракал.

Но в электричке выпили настойку и закусили бутербродами с жареной колбасой, выданными на дорогу прозорливой Катей.

Напиток оказался шестидесятиградусным, поэтому три часа в поезде пролетели как один.

Потом ехали автобусом. Спали урывками - сильно трясло. Проснулись на конечной от того, что трясти перестало. Рыжего, перетрудившегося на мясокомбинате, пришлось расталкивать.

Конечная остановка - нужный районный центр - широкая, кое-как

заасфальтированная площадь. Справа - двухэтажное здание, на первом этаже все закрыто, на втором - столовая-ресторан. Напротив - тоже двухэтажное здание с обязательным бетонным бюстом у входа, один этаж каменный, другой деревянный. Остальное - по периметру - избы с вывесками: "Хлеб", "Почтамт", "Продукты", "Книги", "Галантерея"...

Отыскали больницу - два домика и несколько длинных барачков, окруженных забором.

- Доктор тут живет, вон его машина, - показал старичок, встреченный у ворот.

Обошли "пятерку" цвета "коррида", поднялись на крыльцо, постучали.

- Открыто, - услышали, наконец, Сенин голос.

- Тратить не на что и негде, а я еще гинеколог на полставки, и на четверть ставки глазной, - говорил Сеня. - Тут их "четверка" интересует - деревенский вездеход, или "Нива", а выделили "пятерку", на ней по этим дорогам не раскатаешься. Теперь вернусь домой на "Жигулях". Родители, конечно, помогли...

В двадцатиметровой комнате, кроме металлической кровати, табурета и большого деревянного стола, мебели не было. Были Сенины чемоданы, один открытый - вместо шкафа, другой - со времени приезда он и не открывал. Три года нужно отработать по распределению, и год уже прошел. Выяснилось, что нет хлеба, и еще чего-то не доставало. Пошли в магазин.

- Хлеб только для здешних, - сказала продавщица и тут же смутилась, даже испугалась. - Ой! Извините, доктор, я вас не узнала.

- Я чаще в больнице ем - сюда не хожу, - объяснил Сеня испуг продавщицы, - это она ко мне придет еще со своей эрозией...

- Но почему же хлеб только местным, - спросил Бенчик, - а если я проездом и проголодался?

- Ездят тут всякие, скупают хлеб свиной кормить, извини за каламбур, - ответил Сеня.

- Но если я хочу кушать? - недоумевал Бенчик.

- Иди в ресторан.

В ресторане купили пива и водки. Бюфетчица хотела обслужить доктора без очереди, и присутствующие не возражали, но Сеня отказался.

- Сейчас они трезвые, а вообще-то, лучше не связываться, - объяснил он позднее.

Пили, ели, говорили:

- Мы тут, сельская интеллигенция, на охоту ездим: я с главврачом, милиционер, пожарник..., то на "скорой", то на "воронке", то на

пожарной... - рассказывал Сеня. - А вообще-то я всегда дежурю или подменяю кого-нибудь. У них семьи, огороды - а мне отгулы нужны. Два раза домой ездил. Может быть, через год получу открепление, главное - связи...

- Родичи у нее совсем взбесились, - жаловался Лева, - я там ничего не ем и даже на кухне не показываюсь, занимаюсь в библиотеке, поздно прихожу. Катя открывает - я к ней в комнату, а утром выхожу, когда их уже нет...

Бенчик цитировал:

*“Я живу с твоей карточкой, с той, что хохочет,
У которой суставы в запястьях хрустят,
Той, что пальцы ломает и бросить не хочет,
У которой гостят и гостят и грустят...”*

- Это я - поэт, - говорил Рыжий, - мною сочинено шесть тысяч четверста восемьдесят семь стихотворных строк. Хватило бы на два тома, но второй нужно сжечь. Господи, помоги издать два тома моих стихов. Если позвонят из Нобелевского комитета - я в сортире.

- Не позвонят.

- Почему?

- Здесь нет телефона.

- А как же ты звонишь домой?

- С почтамта.

Отправились звонить домой.

- Люсьенка, это для нашего доктора, - упрашивала трубку телефонистка.

- Нет связи, - отвечала трубка.

- Ну постарайся, для доктора и для меня...

Переговорили.

- Я каждую ночь жене звоню, - сказал Сеня.

- Понятно, - понял Лева.

И Рыжий понял, и Бенчик тоже...

Утром Сеня повез их на станцию.

- Ездить некогда и некуда, - жаловался он. - Скоро жена будет рожать, тогда и поеду, заодно машину обкатаю. Две тысячи километров - то, что доктор прописал.

1999

НЕХАМА

Днем дул хамсин, ветер из пустыни, и нес с собой желтый песок.

Вся комната была засыпана желтым песком; он лежал на полураскрытой постели, у самого окна, на красном ковре в глубине комнаты, и на полках с книгами у противоположной стены. Было жарко, как в печке. Я была больна и не могла спать. Моя комната была ярко освещена, но в соседней комнате был потушен свет и там спал мой сороклетный сын Боря.

Комната моей матери, Нехамы, была пуста: Нехаму увела по моей слезной просьбе ее старшая дочь Люся. Нехама была истеричка и устраивала мне три истерики в день. После каждой такой истерики у меня тряслись руки и ноги. Свои истерики Нехама сопровождала сентенциями.

- Не ешь салат, это трава.

- Мыться - вредно для здоровья.

- Я не люблю, когда ты выходишь из дома по своим делам.

В отчаянии я помолилась Богу: "Бог! Бог! Приди, спаси и защити меня! И прости мне мои грехи!"

Внезапно Бог сказал мне: "Прими сначала холодную ванну, а потом горячую".

Я подскочила от удивления: со мной говорил сам Бог! Бог продолжал: "Я говорю с тобой по долгу службы: ты уже одной ногой на том свете!" Холодная ванна была приятна в такую жару, а от озноба спасала горячая ванна. Мне стало легче.

Бог сказал мне: "Ты должна не спать ночью, чтобы твой головной мозг помогал твоему спинному мозгу лечить тебя".

Я спросила: "Сколько я должна не спать?" Бог ответил: "Пока не будешь здорова". Я тяжело вздохнула.

Бог сказал: "Нехама - убийца. Она убила свою первую дочь, Машеньку, одного года".

Я сказала: “Мне сообщила об убийстве Машеньки Люся, в одиннадцатый лет, в Москве. Нехама, которая сидела, встала и выскочила из комнаты”.

Бог сказал: “Ты выжила потому, что у тебя до двух лет была хорошая няня, которая одевала и раздевала тебя, купала тебя и кормила тебя”.

Я сказала: “Она говорила мне, сидевшей в коляске: “Мы наденем передник и поедем кушать”.

Бог сказал: “Ты должна убежать от Нехамы”.

Я спросила: “Значит ли это, что Нехама придет завтра?”

Бог сказал: “Верно. Кстати, ты не дочь Нехамы. Ты - краденый ребенок. Тебя украли вместе с коляской у родной матери из Италии. Ты не похожа ни на Нехаму, ни на отца. И коляска твоя заграничной работы, таких в России не делают”.

Я сказала: “Я - краденый ребенок! Почему же ты допустил такую кражу?”

Бог ответил: “Ты должна бежать вместе с Борей”.

Бог, видимо, знал о наших визитах к психиатру, куда Борю отправила учительница в классе Бори. Психиатр был ее родственником. Они оба считали, что Боря должен, как все, сделать себе обрезание. Я должна была, по их мнению, отдать им сына. “Нам предстоит огромная работа”, - сказал психиатр по-английски, потому что он был родом из Америки. “Он в любую минуту может вызвать санитаров”, - сказал Боря по-русски.

Бог сказал: “Это будет комбинированное бегство, от Нехамы и от психиатра. Мальчику четырнадцать лет, и он сам должен знать, хочет он сделать обрезание или нет”.

Я сказала: “Спасибо”.

У меня были деньги для бегства: я оставила часть своих денег в банке, называя их “мой неприкосновенный запас”, и теперь он стал прикосновенный. Из-за инфляции, царившей в Израиле, эти деньги были положены на долларовый счет и не исчезли, как обычные деньги.

Бог сказал: “Но ты должна быть здорова, чтобы бежать. Прими сейчас же обе ванны”.

Я устроила себе холодную ванну, а потом горячую. Моя душа пела: “Я - не дочь Нехамы! Я - не дочь убийцы!”

Когда я вышла из ванной, Бога уже не было. Разговор с ним прекратился так же внезапно, как и начался. Я была одета в оранжевый с белым халат, сшитый из махрового полотенца.

Боря все еще спал.

Я села на кухне ожидать прихода Нехама. Кухня была устроена так, что она подходила ко входной двери.

Где-то далеко, далеко я услышала шаги. Они были как каменные. Шаги все приближались. Шли двое: Нехама и Люся. Наконец, они вошли в дом.

Вот они на первом этаже, вот они на втором этаже, вот они на третьем этаже, вот они на нашем, последнем, четвертом этаже! Вот они подошли к двери.

Нехама закричала мне: "Открой дверь!" Я закричала в ответ: "Нет!" Нехама во второй раз закричала мне: "Открой немедленно дверь!" Я закричала в ответ: "Нет!" И они ушли.

Как выглядит ангел смерти и куда исчезают надоевшие жены,
убийство премьер-министра при помощи каббалы
и секреты преуспевания бизнеса –

читайте в новой книге

Я К О В А Ш Е Х Т Е Р А

**ШАХМАТНЫЕ ПРОДЕЛКИ
БИСКВИТНЫХ ЗАЙЦЕВ**

«Это – нетривиальная проза...»

– считает Дина Рубина.

«...Богом дарованный талант...»

– пишет Анатолий Алексин.

«...Шехтер возвращает нас к главному, во имя чего вообще существует истинная литература...»

– утверждает Эфраим Баух.

«Он любит и умеет искать свое слово...»

– отмечает Григорий Канович.

230 страниц, 25 шекелей

Заказы по телефонам: 08-9457588, 050-927768

Наум Басовский

ЗАМЕТКИ О СТРАННОМ ЖАНРЕ

*Может быть, за годом год
Следуют, как снег идет
Или как слова в поэме?
Борис Пастернак*

“Однажды, - вспоминал Давид Самойлов, - когда я признался Борису Слуцкому, что пишу поэму, он сказал: поэма - дело нерентабельное: сил уходит много, а будут ли читать - неизвестно”.

Сказано не без основания. Читателей поэзии вообще немного, чтение поэм - в особенности *на любителя*. Тем не менее, если мысленно пройтись по списку громких поэтических фамилий, то значительно легче перечислить поэтов, которые поэм не писали, нежели тех, кто этим *нерентабельным* делом грешил. К примеру, из классиков XIX века не знаю поэм только у Тютчева да Фета; в XX веке “выловил” Мандельштама и Ходасевича; из современников - того же Слуцкого, Кушнера и, кажется, Левитанского... Не претендую, конечно, на библиографическую точность, но могу поручиться, что этот список невелик. Что же это за странный жанр такой, что много пишут, да мало читают?

1.

Выясняется, что непросто даже дать определение, что такое поэма.

Выписываю из “Поэтического словаря” А. Квятковского (М., 1966): “ПОЭМА (от греч. делаю, творю) - большое многочастное стихотворное произведение эпического или лирического характера. Форма П. на протяжении всей истории литературы претерпела значительные изменения и поэтому лишена устойчивости”.

На практике вторая часть этой формулировки явно “забывает” первую. Что такое пушкинский “Граф Нулин” или “Снегопад” Д. Самойлова? Конечно, поэмы, это все знают. Но ведь не многочастные, да и не большие! А “Синие гусары” Н. Асеева или “Колыбельная Трескового Мыса” И. Бродского? Правильно, стихотворения, но большие и многочастные! Что же касается эпичности или лиричности, то века два назад это деление еще имело смысл, сейчас же тут и специалист-литературовед ногу сломит. Получается, что нет достаточно веских формальных признаков для определения поэмы.

Попробуем подойти к вопросу несколько издали. Явно, что поэма, просто по существу, относится к поэзии, а не к прозе. Мне могут возразить, что и эти понятия - поэзия и проза - нуждаются в определениях, а они, дескать, еще труднее. Согласен, но думаю, что фактически каждый читатель отчетливо отличает прозу от поэзии, и никогда не сойдут с толку казусы типа того, что “Мертвые души” или “Москва - Петушки” обозначены их авторами как поэмы, а Тургенев писал стихотворения в прозе.

Однажды я уже имел возможность подробно высказаться по поводу формальных признаков поэтического произведения (см. “22”, №85, 1993). Мое самомнение не настолько высоко, чтобы считать, что все читатели журнала обратили внимание на ту статью и, более того, запомнили ее. Поэтому конспективно напомним, о чем там шла речь. На “поверхности” поэтического текста мы видим *метр, звуки и лексику*. Они исчислимы, поддаются рациональному анализу, могут рассматриваться и вне данного конкретного произведения. На их основе, но также и помимо них, в поэтической речи образуются *ритм, звуковая текстура и семантическая напряженность*. Эти “параметры” сугубо индивидуальны, неисчислимы, непредсказуемы, не поддаются точным методам исследования и вообще возникают только в процессе создания конкретного текста. Именно они, благодаря ассоциативности человеческого мышления и восприятия, порождают ветвление и умножение смыслов, что и является художественной сутью поэзии. Совокупность ритма, звуковой текстуры и семантической напряженности я назвал в той статье *ассоциативным пространством стиха*.

Как же воздействует на нас, читателей поэзии, это самое ассоциативное пространство? Человеческое общение осуществляется с помощью слов языка - но не только: все мы знаем, как важны в разговоре интонация, скорость речи, ее громкость, паузы, даже тембр голоса и связанная с ним возможность звукоподражания, наконец, жесты и мимика. Последние из перечисленных факторов уходят из

общения при телефонном разговоре, но “звуковые параметры” в нем остаются. В письменном же общении они обычно утрачиваются совсем, ибо письменная речь не имеет способов передать их знаками текста, и порой нужно затратить много слов, чтобы хотя бы приблизиться к тому, что в рядовом разговоре выражается просто сменой интонации или протяженной паузой...

Но это - об “обычной”, прозаической речи. Другое дело - речь поэтическая. Именно она, и только она, способна воссоздать акустическую структуру человеческого общения. Когда поэт пишет стихи, он из стихии языка, из десятков, сотен и даже тысяч сочетаний слов, *сознательно или интуитивно* (последнее - чаще), выбирает те сочетания, которые придают речи нечто такое, что *возвышает ее над необязательностью*: они задают ритм текста, создают его акустическую насыщенность и способствуют мгновенному возникновению сложных и разветвленных ассоциаций в сознании читателя. То есть поэт “организует стихию” (может быть, отсюда и слово *стихи*?), а *организация стихии* - вещи, казалось бы, “несовместные”! - в полном согласии с диалектикой дает новое качество: *озарение*, благодаря которому поэтическая речь по эмоциональному и смысловому воздействию тысячекратно превосходит любой другой способ общения.

Давайте рассмотрим с только что высказанных позиций стихотворение И. Бродского из книги “Часть речи”:

*Около океана, при свете свечи; вокруг
поле, заросшее клевером, щавелем и люцерной.
Вечеру у тела, точно у Шивы, рук,
дотянуться желающих до бесценной.
Упадая в траву, сова настигает мышь,
беспричинно поскрипывают стропила.
В деревянном городе крепче спишь,
потому что снится уже только то, что было.
Пахнет свежей рыбой, к стене прилип
профиль стула, тонкая марля вяло
шевелится в окне; и луна поправляет лучом прилив,
как сползающее одеяло.*

Первое, что невероятно впечатляет, - абсолютно естественный ритм обычной человеческой беседы. Необходимые паузы созданы переносами рядом стоящих слов в разные строки, но чтобы все это не рассыпалось, “конструкцию держат” очень точные, порой даже изысканные рифмы (*люцерной - бесценной, прилип - прилив*). Все стихотворение буквально заполнено звучанием. Вслушайтесь - уже в начале: “*Около*

океана“ - семь отчетливо произносимых гласных! - о-о-о-о-е- а-а! - чем не звучание океанского прибоя? Человек как бы голосом воспроизводит свое слуховое впечатление. Дальше: *“Ввечеру у тела, точно у Шивы, рук, дотянуться...”* - у- у-у-у-у! - так и чувствуешь усилие дотягивания... *“Беспричинно поскрипывают стропила“* - и-и-и-ы-и - тонкий скрип стропил, удивительным образом усиливший возникший в сознании писк мыши, пойманной совой в предыдущей строке. Что касается ассоциативных связей между отдаленными предметами, то посмотрите: *“...к стене прилип профиль стула“* - потрясающий образ почти пустой комнаты, где живет одинокий человек. Почему одинокий? Да вспомните эти многочисленные, как у Шивы, руки, желающие *дотянуться* до любимой. Кстати, смысл глагола “прилип” физически закреплен стыком двух “п” в сочетании “прилип профиль”. *“В деревянном городе крепче спишь, потому что...”* - почему же? - казалось бы, ничего не объясняющее *“потому что снится уже только то, что было“* - а нет, очень даже объясняющее: выньте из этой строки “уже” - и пропадут прошлая трагедия и нынешний катарсис (а какая именно трагедия - каждый может взять из своего опыта...) И, наконец, финал - более длинная, чем все остальные, предпоследняя строка - как бы пробегаемое взглядом расстояние от луны до берега, - и укороченная последняя строка, как стоп-кадр в кино на фоне вновь звучащего океанского прибоя: о-е-я-о... Двенадцать строк, рассказавших нам о целой судьбе. Именно то свойство поэзии, о котором Анна Ахматова сказала: *“...возможность звать голосом неизмеримо дальше, чем это делают произносимые слова...”*

Мы видим, что благодаря своей специфической организации поэтический текст в сравнении с прозой обходится значительно меньшим числом слов. Но самое главное, что в поэтическом тексте это будут совсем *другие* слова, нежели в прозе. Высокая степень организованности, на грани изощренности, свойственна в наше время и многим произведениям русской прозы; но в прозе это происходит по иному, и читатель, сознательно или интуитивно, это ощущает. Попробую проиллюстрировать сказанное на примере классики, чтобы тексты были знакомы всем. В “Евгении Онегине” я насчитал (грубо приближенно) 22 тысячи слов. Какое произведение прозы можно хотя бы условно поставить в аналогию с пушкинским романом? Мне показалось, что “Дворянское гнездо” подходит. В нем насчиталось 64 (!) тысячи слов, т. е. почти в три раза больше, и при этом что-то не слышал я, чтобы знаменитый роман Тургенева называли энциклопедией русской жизни...

Поэтому, оставив попытки формального определения, рассмотрим пристальнее, где и как проза и поэзия “стыкуются”. Представим себе такой ряд: лирическое стихотворение - сюжетное стихотворение (например, баллада) - поэма - роман в стихах - прозаическое произведение: рассказ, повесть, роман. Нетрудно увидеть, что при движении по этому ряду слева направо увеличивается роль повествовательности, роль сюжета. И тут в самый раз обратиться к другому определению поэмы, более давнему, но, мне кажется, более точному. Вот как определяет слово *поэма* словарь Даля:

“ПОЭМА - поэтическое повествование, стихотворный рассказ целостного содержания”. Ключевое слово тут - *повествование*, что можно подтвердить и мнением Давида Самойлова: “Конструктивным признаком поэмы я считаю повествование”.

Приведу еще одну цитату, несколько протяженную, но зато удивительно ясно и подробно разъясняющую самую суть того, зачем пишутся произведения художественной литературы, то есть зачем нужна эта самая повествовательность, - из письма Л. Н. Толстого Н. Н. Страховой (1876г.):

“Во всем, почти во всем, что я писал, мною руководила потребность собрания мыслей, сцепленных между собой для выражения себя, но каждая мысль, выраженная словами особо, - теряет свой смысл, страшно понижается, когда берется одна из того сцепления, в котором она находится. Само же сцепление составлено не мыслью, я думаю, а чем-то другим, и выразить основу этого сцепления непосредственно словами никак нельзя: а можно только посредственно - словами, описывая образы, действия, положения. <...> Для критики искусства нужны люди, которые показывали бы бессмыслицу отыскания отдельных мыслей в художественном произведении и постоянно руководили бы читателей в том бесконечном лабиринте сцеплений, в котором и состоит сущность искусства”.

Суждение Толстого замечательно. И все-таки оно не объясняет, как говорил В. Б. Шкловский по поводу Евгения Онегина, “зачем надо было писать роман с определенным чередованием рифм?” То есть пока не ясно, зачем сюжетную вещь писать в стихах. Но мне кажется, ответ - рядом. Возьмите по отдельности все слова, составляющие прекрасное стихотворение, и они вам ничего не скажут. Они *говорят* только тогда, когда стоят в определенном порядке, и говорят не столько своими значениями, сколько ритмическими, звуковыми и смысловыми *сцеплениями* этих значений. Искусство таких сцеплений и есть поэзия.

2.

Вновь обратимся к мнению Давида Самойлова: “Повествование плодотворней всего организовывать в сюжет. Впрочем, это, я думаю, признак необязательный. Но каждый читатель знает, как утомительны бывают бессюжетные повествования”.

На пути от совершенно бессюжетного лирического стихотворения к строго сюжетной поэме и, далее, к роману в стихах можно обратить внимание на два весьма любопытных жанра. Это баллада (в том виде, в каком этот жанр развился и существует преимущественно в английской и русской поэзии) и так называемая маленькая поэма, или, по определению Г. Шенгели, лирическая новелла. В первой, при относительно небольшой протяженности, стержневую функцию выполняет фабула, то есть событийный ряд. В остальном для баллады должны быть справедливы те же способы организации текста, что и для лирического стихотворения, - да и само деление стихотворений на жанры часто бывает весьма условным. В маленькой поэме фабула может и отсутствовать или играть второстепенную роль, но зато протяженность текста значительно превосходит привычные рамки лирического стихотворения, в связи с чем на первый план выходит необходимость ритмической, звуковой и лексической *организации большого стихотворного пространства*. Кажется очевидным, что это должно делаться иначе, нежели просто в стихотворении.

По разумеющимся причинам здесь нет возможности воспроизвести конкретный текст маленькой поэмы и проанализировать его, как это было сделано выше с конкретным стихотворением. Поэтому читателю придется поверить мне на слово или же дать себе труд раздобыть и прочитать рассматриваемые ниже тексты. Я выбрал для подробного анализа маленькие поэмы Александра Ревича, у которого этот жанр, на мой взгляд, достиг совершенства. Все они собраны в сборнике А. Ревича “Поэмы”, изданном в Москве в 1994 году.

Каждый в отдельности текст А. Ревича представляет собой плотный и непрерывный стиховой поток, в котором почти невозможно выделить какие-то строгие разделительные границы. Но обращают на себя внимание два явления: во-первых, в поэмах этих перемежаются и часто неотделимо сливаются куски, написанные белым стихом, и куски рифмованные; во-вторых, событийный ряд в них обычно дается в двух или даже нескольких временных пластах, причем пласты эти тоже так иногда слиты воедино, что автор вынужден выделять курсивом строки, относящиеся к одному из планов. Вот, например, как выглядит отрывок из “Поэмы о ранней осени” - произведения почти бессюжетного, но ведущего читателя в глубины и потаенные закоулки души любящего человека:

...Нет никого. И дождь, как на беду.
А может быть, подальше от соблазна.
Струя из желоба винтообразно
бежит на тротуар. Уже река
бурлит в ущельях улиц, и стремнина
о каменные трется берега.
Так вот что значит: стены карантина?!
Не карантин - ковчега утлый борт,
история - увы! - не первый сорт,
сидеть ли, дрейфовать ли - все едино.
- Я позвонил тебе, чтобы сказать,
что жив, здоров, что я в своем рассудке...

Я позвонил тебе, чтобы сказать,
что не достал на самолет билета...
Я позвонил тебе, чтобы сказать,
что я тебя люблю... Какие шутки?..
Я позвонил тебе...

Не позвонил.

Но жив здоров и не могу приехать.
Нет, я хочу, но не могу приехать.
Да...не лечу...конечно, нет билетов...
Я? Развлекаюсь? Я плыву в ковчеге.
Да, да, в ковчеге. Здесь такой потоп!
Друзья? Нет никого со мною,
здесь только я, да за бортом вода,
густой поток холодного расплава,
здесь только удивительное право
сказать тебе, что я люблю тебя.
Я никогда тебе не говорил
подобных слов? Ты смотришь удивленно?
Но чтоб такое вслух произнести,
должно быть, надо все поставить на кон,
и жизнь, и смерть, и музыку, и смех,
и этот город в ритме острых спицей,
граненых башен, черепичных крыш,
возникший над водою из тумана,
как в детской сказке Ганса-Христиана.

Обратите, пожалуйста, внимание на то, как замечательно рифмованные строки, изредка и *непланово* возникающие среди белого стиха, воссоздают взволнованную, сбивчивую речь одинокого человека, разговаривающего то ли по телефону с любимой женщиной, то ли с самим собой... Как изначально чисто звучат в этом контексте затертые слова *я тебя люблю!* А. Ревич сумел возратить им первозданность, даже таким, давно переставшим звучать от многократного произнесения и написания.

А вот начальный фрагмент “Поэмы о недописанном стихотворении“, в которой почти идиллический рассказ об отдыхе на курорте прерывается известием о смерти матери лирического героя поэмы, и рассказ этот перемежается давним, по-видимому, спором героя с его другом о существовании поэзии:

*В то лето жаркое в конце июля
я жил в Крыму, и девочка моя,
разбуженная солнцем и листвою,
со смехом сбрасывала одеяло
и по нагретой гальке босиком
к парной воде бежала от ступенек,
и перед нею синева сияла,
в ее глазах прозрачных отражалась,
волною подымалась до коленок
и пеной щекотала ей колени,
и дочь моя смеялась и, визжа,
в притворном страхе отбегала прочь.
Мы вместе окунались в эти волны,
и нас широкий обнимал залив,
и зубья скал нас охраняли справа,
а слева мыс, похожий на тритона,
морщинистый, сползающий к воде.*

***Мне говорил мой друг: “По мне бы лучше
одно стихотворенье раз в году,
но так, чтоб это был тот самый случай,
когда уже совсем не вмогучу,
когда слова в гортани, словно пуля
в патроннике“.***

*Так вот, в конце июля
я жил в Крыму. И я совсем забыл
о том, что смертны мы, что жизнь тревожна...*

Здесь разлом времени подчеркнут сменой белого стиха рифмованным, но посмотрите, как тонко происходит возврат из второго временного пласта в первый - с помощью одной-единственной рифмы "пуля - июля", как бы застрявшей в "белом" массиве из предыдущего рифмованного, куда она, рифма, не успела возвратиться. Здесь "заведена пружина особого часового механизма, время судьбы и поэзии по воле автора разъяло скрепы календарной хронологии" (Е. Рейн). Добавлю от себя - троекратное повторение этого приема в поэме явственно "подключает" внимательного читателя к вековой традиции - троекратным повторам русского фольклора.

При всем различии ритмов, звуковой текстуры и луйорцуйотш напряженности каждой отдельно взятой поэмы сходные признаки продуманного построения наблюдаются в "Поэме о единственном дне" и в "Приморской поэме", в "Поэме о городе Дубровнике" и в "Доме на Плющихе"... Более чем достаточно, чтобы утверждать, что имеет место некая закономерность. Мне думается, что во всех этих случаях мы вправе говорить о том, что повествовательность маленькой поэмы потребовала некоторых специальных *формообразующих* усилий.

Напрашивается логичная догадка, что дальнейшее увеличение размера поэтического сочинения, вызванная, скажем, усложнением сюжета, должно сопровождаться усилением авторского внимания к *архитектонике* текста.

3.

У Лидии Корнеевны Чуковской в "Записках об Анне Ахматовой" есть характерный эпизод. Дело происходит в 1956 году. Ахматова читает главы только что появившейся журнальной публикации поэмы А. Твардовского "За далью - даль" и комментирует их так: "Он воображает, будто можно написать поэму обыкновенными кубиками. Да ими 16 строк напишешь, не больше! <...> Греки писали емким гекзаметром, Дант терцинами, где были внутренние рифмы, где все переливалось, как кожа змеи. Пушкин, пускаясь в онегинский путь, создал особую строфу. Все играет внутри, на смену каламбуру приходит афоризм и т. д. А тут - отмахать целую поэму - тысячи километров - кубиками. Какая чепуха!"

Сказано резко, но справедливо. Твардовский безусловно был выдающимся поэтом, однако в данном случае Ахматова права: "За далью - даль" не относится к его высшим достижениям. Кроме некоторых, достаточно редких фрагментов, текст поэмы действительно удручает однообразием, в первую очередь звуковым.

Сама Ахматова, пускаясь в путь “Поэмы без героя”, тоже создала особую строфу, поражающую как своим прихотливым ритмом, так и возможностью почти бесконечной вариативности. Ее читатели не могли не обратить внимания на то, что “каноническая” строфа поэмы состоит из 6 строк с рифмой а-а- с-b-b-с. Но в тексте имеются также строфы, состоящие из 7, 8, 9 и даже 10 строк с рифмой типа а-а-а-а-с-b-b-b-с. Такие сложные системы рифмовки никогда не могут быть случайными. Как пишет В. М. Жирмунский, “эластичность этой композиционной формы, допускающей вариации объема строфы при сохранении ее общей структуры, создает меняющийся от строфы к строфе ритмический фон более быстрого или более медленного поступательного движения стиха и препятствует его однообразию на большом протяжении поэмы”.

Можно сослаться и на авторитет другого ученого-литературоведа. У Д. Д. Благого есть большая работа “Пушкин-зодчий”, из которой узнаем очень интересные подробности того, сколь большое значение придавал гений русской поэзии “выстраиванию” своих произведений крупного формата. Скажем, анализируя построение поэмы “Цыганы”, Благой устанавливает, что “событийным центром” поэмы, как бы ее осью вращения является песня Земфиры. Поэма состоит из одиннадцати фрагментов, песня дана как раз в среднем из них - в шестом; от начала поэмы до песни - 258 строк; после песни до эпилога - 256 строк. Налицо осесимметричное построение текста, весьма напоминающее зрительные образы классической европейской архитектуры.

С другой стороны, “Медный всадник” отличается резко асимметричной композицией: “Вступление” (97 строк) составляет около трети всей поэмы, в то время как заключение, особо не выделенное в тексте (“Остров малый...”), занимает пространство всего в 17 строк. Ученый объясняет этот факт тем, что два героя поэмы, ее антагонисты - царь Петр и Евгений - не могут реально встретиться в жизни, их разделяют сто лет; и Пушкин заменяет царя памятником ему. Но живой Петр в поэме есть - именно поэтому столь протяженно “Вступление”. Более того, развитие темы Евгения в первой части композиционно параллельно развитию темы Петра во вступлении - при полной контрастности этих образов. Параллельность двух существенных тем “Медного всадника” нарушается дважды: в конце первой части, во время наводнения, и в конце второй части, в гениальной сцене погони бронзового кумира за маленьким человечком по ночному Петербургу, эти параллельные пересекаются, внося в архитектуру поэмы фантастический элемент геометрии Лобачевского и создавая почву для истинного взрыва ассоциативной фантазии читателя!..

Итак, архитектура поэмы (как жанра), которую мы наблюдаем “на поверхности” текста в виде структуры его частей, построения строф, системы рифм и т. д., поддается рациональному анализу, а ее общие закономерности могут исследоваться и вне конкретного текста.

Здесь я подхожу к центральному моменту своих размышлений о “странном жанре” - поэме. На основе архитектуры, но также и помимо нее, благодаря тем самым непредсказуемым заранее *сцеплениям*, о которых писал Л. Н. Толстой, происходит *интеграция* ассоциативных пространств отдельных частей, глав, фрагментов поэмы в единое *ассоциативное гиперпространство*. Оно по определению должно быть значительно богаче, многообразнее, шире, протяженнее как во времени, так и (простите за тавтологию) в пространстве, чем ассоциативное пространство лирического стихотворения или, скажем, каждой отдельно взятой части поэмы. При этом если архитектура поэмы может быть более или менее рационально спланирована заранее (как это можно видеть на примере подробных планов пушкинских поэм), то интеграция ассоциативных пространств возникает только в самом акте творчества; ее связь со смыслом произведения не поддается рациональному истолкованию; она, как и ритм, звуковая текстура и семантическая напряженность, абсолютно индивидуальна не только у каждого настоящего поэта, но и в каждой отдельной поэме одного и того же автора.

В самом деле, любой стихотворец, достаточно оснащенный поэтической техникой, может точно воспроизвести и строфу “Онегина”, и строфу “Поэмы без героя”, но ни у кого не повернется язык назвать такую строфу пушкинской или ахматовской. Он способен построить свое сочинение осесимметрично или асимметрично, но сомнительно, чтобы только из-за этого родился шедевр, подобный “Медному всаднику”. Он, этот стихотворец, может вплести в ткань произведения городской романс или частушку, как это сделал А. Блок в поэме “Двенадцать”, однако вряд ли такая акция вызовет у читателей то ощущение огульной новизны, которое было у первого поколения читателей Блока.

Я долго размышлял, на примере какого конкретного текста рассмотреть, как возникают сцепления и как они увязываются с архитектурой, и понял, что попытка проникнуть в “производственную мастерскую” любого известного произведения неизбежно создаст почву не только для догадок, но и для домыслов. Поэтому я надеюсь, что читатель не сочтет нескромным мой окончательный выбор. Я проведу этот анализ на основе текста собственной поэмы “Отец и сын”, напечатан-

ной в журнале "22", №105, 1997. Все-таки собственная "лаборатория" более доступна и понятна - хотя, должен признаться, тоже не до конца...

4.

Замысел поэмы "Отец и сын" возник у меня в конце 1989 года. Я лежал в больнице с обострением астмы; в одну из мучительных бессонных ночей ощущение физического удушья соединилось во мне с представлением о духовном удушьи мыслящего и творческого человека в условиях тоталитарного режима. Отец и сын Тарковские - поэт и кинорежиссер - олицетворяли для меня людей, сумевших выдержать это удушьи, выстоять и не изменить своей человеческой и созидательной сути.

Я задумал поэму как свод нескольких эпизодов, так или иначе связанных с вехами биографий отца и сына, их стихами и фильмами, но решил, что имена и фамилии в тексте фигурировать не будут. Почему? На этот вопрос у меня нет внятного ответа. Возможно, я подсознательно не хотел связывать себя с фактографической точностью подробностей, т.е. оставлял поле для свободной фантазии. Довольно быстро "спланировал" архитектуру поэмы в виде цепочки самостоятельных глав, относящихся попеременно то к Тарковскому-отцу, то к Тарковскому-сыну.

Но с чего начать поэму? Полуинтуитивно я искал некий зрительный образ, который совместил бы в себе мотив обреченности и в то же время мотив ее преодоления (впрочем, сейчас все это формулируется куда определеннее, чем в те дни). В какой-то момент вспомнился тот единственный раз, когда я близко видел Андрея Тарковского и слышал его ответы на вопросы студентов МГУ после просмотра фильма "Иваново детство". Он стоял тогда на самом краешке рампы, и лицо его было траурно охвачено черным обрамлением висящего сзади экрана. У рампы на краю... Не звучат ли эти слова эхом знаменитых пушкинских "у бездны на краю", только без высокого пафоса, характерного для песни Председателя из "Пира во время чумы"? Так была найдена исходная точка, а диалог моего героя с залом подсказал достаточно свободный стих главы, основанный на паузном трехдольнике.

А когда была написана глава "На краю рампы", мне показалось, что и первую главу об отце хорошо бы начать с реального эпизода; но лично с Арсением Тарковским я никогда не встречался. Впрочем, один такой эпизод я представлял себе очень живо. Поэт Анисим Кронгауз, мой учитель, близко знавший Арсения Александровича,

несколько раз с подробностями рассказывал мне о том, как в конце 40-х годов Тарковского и еще нескольких известных переводчиков грузинской поэзии арестовали: к юбилею Сталина был затеян такой весьма своеобразный “конкурс” на лучший перевод юношеских стихов великого вождя и отца народов. Соединившись со строчками Арсения Тарковского “*Ах, восточные переводы, как болит от вас голова!*”, этот эпизод стал основой для главы, которую я так и назвал - “Восточные переводы”. А поскольку в большинстве своих стихотворений поэт придерживался классической традиции, то и свой текст я построил в виде строгих 8-строчных строф, написанных четырехстопным ямбом. (Забегая вперед, скажу, что и в следующей главе был использован тот же ямб, но небольшая вариация конечных слогов в нечетных строках придала ритму этой главы значительно большую подвижность: еще одна иллюстрация к тому, что метр и ритм - не одно и то же.)

А закончилась глава “Восточные переводы” так: “...к чему смотреться в зеркала, которые давно разбиты?” То есть написанный текст сам вывел меня на фильм Андрея Тарковского “Зеркало” - помимо моей воли произошло первое сцепление в тексте рождающейся поэмы.

Здесь я должен сказать о том, что одна из самых впечатляющих для меня сцен в “Зеркале” - эпизод, в котором мальчик Игнат читает вслух фрагмент из письма Пушкина к Чаадаеву по просьбе старой женщины, сидящей в старинном кресле около старинного же столика; на столике - стакан с чаем. В какой-то необъяснимый момент женщина исчезает, как бы растворяется в пространстве, стакан - тоже, и с полированной поверхности столика, медленно испаряясь, уходит влажное пятно... Поразительный поэтический образ недолговечности жизни, иллюзорности личного бытия, которое только и может сохраниться прикосновением к вечному искусству!

И вот, когда я думал об этой сцене, произошло следующее сцепление, давшее поэме протяженное, в две главы, развитие - я вспомнил строчку Арсения Тарковского: “*Живите в доме - и не рухнет дом*”. После этого на одном дыхании написались глава “В зеркале” - о квартире с явными приметамы быта интеллигентной российской семьи начала XX века, горькую судьбу которой нетрудно себе представить: дом рухнул, ибо в нем - не живут. И сразу же представилось, что если бы этому дому было присуще самосознание, он написал бы стихи о себе - как пишет всю жизнь о себе любой настоящий поэт. Так поэма пополнилась главой “Стихи о доме”, в которую я “вмонтировал” подлинную строку Арсения Тарковского “...только этого мало” и свой

парафраз другой замечательной строки поэта - "Я свеча, я сгорел на пиру".

Здесь, наверное, стоит сказать о том, что глава "Стихи о доме", что там ни говори, выглядит попыткой написать стихи как бы "за Арсения Тарковского". Не пытаюсь соревноваться с выдающимся мастером, я все-таки создавал, что эта глава требует повышенной технической виртуозности, что и побудило меня использовать четырехстопный анапест с дополнительной внутренней рифмой соседних строк.

Итак, глава "Стихи о доме" закончилась на строке "я сгорел на ветру, как свеча восковая". Но живой огонь - не один ли из самых ключевых и самых многоликих образов Андрея Тарковского? Сцены с открытым огнем есть у него почти во всех фильмах. Это и факел, которым поджигают кровлю собора, а затем костры на месте отливки колокола в "Андрее Рублеве", и ночной пожар в "Зеркале", и даже горящий человек в сцене самосожжения в "Ностальгии". И, наконец, жертвенный огонь в "Жертвоприношении". Герой последнего фильма Андрея Тарковского - не более сумасшедший, по слову Майи Туровской, чем, скажем, принц Гамлет или Иван Карамазов. Но окружающие люди вправе считать его тронутым. Потому что для них окружающий мир - нормален, в то время как для него мир сошел с ума. Но разве жизнь в тоталитарном государстве - не аномальна для мыслящего и чувствующего человека? Именно отсюда и возникло следующее сцепление поэмы - глава "Жертвоприношение", представляющая собой монолог (в пляшущем хорейном ритме) пациента психбольницы, небеспричинная мания которого - жертвование *Богу Красного Огня*. Смею надеяться, что такая фантазия на тему фильма позволительна.

Но что же делать тому же мыслящему и чувствующему человеку, если он не погиб на Колыме, не запил и не сошел с ума? Один из возможных путей - по контрасту с предыдущими главами - я попытался изобразить в главе "Чтение словаря". Это путь творческой стойкости, стоицизма. Это путь поиска своих корней - в словаре в том числе. И когда мой герой, пройдя через новые слова *сталкер*, *принтер* и *термояд*, возвратился к старым словам *старуха*, *старик* и *икона*, я понял, что на очереди - фильм "Андрей Рублев" и что в поэме *помимо моей воли, но естественным образом* произошло еще одно сцепление - выход на мотив преемственности культурной традиции, который изначально ощущался мной как важнейший в раздумьях об отце и сыне Тарковских. И таким образом возникли следующие главы - "Черная доска" и "Ствол без кроны". Обе они - ямбические, то есть достаточно строгие по ритму.

Но снова в главе об отце я - неосознанно вначале - применил более изысканную систему рифмовки: все-таки мой герой - поэт!

И когда выяснилось, что устойчивость человеческому существованию придают только корни, которые *под землей срослись*, мне осталось написать заключительную главу - "Ностальгия по себе", возвратившую исходный образ человека *на краю рампы*. Я не придумывал ничего заранее, да и невозможно было в начале этого длинного, почти двухмесячного пути представить себе, что реальный образ кинорежиссера, беседующего со студенческой аудиторией, к финалу поэмы превратится в символ любой творческой личности, где бы физически и географически она ни находилась: на краю рампы - на краю бездны. И тем самым последнее сцепление поэмы замкнуло сюжет, соединив главы, достаточно разнородные по форме и по содержанию, в единое ассоциативное гиперпространство.

Конечно, я очень упростил здесь реальный процесс писания поэмы. "За кадром" остались многие моменты и ситуации, опробованные и отставленные, а также многие находки и переклички, происхождение которых непонятно мне самому. Я сознательно заострил свое (и ваше) внимание на том, как рождалась структура поэмы, ее архитектоника. Вернитесь, пожалуйста, к эпиграфу настоящей статьи. Уверен, что Пастернак тонко знал "технологии поэмы", если сумел найти потрясающее сравнение движения времени с падающим снегом и... со словами, появляющимися в поэме. Именно в поэме, а не в стихотворении.

5.

Представляется интересным хотя бы эскизно очертить предельные границы поэтического текста, при которых его ассоциативное гиперпространство еще воспринимается читателем как единое целое. В русской классической поэзии существует такой уникальный феномен: роман в стихах "Евгений Онегин". Уникален он не только потому, что это гениальная пушкинская поэзия в ее высшем проявлении; не только потому, что это первый в русской поэзии роман в стихах; но и потому, что он же... по существу последний. Как сказала некогда Ахматова: "Пушкин нашел особую 14-строчную строфу, особую интонацию. Казалось бы, и строфа, и интонация, так счастливо найденные, должны были укорениться в русской поэзии. А вышел "Евгений Онегин" и вслед за собой опустил шлагбаум".

И в самом деле, даже Б. Пастернак и И. Сельвинский, мне думается, потерпели неудачу в попытках создания романа в стихах ("Спектор-

ский“, “Пушторг“). Об аналогичном опусе Е. Долматовского (“Добровольцы“) и говорить не приходится: этот текст так и не поднялся выше основы для сценария типично советского фильма. В сочинении поэтического текста большого объема после Пушкина только А. Твардовский добился решительного успеха. Но он, обратите внимание, аккуратно определил жанр своего сочинения: “книга про бойца“ - не роман, даже не поэма. Для того чтобы быть романом, “Теркину“ не хватает лирической, любовной линии. Это во-первых. А во-вторых, в нем нет и собственно сюжета, хотя есть повествование: его развитие во времени определяется реальным ходом войны. То есть фактически в “Теркине“ нет серьезной причины для возникновения гиперпространства. Тем не менее и “Василий Теркин“ остается уникальным в русской поэзии произведением, за которым, как и за “Онегиным“, опущен шлагбаум. А больше-то, кажется, и попыток не было. В чем же дело?

Рискну высказать предположение, что для большого поэтического текста существует некоторый “критический объем“, при превышении которого сцепления эпизодов ослабляются вплоть до полного разрыва и происходит распад ассоциативного гиперпространства на его исходные составляющие. Можно сказать и иначе: исходные ассоциативные пространства отдельных частей оказываются в этом случае столь удаленными, что сцепления “провисают“, и гиперпространство попросту не образуется. Сама же величина “критического объема“, конечно, зависит как от занимательности фабулы (не самое, впрочем, главное), так и - в первую очередь! - от чисто поэтического качества произведения. Чем многообразнее ритм, звучнее стих, насыщеннее лексическая напряженность, тем легче поэту удержать в подчинении большой массив поэтического текста. В таком смысле как раз и беспрецедентен “Евгений Онегин“. Это, как замечательно написали в своей “Родной речи“ П.Вайль и А.Генис, “стихи, подобных которым не было, нет и не может быть в русской поэзии - как нельзя достичь скорости света“.

Однако возвратимся к собственно поэме как жанру. Если в лирическом стихотворении иной раз достаточно одной эмоции или впечатления, для поэмы, как правило, требуется серьезная содержательность, значительная, неординарная мысль или значительный, неординарный человеческий характер. Не могу здесь не привести суждение критика Михаила Копелиовича, высказанное в письме к автору этих строк как раз по поводу данной статьи - после прочтения одного из ее черновых вариантов: “В лирическом стихотворении мы имеем дело с остановленным мгновением или, если угодно, запекшимся

мигом Вечности. В поэме же - с главной ипостасью феномена времени, с его *протяженностью*. Стихотворение - дитя *всплеска* души. А поэма - ее, души, *жития*". Другими словами о том же когда-то сказал в беседе со мной поэт Анатолий Преловский (привожу по памяти, то есть не буквально, но за смысл ручаюсь): стихотворение - это как аксиома в геометрии, принимается без доказательств; поэма аналогична теореме, которую нужно доказать.

Читатель, вместе с автором "доказывающий теорему", выходит из этого процесса обогащенным интеллектуально, эстетически и эмоционально. Вот только для того, чтобы услышать, увидеть, ощутить гиперпространство поэмы, нужен читатель с поэтическим слухом, конгениальным авторскому. Отсюда, мне кажется, и недоверие Б. Слуцкого: будут ли читать - неизвестно.

Позвольте еще раз воспользоваться цитатой - из Мандельштама: "...в отличие от грамоты музыкальной, от нотного письма, поэтическое письмо зияет отсутствием множества знаков, значков, указателей, делающих текст понятным и закономерным. Но все эти пропущенные знаки не менее точны, нежели нотные; поэтически грамотный читатель расставляет их от себя, как бы извлекая их из самого текста.

Поэтическая грамотность ни в коем случае не совпадает ни с грамотностью обычной, т. е. умением читать буквы, ни даже с литературной начитанностью. Если литературная неграмотность в России велика, то поэтическая неграмотность чудовищна".

Когда вслед за великим поэтом я заостряю внимание на поэтической неграмотности, это вовсе не означает, что я призываю в каждом поэтическом тексте поверять алгеброй гармонию, как это сделано выше со стихотворением И. Бродского. Во-первых, не каждый текст, даже и выдающегося поэта, такую проверку выдержит. А во-вторых, постоянный анализ, боюсь, убьет поэзию в зародыше. Нужно просто читать стихи, однако читать не только глазами, но и ушами, то есть произносить текст - не обязательно вслух, но обязательно двигать губами и слушать внутри себя, как *звучат* произносимые строки. Такое чтение сродни исполнению музыкального произведения, которое, пока к нему не прикоснулся инструмент или голос, остается россыпью странных значков на бумаге. Если это делать всегда, то постепенно научаешься отсеивать стихи с тусклым звуком, с вялым однообразным ритмом, - стихи, от которых останется только "содержание", - его можно почти всегда передать одной-двумя прозаическими фразами. Это содержание, в особенности если оно политически ориентировано, может привлечь к себе внимание, но поэзия к данному факту отношения не имеет.

Восприятие смысла поэтического произведения через звук открывает перед читателем возможность многочисленных интерпретаций текста, иной раз превосходящих даже авторский замысел, дает читателю ни с чем не сравнимое чувство *сотворчества* с поэтом. В этом состоит одно из самых замечательных свойств поэзии, которое мы ощущаем как *тайну стиха*.

Все это - и о нашем с вами "странном жанре", поэме. Самое существенное отличие этого жанра от любого вида прозаического повествования состоит именно в том, что поэму нужно *слушать - и слышать*. И тогда, если это настоящая поэзия, она отблагодарит вас тем фантастически возвышенным состоянием души, о котором так замечательно написала Ахматова, говоря о "Поэме без героя":

"...этот волшебный напиток, лиясь в сосуд, вдруг густеет и превращается в мою биографию, как бы увиденную кем-то во сне или в ряде зеркал. <...> Иногда я вижу ее всю сквозную, излучающую непонятный свет (похожий на свет белой ночи, когда все светится изнутри), распаиваются неожиданные галереи, ведущие в никуда, звучит второй шаг, эхо, считая себя главным, говорит свое, а не повторяет чужое, тени притворяются теми, кто их отбросил. Все двоятся и троится - вплоть до дна шкатулки".

Нина Воронель

Ведьма и Парашютист

(роман)

Хотите ли вы опять, как в детстве, испытать захватывающее чувство вовлеченности в чужую жизнь? Израильский парашютист, роковая женщина, таинственный злодей, средневековый замок, европейская интеллектуальная элита .. и убийство

464 стр., цветная обложка.

„МОСКВА-ИЕРУСАЛИМ“,
P.O.B. 44050, Tel-Aviv 61440

Цена: 39 изр. шек.
(19 DM для Европы. \$15.5 для США, включая пересылку).

Александр Ревич

ОТВЕТ НАУМУ БАСОВСКОМУ НА ЕГО СТАТЬЮ “ЗАМЕТКИ О СТРАННОМ ЖАНРЕ”

Странным жанром Вы называете жанр поэмы. Да, таким жанром поэма стала в наше время. В XIX веке этот жанр не казался странным. Ваши заметки говорят мне не только о глубоком и своеобразном понимании и толковании жанра поэмы, но и природы поэзии в целом.

Весьма доказателен Ваш анализ особенностей поэтического речевого строя с его звуковой природой в сопоставлении с речью прозы. Да, действительно, звуковая сторона стиха рождает вторую смысловую нагрузку сказанному и создает семантическое усиление, а в лучших случаях - многозначность слова. Такова музыкально звучащая речь.

Вы нашли очень точное и емкое определение - *ассоциативное пространство стиха*. И в самом деле, понятийные значения в стихе становятся многовариантными и несут большую информацию, можно сказать - дополнительную, нежели слова прозы. В игру вступают интонация и невидимый жест, несущие новые смыслы, подчас противоположного значения. Так рождается оксюморон. Сказать: “хорошая собака” и “хорошая собака” - выразить совсем различные чувства и оценки. Потрясающа по многозначности и глубине чувства пушкинская строка: *...Как дай вам Бог любимой быть другим*. Я, кажется, ломлюсь в открытые двери, но эти примеры - первое, что пришло в голову.

В главном я с Вами согласен, однако вынужден заметить, что Вы несколько сузили жанровый объем поэтического искусства, забыв о таких явлениях, как *стихи в прозе* Бодлера, Бертрана, Рембо, Малларме и др. Их русские переводы, даже не самые удачные, все же дают представление о существовании этого жанра. Исчезновение в таких стихах музыкальной структуры и того, что Вы называете звуковой текстурой, не разрушают в них ощущения поэзии. “Стихотворения в прозе” Тургенева представляются мне большой неудачей, к поэзии и

к стихам причислить их трудно. Идя от французов, он не понял тайны во французских стихах в прозе. Очевидно, кроме музыкальной своей природы, поэзия обладает особой образной системой, особым пластическим пространством и отсюда несет особую атмосферу, климат; в прозе выглядело бы нелепым *тихо плавают в тумане хоры стройные светил*. Я не говорю здесь о свободном стихе, который наряду с европейскими поэтами успешно разрабатывали А. Блок и М. Кузмин. Разве можно отнести к прозе строки из кузминского свободного стиха: *...И озеро багряных поражений // Римскую медь воротит... или блоковское: ...я - сочинитель, // Человек, называющий все по имени, // Отнимающий аромат у живого цветка... ?*

То же самое можно сказать об уникальном случае сугубо поэтической речи в так называемой прозе Андрея Белого, развивавшей то, что было заложено в гоголевской прозе. Эта сторона творчества Белого пока еще разработана в литературоведении слабо. Такую прозу и прозой назвать трудно, скорее всего мы имеем дело с новой поэтической системой. *Арабески* и *Симфонии* занимают в ней место лирики, а романы выполняют функцию эпоса. Не зря в них даже ритмически слышится нескончаемый, почти беспаузный трехсложник, по длине дыхания напоминающий гомеровские гекзаметры. Поэтому и синтаксис этой "прозы" кажется неестественным. При чтении этих текстов *вслух* речь становится естественной: и интонации, и словарь. Пример Белого как бы подтверждает Вашу догадку о *звуковой текстуре*.

Однако вернемся к разговору о поэме. Ваши мысли не вызывают у меня почти никаких возражений. В Вашей концепции есть стройность и глубина. Но хотелось бы поделиться с Вами некоторыми соображениями.

Сам термин поэма представляется мне условным. В большинстве европейских языков поэмой называется любое стихотворное сочинение. И все же русское понятие поэмы пришло с запада, а жанр этот возник под влиянием романтической поэзии, в которой поэма играла особенную роль. Большое влияние оказали байроновские поэмы. До появления в Европе реалистической прозы ее функции выполняла романтическая поэма, она могла заменить все прозаические жанры: и роман, и повесть, и новеллу. Приподнятая условная поэтическая речь наиболее соответствовала духу романтизма.

Реализм в прозе постепенно вытеснял явление поэмы. Вспомним строки Лермонтова: *Умчался век эпических поэм // И повести в стихах пришли в упадок*. Главная классическая композиционная триада - завязка, кульминация, развязка, - свойственная повествованию, была свойством и романтической поэмы.

С эпосом, в том числе с гомеровским и дантовским, дело сложнее, здесь большие пространственные и временные охваты и сюжет, как правило, не один. Замкнутых сюжетов нет.

Перевес лирической поэзии во второй половине XIX века и в начале XX я объясняю именно функциональной ненужностью жанра поэмы. Сюжетные задачи решала проза. Этим можно объяснить и то, что Блок не мог закончить "Возмездие", и то, что Пастернак не дал завершеного "Спекторского". Поэма приобретала совсем другой вид и значение. Она становилась ораторией, фантазмагорией, мистерией, а то и попросту нескончаемым стихотворением.

Лучшие поэты умудрялись создать некоторую стройность и цельность произведения. Поэма становилась лирической, исповедальной, часто почти дневниковой. Роль личности рассказчика, так называемого лирического героя, становилась главной. Таковы поэмы Маяковского, Цветаевой, "Поэма без героя" Ахматовой, "Черный человек" Есенина.

"Девятьсот пятый год" и "Лейтенант Шмидт" Пастернака - не поэмы, а попытки эпоса. "Улялаевщина" Сельвинского, возможно, единственный случай законченного эпического произведения, а блоковские "Двенадцать", о которых мною написано отдельное эссе, явление исключительное, выходящее за рамки любого жанра. Это фантазмагория, созданная визионерским, эзотерическим восприятием мира и исторической катастрофы, в чем-то напоминает образную систему "Откровения святого Иоанна".

Поэм в XX веке по-русски писалось много, и можно было бы говорить об удивительных поэмах Хлебникова, о сибирских поэмах Леонида Мартынова, о поэмах Асеева, Кирсанова и о множестве других, но хотелось бы отметить два сочинения, отвечающие, как мне кажется, канонам старого жанра поэмы. Это "Дума про Опанаса" Багрицкого и "Дом у дороги" Твардовского. Обе вещи четко законченные композиционно. "Теркин" - цикл длинных стихотворений, "За далью даль" - нескончаемое аморфное произведение.

Но вернемся к Вашей статье. Говоря о поэме, Вы очень к месту вспомнили пушкинского "Медного всадника". Эта поэма из своего далекого времени бросает свет на возможности современного искусства. Уже в XIX веке Пушкин создал кинематографию. Изобразительными средствами эта поэма действует, как кино. Смена и пересечение времен и пространств - это ведь смена кадров и планов. Поэтому, "Медный всадник" - идеальный образец поэмы. Со временем хотелось бы досконально изложить мои соображения об этом произ-

ведении, о характере его поэтики. Пушкин подсознательно, как и должно гению, вскрыл корневые глубины русского поэтического слова. Он непреднамеренно делал то, чем будет сознательно заниматься Хлебников спустя столетие. К примеру: *Где прежде финский рыболов, // Печальный пасынок природы, // Один у низких берегов // Бросал в неведомые воды // свой ветхий невод...*

Говоря о новых формах и задачах поэмы в XX веке, я забыл заметить, что, несмотря на отсутствие видимого сюжета, поэма и в наше время сохраняла повествовательный характер. Таким образом, в оценке поэмы как повествовательного жанра мы с Вами сходимся.

Благодарю Вас за лестное внимание к моим *маленьким поэмам* и за глубину Вашего анализа. Признаться, о многом, замеченном Вами, я не подозревал. Хотелось бы добавить кое-что о некоторых особенностях этих моих произведений. Мои *маленькие поэмы* содержат все черты большой поэмы. Везде присутствует сюжет и почти всегда фабула, которая возникает при смещении временных планов. Так я оказался последовательнее в жанре, чем мои предшественники XX века. Почти во всех моих поэмах имеется завязка, кульминация, но чаще всего нет развязки. Возможный конец может воображаться читателем или угадываться. Так выходило самопроизвольно и только задним числом становилось осознанным.

Сперва мне казалось, что находка “слоеного” пространства и пересекающихся времен - моя личная заслуга, как результат моего внутреннего восприятия мира, но теперь мне стало ясно, что все это уже было в поэмах Пушкина и, в частности, в “Медном всаднике”.

Вот примерно все, на что у меня хватило сил. Надеюсь, эту тему мы продолжим в наших вечных беседах.

Вышла в свет книга стихотворений и поэм

Наума Басовского

« С В О Б О Д Н Ы Й С Т И Х »

(240 стр.)

Цена в Израиле – 37 шек.,

в других странах – 15 долларов США, включая пересылку.

Обращаться к автору по тел. 03-9500662

Адрес: Nachum Basovsky, Ben Zeev Str. 8/22, 75289 Rishon Le-Zion, Israel.

ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Михаил Сидоров

КРИТИКА НЕЧИСТОГО РАЗУМА

Уже в XIX столетии высокомерное пренебрежение к религии и восторженный трепет перед всемогуществом науки и мощью интеллекта стали признаками хорошего тона. Однако к концу XX века человеческая гордыня подошла изрядно уязвленной. Две мировые войны, революции, коммунистический эксперимент, нацизм, атомные бомбардировки и аварии, угроза экологической катастрофы - все эти чудеса, свершившиеся или еще только маячащие на горизонте, стали возможны не в последнюю очередь "благодаря" достижениям науки и техники (о политиках и народных массах пока умолчим). Прогресс теперь острожно характеризуется как явление амбивалентное.

Что же до религии, то многие века ее важнейшей социальной функцией было освящение морали. Теологи и философы сходились на том, что нравственные законы даны людям свыше, и религия признавалась основой этики. Иммануил Кант, как известно, выдвинул положение о независимости морали от религии. Тем не менее, и он был убежден, что хотя "мораль отнюдь не нуждается в религии", она "неизбежно ведет к религии". Но куда может забрести нравственность, если религия вообще отвергается обществом? Не чересчур ли оптимистичным оказался "надменный ум", уверенно взявший на себя функции как инструмента, так и критерия, и оставшийся единственным ориентиром человека в лабиринте прогресса?

И все же - вполне заслуженно - авторитет науки велик и непререкаем: ведь даже ракетно-ядерное оружие, созданное если и не для истребления, то хотя бы для устрашения потенциального противника, и способное уничтожить человеческую цивилизацию, может в принципе (как уже убедительно показали голливудские фильмы) спасти жизнь на Земле, если нашей планете будет угрожать космическая катастрофа.

Так что отнюдь не по простоте душевной - особенно в переломные, смутные времена - "под науку" подгоняют свои поделки разного рода и масштаба дельцы: одержимые, заблуждающиеся и просто шарлатаны. В итоге, помимо подлинных, нетленных ценностей, за время своего существования человечество поднакопило и приличный багаж пошлостей, также поражающих своей живучестью.

Среди последних слепяще-фальшивым блеском выделяется антисемитизм. Вполне закономерно, что если в Средние века для обоснования ненависти к евреям хватало с лихвой суеверий, облеченных в религиозную форму, то в просвещенную эпоху к этому, по-прежнему "святому" делу стали притягивать и науку (особенно "арийскую", "партийную", а в последнее время - еще и "социалистической ориентации"). Хотя, по правде сказать, в данном случае подлинная наука (то есть безо всякой "ориентации") совершенно ни при чем.

В 1935 г. Карл Раймунд Поппер сформулировал принцип фальсифицируемости, в соответствии с которым теория, не опровергаемая никакими, даже и воображаемыми фактами, - ненаучна. Поппер исходил из того, что псевдопредложения не сопоставимы в принципе ни с подтверждающими, ни с опровергающими их фактами, поэтому они (как, например, фантазии, иллюзии) уживаются с любыми фактами. Нефальсифицируемость антисемитизма, его "подтверждение" какими угодно "фактами" - лишнее свидетельство его мифичности.

Как-то И. Шафаревич, создавая удобный прецедент для генерала от юдофобии А. Макашова, в свою защиту от обвинений в обыкновенном антисемитизме, выдвинул такой аргумент: "...Если объединить всех, кто когда-то критически относился к каким-то еврейским группам и течениям, то получится очень пестрый список: евангелист Иоанн, Цицерон, Тацит, Иоанн Златоуст, Савонарола, Лютер, Шекспир, Петр Великий, Вольтер, Державин, Наполеон, Фурье, Вагнер, Достоевский, Розанов, Блок и очень многие другие".

Перед названными авторитетами, собранными Шафаревичем в одну компанию, просто теряешься. Напрашивается вывод: попасть в нее, даже среди "очень многих других", - большая честь. Первое желание - снять шляпу, откашляться и тихо удалиться, горюя о собственной незначительности и непонимании чего-то "такого"...

Одна беда - "Гитлер в этом списке, конечно, тоже должен быть", - признавал Шафаревич. Но тут же успокаивал слегка смущенного читателя: Гитлер, естественно, "занимает совершенно особое место". С последним замечанием, пожалуй, можно согласиться (а все-таки интересно, какое место в "пестром списке" отвел бы Гитлеру

Шафаревич?). Простим известному математику и банальную логическую ошибку, которая называется “довод к человеку”, - пользуясь таким приемом, можно было бы не напрягая памяти назвать с десятков знаменитостей, болевших, к примеру, туберкулезом, и сделать соответствующее умозаключение.

Вопрос в другом: какое место в этом списке, составленном в хронологической последовательности, занимает его автор, Шафаревич; или, иными словами, - как быть с историей? Ответ очевиден: после лагерей смерти, газовых камер и крематориев, после Гитлера, с его критическим, говоря словами Шафаревича, отношением абсолютно ко всем “еврейским группам и течениям”, включая стариков и младенцев, апеллировать к Цицерону и Достоевскому по меньшей мере неуместно.

Почему же появился “пестрый список” и почему он не завершается Гитлером - ведь это было бы единственно достойное человеческого разума “особое место” для фюрера?

Когда мы говорим о юдофобской мифологии, то имеем в виду лживость, реакционность и человеконенавистничество антисемитизма. Ему и впрямь присущи такие свойства мифа, выявленные К. Леви-Строссом, как диахроничность (повествование о прошлом) и синхроничность (инструмент “объяснения” настоящего и даже будущего). Приведший к Холокосту, этот чудовищный в своем иррационализме миф, казалось бы, должен был полностью и навсегда себя дискредитировать. Однако он живет и, оставаясь на какой-то неуловимой и неуничтожаемой основе, постоянно модернизируется и ускользает от рациональной критики.

Более того, время от времени, то здесь, то там, он переходит в контратаку, усилиями своих новых адептов пытаясь опровергнуть известное и общепризнанное, бросая дерзкий вызов здравому смыслу и человеческой памяти. “Застывший миф умирает”, - констатировал Карл Густав Юнг. Но юдофобской мифологии смерть пока не грозит, ибо появляются среди ее проповедников то принявший на старости лет ислам бывший член руководства Французской компартии Роже Гароди, то британский историк Дэвид Ирвинг, то австрийский политический деятель Йорг Хайдер.

Думается, происходит это и потому, что критика антисемитизма, какой бы убедительной и остроумной она ни была, остается по своему содержанию и направленности на уровне просветительской критики древней мифологии, рассматривавшейся Вольтером, Дидро, Монтескье и другими лишь как продукт невежества и обмана. В этом

смысле со “списком Шафаревича” приходится считаться, так как людей, числящихся в нем, едва ли можно заподозрить в невежестве или склонности поддаться на обман.

Все это наводит на мысль о связи юдофобии с коллективным бессознательным, об архетипических корнях антисемитизма. Занятно, что обстоятельно изложенный в “Протоколах сионских мудрецов” политический миф почти целиком повторяет структуру памфлета М. Жоли “Диалог в аду”, направленного против деспотизма. И дело здесь не только в плагиате. Недаром К. Г. Юнг отмечал, что архетипы имеют не содержательную, а исключительно формальную характеристику, и что архетип как таковой не морален и не имморален, не прекрасен и не безобразен, но в нем заложены возможности для предельных проявлений добра и зла. “В основе архетипических утверждений, - говорил создатель аналитической психологии, - лежат инстинктивные предпосылки, не имеющие никакого отношения к разуму; их невозможно ни доказать, ни опровергнуть при помощи здравого смысла”.

Самое простое в нашем случае - предположить, что антисемитизм базируется на архетипе, не выходящем за рамки бинарной оппозиции “свой - чужой”. Но не будем торопиться, тем более что такая версия как раз и устроила бы многих юдофобов, или, в лучшем случае, Л. Гумилева с его фантастической концепцией этногенеза, согласно которой, на суперэтническом уровне возникают “химерные композиции”; вторгшиеся этносы-паразиты, “народы-торгаши” живут за счет коренных “народов-героев” и т. п.

Дихотомический конфликт “свой - чужой” может быть преодолен более или менее легко изгнанием чужого, имеющего враждебные намерения. Но куда же было изгонять евреев, и без того уже согнанных со своей земли одним из “народов-героев”, а главное, обязанных, по раввинистическому кодексу, защищать ту страну, в которой они живут, даже если бы им пришлось воевать против евреев, живущих во враждебной стране?!

Конечно, были в европейской истории примеры изгнания из некоторых государств “врагов Христовых”. Но немало было в феодальной Европе и дальновидных государей, зазывавших к себе евреев, чтобы оживить экономику, поднять хозяйство.

Позднее еврейский талант и еврейский энтузиазм стали проявляться и в интеллектуальной жизни стран рассеяния, в том числе и в России.

Так, родившаяся и выросшая в Петербурге Луиза (Лу) Андреас-Саломе - незаурядная (и даже “роковая”) женщина, дружившая и

сотрудничавшая с Ницше, Рильке, Марином Бубером и Фрейдом, - в статье "Русская философия и семитский дух" (1898 г.) выразила надежду, что русские и евреи, столь различающиеся в духовной жизни, научатся понимать друг друга и друг в друга проникать (см. об этом подробнее в книге А.Эткинда "Эрос невозможного. История психоанализа в России"). То, что это - не пустые мечтания "финской еврейки" (в еврействе Лу упорно "уличала" позднее сестра Ф. Ницше), было доказано через десяток лет выходом знаменитого сборника "Вехи" - пророчества-предостережения, адресованного русской интеллигенции, к которому, к сожалению, почти никто не прислушался, хотя оно было проникнуто искренней любовью к России и тревогой за ее судьбу. Зато "Вехи" удивительно дружно обругали все - от Ленина до Милюкова. Так вот, из семи веховцев трое (М. О. Гершензон, А. С. Изгоев и С. Л. Франк) были евреями.

Выходит, никакие не "чужие", а свои, "родственники"! Кем же приходится евреям другим народам в раздираемой непрерывными склонами единой человеческой семье? Даже если допустить, что сам вопрос поставлен вполне корректно, ответ на него не может быть выражен однозначно на том же языке. Поэтому предложим по крайней мере два варианта, две "ипостаси": как носитель Закона еврейский народ - "отец" другим этносам; перед Творцом - он им брат.

Итак, гипотеза первая: народ-патриарх.

Есть русская поговорка о том, что муж любит жену здоровую, а сестру богатую. Проза жизни: родню сильную уважают или боятся, состоятельную - любят или терпят, хоть и небескорыстно. Но каждый ли способен "возлюбить" старика-скитальца, у которого уже и отнять-то нечего, а поучиться у него уму-разуму - гонор не позволяет? Главное его богатство - переписанные в Большую Книгу с утеранных давным-давно каменных досок нудные наставления: не убивай, не кради, не возжелай и так далее. Тем более что куда проще, а часто и приятнее, делать как раз наоборот. И делали. И делают. И будут делать наоборот. Да и сам-то старичок - не без греха! И все же: "крошка-сын", с неизбежно возникающим у него вопросом "что такое хорошо и что такое плохо?", приходит, как правило, к отцу...

В "Веселой науке" Ницше пошутил: евреи чувствуют себя моральным гением среди прочих народов. Ирония философа не может, однако, поставить под сомнение тот исторический факт, что нравственный закон действительно был внесен в западную цивилизацию евреями. В этом, собственно, и проявляется богоизбранность этого народа.

Вообще, значительная часть нееврейского мира уже давно весьма болезненно относится к феномену богоизбранности. В “лучшем” случае особое положение еврейства среди других народов - повод для завистливых насмешек, в худшем - для обвинения евреев во “всемирном заговоре” с целью... неважно какой. Даже Н. А. Бердяев, делая тактическую уступку антисемитам, признавал существование еврейского самомнения, “которое раздражает” (статья “Христианство и антисемитизм”, 1938 г.). А затем, переходя в наступление, Бердяев давал психологическое объяснение “самомнению” евреев: “этот народ был унижен другими народами, и он себя компенсирует сознанием своей избранности и своей высокой миссии”.

И только-то?! Даже обидно за блестящего и тонкого философа, предложившего такое плоское “решение” проблемы. А ведь более чем за полвека до него другой русский религиозный мыслитель Владимир Соловьев смотрел на нее куда более масштабно и глубоко. В его теократии будущего (разумеется, христианской) евреи опять-таки занимают особое положение: “И как некогда цвет еврейства послужил восприимчивой средой для воплощения Божества, - писал в 1884 г. в своей работе “Еврейство и христианский вопрос” философ всеединства, - так грядущий Израиль послужит деятельным посредником для очеловечения материальной жизни и природы, для создания новой земли, идеже правда живет”.

Так вот, богоизбранность как историческая данность не нуждается ни в каком оправдании (религиозном или философском) и не таит в себе никакой опасности. Напротив, она носит исключительно позитивный характер. Отвлекаясь на минуту от религиозного аспекта еврейской исключительности, заметим, что осознание еврейским народом своей избранности - это залог его, так сказать, интенсивной самоидентификации, которая принципиально отвергает всякое навязывание собственных идеалов, обычаев и образа жизни другим народам. Вера же в единого (для всех людей), вездесущего и всесильного Бога делает смехотворной саму постановку вопроса о тайных планах и заговоре с целью... опять неважно какой.

А вот когда с религией порывают, презрительно третируют ее как “опиум народа” и уже с атеистических позиций провозглашают богом евреев деньги и т.п., - тогда-то и превозносится до небес дьявольски соблазнительная и разрушительная идея, бродившая по Европе уже в эпоху Просвещения и четко сформулированная известным выкрестом в пресловутом десятом тезисе “о Фейербахе”: “Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его”.

Надо же было додуматься до такого: не разобравшись толком в устройстве этого мира, отказавшись от его “объяснения”, приступать сразу к его изменению! Но где здесь иудаизм и при чем тут избранный народ?

Разумеется, как и всем людям, евреям присуще великое множество недостатков и пороков, ибо богоизбранность не тождественна богоравности. Но на иудеях, даже чисто количественно, висит особый груз: из Моисеева Декалога они должны соблюдать по крайней мере на две заповеди больше, чем христиане, - не делать себе изваяний, не поклоняться им и помнить день субботний. (Можно сказать, что это несущественно - особенно соблюдение именно субботы, а не воскресенья или пятницы. Но вспомним историю с пятым постулатом Евклида... А тут мы имеем дело с “нравственными аксиомами”, возможно, решающим образом определяющими моральное лицо и историческую судьбу общества.) Идолопоклонство же имеет прямое отношение к тоталитаризму.

Религиозную систему венчает Бог, мыслимый как совершенное во всех отношениях существо. Отсюда - сила и труднособлюдаемость религиозной морали. Тоталитарную же идеологию, представляющую собой светскую религию, - “возглавляет” человекобог - вождь или фюрер, - который не может быть совершенным по своей природе, хотя его образ предельно лакируется официальной пропагандой (тем более сокрушительно потом падение идола). Поскольку в тоталитарном государстве основой нравственности вынуждена была служить идеология (“моральный кодекс строителя коммунизма”, писанный циниками-ханжами высокого градуса, не сильно-то “усовершенствовал” Десять заповедей), этический стандарт здесь “освящал” человекобог. А это неизбежно влекло за собой деформацию моральных основ общества.

В самом деле, если человекобог жесток, то его жестокость преподносится уже как твердость, непримиримость к врагам и становится примером, нравственной нормой и идеалом; если он коварен, то это его качество трактуется как гибкость и мудрость; обычное невежество или хамство выдаются за простоту и близость к народу... Короче, как говорил Конфуций, если слова теряют свое значение, люди теряют свою свободу. В итоге естественная (или сверхъестественная?) моральная аксиоматика изменяется, этическая аномалия дезориентирует врожденный или традиционный нравственный компас человека, и он не в состоянии отличить добро от зла. Точнее даже, он не видит зла там, где оно есть.

Еще в начале XIX века вокруг проблемы кризиса человека развернулась полемика между Шарлем Фурье и маркизом де Садом. К концу второй декады XX столетия, после Октябрьской революции, многим уже казалось, что победу одержал фурьеризм и что идея социального переустройства мира на “разумных” началах превратилась из утопии в реальность. Само по себе это было иллюзией, да и “реванш” не заставил себя долго ждать, и в 1933 году явился во всем своем ужасающем виде де-садовский “человек-монстр”, претендующий стать “сверхчеловеком”.

Но его раздражала и смущала мудрая, скептическая усмешка живущего рядом старика, который помнил и строительство Вавилонской башни, и крах великих, казавшихся вечными, империй... И тогда человек-монстр объявил христианство частью еврейского заговора, совесть - изобретением евреев, а самого старика - своим смертельным врагом.

“Преодоление” иудео-христианской морали привело в действие самые глубинные, темные силы бессознательного, высвободило первобытные инстинкты. Общество было отброшено к уровню тотемной группы, а цивилизованный человек в историческое мгновение обратился в сапиентного дикаря. И произошло отцеубийство невиданного и немыслимого масштаба - геноцид народа-патриарха.

Как же так? Когда-то, в незапамятные времена, ангел Всевышнего отвел руку Авраама, занесенную над Исааком. Почему же не была отведена от еврейского народа рука нацистского палача? Отец не должен был убивать сына, а “сын” может убить “отца”? Эдипов комплекс? Попытаемся “развернуть” изложенную выше схему.

Интересный факт был подмечен Станиславом Лемом в его статье “Провокация” (это - квазирецензия на вымышленную книгу несуществующего немецкого философа Асперникуса “Геноцид”): по прошествии десятилетий после Холокоста так и “не появились воспоминания палачей, которые - пусть бы и анонимно - описывали свои ощущения”. Лем объясняет это “абсолютное молчание” по-своему - “равнодушием актера к давно отыгранной роли”.

Уточним: один “мемуар палача” все же был опубликован - в 1949 г., то есть за тридцать лет до появления “Провокации” Лема. Автором “воспоминаний” был... Хорхе Луис Борхес. Герой его новеллы “Deutsches Requiem” - некий Отто Дитрих цур Линде, заместитель начальника концлагеря, - в исповеди перед казнью пишет об одной из своих жертв, еврейском поэте Давиде Иерусалеме: “Не знаю, понял ли Иерусалем, что я убил его, чтобы убить в себе жалость. Для меня

он не был ни человеком, ни даже евреем; он стал символом всего, что я ненавидел в своей душе. Я пережил вместе с ним агонию, я умер вместе с ним, я в каком-то смысле погубил себя вместе с ним; так я сделался неуязвимым“.

Что ж, вероятно и версия С. Лема приемлема, когда приходится объяснять необъяснимое. Но зададимся другим вопросом, памятуя о борхесовской мистификации: а что, собственно, палачи вообще могли ощущать и что могли вспомнить? О чем и на каком из человеческих языков они могли написать свои воспоминания? Не исключено, что ими двигал страх; но это был вовсе не страх перед бесчеловечностью режима (эта бесчеловечность ими самими и создавалась), это был непреодолимый ужас, прущий из самых темных закоулков подсознания и порождавший восторг убийства.

Почти сорок лет назад на иерусалимском процессе давал свои показания Адольф Эйхман: теперь вот опубликованы его дневники... Ну и что мы из них почерпнули? Заглянули в inferнальные глубины души злодея? Раскрыли какую-то ужасную его тайну? Да ничего подобного! “Отчет о проделанной работе“, рассуждения бухгалтера, жалкие попытки оправдаться - и никаких “ощущений“. Рутинная, обыденностью и пошлостью которой была поражена еще Ханна Арендт.

Сами по себе “будни“ Катастрофы жутки - они способны поставить на грань безумия впервые узнавшего о них нормального человека своей запредельной жестокостью. Так что же защищало души этих нелюдей от самоиспепеляющего огня совести? Что сделало их, наподобие борхесовского цур Линде “неуязвимыми“?

Сговор! Если так можно выразиться, за спиной “Я“ полюбовно договорились между собой “Оно“ и “Сверх-Я“. Хотя, по Фрейду, “Сверх-Я“ и царит над “Я“ как совесть или бессознательное чувство вины, по своему содержанию “Сверх-Я“ все же оказывается близким и родственным “Оно“, так как является “наследником эдипова комплекса и, следовательно, выражением самих мощных движений Оно и самых важных либидных судеб его“ (З. Фрейд. “Я и Оно“).

Замечательную родственную связь в генезисе двух величайших мифов XX столетия, о которых уже говорилось, увидел В.Н.Муравьев. В 1918 г. в своей статье “Рев племени“, вошедшей в известный сборник “Из глубины“ (своего рода продолжение “Вех“), он писал, что самым последовательным выражением современной нерелигиозной культуры является “в области духовной - русская интеллигентская настроенность, в области же материальной - германский милитаризм“... “На одной стороне, - продолжал русский публицист, - стоит

религия - историческая действительность, на другой - отвлеченная мысль, одинаково гибельная и разрушительная, воплощается ли она в виде завоеваний социальной революции или всемирной военной империи“.

В то время “Протоколы сионских мудрецов“, состряпанные совместными усилиями черносотенцев и царской охранки (не стеснявшимися в средствах, как и их политические антиподы из левозкстремистского лагеря), - готовились к своему триумфальному шествию по Германии. Обмен “духовными ценностями“ состоялся: в благодарность за “научный социализм“, Россия осчастливила Веймарскую республику библией юдофобов.

Между прочим, в самой Германии опасные последствия игры с моралью, по-видимому, предчувствовал Макс Вебер. Он предупреждал, что абсолютная этика - “это не фиакр, который можно остановить в любой момент, чтобы войти и выйти по своему усмотрению“. (Более чем через тридцать лет, в 1952 г., Мартин Бубер показал, насколько неправомерен и даже опасен “одномерный“ - только философский или только политический, безрелигиозный подход к фундаментальным нравственным вопросам. В своей работе “Затмение Бога“ он подчеркивал, что “возможность паулинистского преодоления Закона выпадает на долю только того, кто в состоянии на место совести поставить душу, а на это способны очень немногие“.)

С сожалением необходимо добавить, что именно М. Вебер рискованно поставил “ребром“ и проблему соотношения “этики убеждения“ и “этики ответственности“, не подозревая, вероятно, насколько “окончательным“ будет ее решение. И вот Гиммлер, выступая перед высшими офицерами СС в октябре 1943 г., заявил: “Сейчас речь идет о депортации и об истреблении еврейской нации. Звучит это просто: “Евреи будут уничтожены“. И далее: “Большинство присутствующих здесь знает, что это такое - видеть 100 или 500, или 1000 уложенных в ряд трупов. Суметь выдержать это - за исключением отдельных случаев человеческой слабости, - и сохранить в себе порядочность - вот испытание, которое закалило нас. Это славная неписанная страница нашей истории...“

Как бы дико ни выглядела эта риторика преступника на тему порядочности, она, надо признать, не выходит за рамки “этики ответственности“. Внушенная фюрером загипнотизированной толпе, эта “этика“ и стала для большинства немцев “высшим существом“, “Идеалом-Я“, воцарившимся над “Я“, и, через голову последнего, разнуздала “Оно“, вызвав массовую регрессию.

В конце концов, под грохот пушек и свист авиабомб союзных армий, гипноз рассеялся, миллионы евреев - свидетелей и жертв регрессии - легли в землю или обратились в пепел, многие их палачи еще доживают свой некороткий век, словно бы ничего и не произошло, а в благополучных демократических государствах некоторые интеллектуалы - любители статистики из чисто спортивного интереса с азартом занимаются решением сугубо научного, принципиального вопроса: сколько миллионов европейских евреев было уничтожено - шесть или всего-навсего четыре с половиной? Воистину, Бог придумал качество, а дьявол - количество...

О странной покорности жертв Холокоста своим мучителям немало говорилось - с недоумением, удивлением, даже презрением. Как же! Не могли себя защитить, утратили инстинкт самосохранения... Массовое участие евреев во Второй мировой войне, в армиях стран антигитлеровской коалиции, в движении Сопротивления и партизанских отрядах, даже восстания в гетто - не могут "компенсировать" ту самую покорность. Явление это - совершенно иного качества, потому что 1,5 млн евреев с оружием в руках сражались не столько за себя и свой народ, сколько боролись за общее для человечества дело.

Покорность жертв нуждается не в опровержении или оправдании, а в понимании. Неужели у кого-нибудь повернется язык упрекнуть в чем-то полтора миллиона еврейских ребятишек, не сознававших, что происходит, даже когда их убивали? И смог ли бы потом взглянуть в зеркало Януш Корчак, если бы он выпустил из своей руки детскую ручонку и остался на перроне вокзала, что и предлагал ему сделать начитанный немецкий офицер в приступе нацистской доброты?

В ксенофобии вообще, в антисемитизме - в частности отсутствует "адекватная" взаимность; не действует в обществе третий закон Ньютона. Не могу забыть лица еврейской старушки с фотографии "Селекция" в Яд ва-Шеме. В ее взгляде нет ни страха, ни ненависти, ни брезгливости - никакой позы. Легкий укор, чуть смущенная улыбка. Так смотрит на нашкодившего внука его бабушка. А ведь эта старая женщина смотрела в лицо смерти.

И стало мне ясно, что не могли они, евреи, вдруг отчаяться, ожесточиться и завывать по-волчьи только потому, что взбесился один из цивилизованных европейских народов, - не будет нормальный человек уподобляться пациенту психдиспансера, не будет обижаться на него, что бы тот ни вытворял. За плечами одного - сорок веков иудейской культуры, за спиной другого - ранец из телячьей шкуры, а в нем - "Майн кампф".

Как повествует Агада, в эпоху Второго Храма, в дни праздника Суккот, приносили евреи жертву из семидесяти волов за благоденствие всех семидесяти народов Земли. И псалмопевец говорил: “За любовь мою они враждуют против меня, а я молюсь” (Пс. 109:4)...

Гипотеза вторая: брат.

Сколько в библейской истории примеров “братской ненависти”! Каин убивает Авеля, Исав соперничает с Иаковом, а Иосиф - с остальными своими братьями, по приказу Соломона убивают его брата Адонию... Не лучше обстоят дела в мифологии. Тесей боролся с пятьюдесятью своими двоюродными братьями - Паллантидами - и перебил их всех до одного, устроив им засаду. В близнечных же мифах соперничество между братьями начинается с самого их рождения, а заканчивается иногда, как в известной всем легенде о Ромуле и Реме.

Профессор Шломо Шохам писал о “комплексе Исаака” - подсознательной исторической склонности евреев к жертвенности. Да, Бог подверг Авраама тяжкому испытанию, потребовав принести Ему в жертву сына Исаака... Попробуем вернуться по Библии на полтора десятка лет назад от этого события.

Служанка Сары Агарь родила Аврааму сына Измаила. Но через несколько лет, после вмешательства горних сил, у Сары и Авраама родился Исаак. Разгневанная высокомерием Агари и насмешками Измаила над братом, Сара потребовала изгнания египтянки и ее сына, чтобы он не наследовал вместе с Исааком.

“И показалось это весьма прискорбно Аврааму по поводу сына его. И сказал Всесильный Аврааму: “Пусть не покажется это тебе прискорбным ради отрока твоего и служанки твоей; все, что Сара тебе скажет, слушайся голоса ее, ибо в Ицхаке наречется тебе род. Но и от сына служанки - народ произведу Я из него, ибо он потомок твой” (Брейшит, 21: 11-13). И Авраам “отослал” Агарь с Измаилом.

Итак, из-за своего младшего сына, ставшего прародителем еврейского народа, по настоянию его матери и с санкции Всевышнего, отец изгоняет старшего сына, положившего начало народу арабскому. Не эта ли запечатленная в Торе духовная травма, нанесенная сыну египтянки Агари в те комплексогенные времена, и стала первопричиной “комплекса Измаила”, основанного на архетипе обиженного брата и проявляющегося в юдофобии - некоем социальном безумии? (Установление Юнгом причинно-следственных связей между архетипами и безумием М. Евзлин в своей книге “Космогония и ритуал” назвал одним из выдающихся современных открытий).

Уместно возражение: архетип обиженного брата как-то объясняет только арабскую юдофобию, потому что именно арабы выводят свой род от Измаила (предание о том, что Измаил и его мать похоронены в Мекке, под черным камнем Кааба, величайшей святыней ислама, записано в Коране). Но, во-первых, не будем забывать причудливо тасуемую “колоду карт”, о которой говорил один булгаковский персонаж. Не отдаленным ли зовом крови были навеяны проникновенные строки поэта-хлыста Николая Клюева: “Есть Россия в багдадском монисте / С бедуинским изломом бровей...”“?

Во-вторых, генерализации “комплекса Измаила” в модифицированной форме, по-видимому, способствовало распространение христианства. Своенравный народ, не пожелавший признать Бога в Иисусе и оставшийся верным религии Отца, не лишился тем не менее своего статуса богоизбранности. Ведь и апостол Павел учил, что “весь Израиль спасется”; Господь по-прежнему любит иудеев, так как дал обещание их отцам, а “дары и призвание Божие непреложны” (К римлянам, 11:26, 29). Так “комплекс Измаила”, усиленный “ревностью” теперь уже к брату старшему, зафиксировался и в коллективном бессознательном христианских народов. Показательно, что даже господин Свидригайлов, перед тем как свести счеты с жизнью, обращается со словом “брат” к еврею-пожарнику (на неслучайность, знаковость этой сцены из “Преступления и наказания” обратил внимание А. Воронель в своем эссе “Смердяков - философ современности”).

Наконец, далеко не все неевреи, в том числе и среди арабов, - юдофобы. Можно предположить далее, что индивидуальную склонность к антисемитизму проявляют главным образом те, кто пережил в семье подобную драму (конфликт с братом), или же творческие личности, сознание которых, по Юнгу, “затоплено” архетипическими материалами. Из “списка Шафаревича” к первым можно отнести, например, Петра Великого (известно о его соперничестве с братом Иоанном), а ко вторым - Р. Вагнера.

Поможет ли в данном социально-клиническом случае юдофобского невроза достигнуть терапевтического эффекта известный психоаналитический прием - доведение до сознания травмировавшего воспоминания, - сказать трудно. Миф есть миф, и комплексы воспроизводятся в каждом новом поколении. Метод катарсиса, на который уповал еще Аристотель, - трагедия как средство духовного очищения, даже в виде реального исторического события, Катастрофы, - здесь оказался, увы, бессильным.

Несмотря на это, хочется верить, что не поддающиеся счету жертвы, которыми XX век заплатил за настойчивые попытки “улучшить” социальное устройство и человеческую породу, не были напрасными: ведь в конце концов история убедительно продемонстрировала, как писал С.Л.Франк, “непреодолимое упорство мира, в котором обнаруживается его сверхчеловеческое происхождение”.

Бен-Барух

ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ

Гносеологический опыт

Мы настолько привыкли доверять тропам, по которым ходит наша тренированная мысль, что опасаемся сослупить с них, словно по бокам топкое болото или минное поле... Сделав с Бен-Барухом шаг в сторону, остаешься, однако, цел и вдруг обнаруживаешь себя в пространстве, где мысль, гуляя, подобно киплинговской кошке, сама по себе, озаряется вспышками истины, еще не забредавшей нам в голову. Философия здесь не мудрствование, но как бы иной способ дыхания: ему стоит поучиться — и многое видишь по-новому, а мыслить по-старому уже представляется непродуктивным.

Автор этой небольшой, но емкой книги, выступающий под псевдонимом Бен-Барух, много лет знаком читателю журнала „22” своими эссе — иногда спорными, но почти всегда запоминающимися. Книга соединяет в один пучок силовые линии его размышлений. Может быть, именно для того, чтобы возникли эти силовые линии, ему следовало оказаться здесь, на Земле Обетованной...

65 страниц, Иерусалим 1999.

World Association for Studies of Interaction of Cultures

Цена 18 изр. шек., с пересылкой – 23 шек.

Цена за рубежом \$7,5 (включая пересылку).

Заказы по адресу:

Евгений Фумбаров, P.O.B. 11213, Jerusalem 91111.

Tel. 02-6766552

Кирилл Феферман

ВОЗМОЖНО ЛИ ИЗЛЕЧЕНИЕ ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОГО НАРОДА В БОЛЬНОЙ СТРАНЕ

*И будет расторгнут союз ваш со смертью,
и договор ваш с преисподней не состоится.
(Исайя, 28:18)*

В научной и художественной литературе прочно укрепилось мнение, что несколько последних лет правления Сталина были черными годами советского еврейства. Действительно, кампания по борьбе с космополитизмом (1948-1949) и особенно “дело врачей” (середина 1952 - март 1953) были, пожалуй, наиболее одиозными проявлениями советского государственного антисемитизма. В результате этих кампаний советская партийно-хозяйственная элита и органы безопасности были почти полностью очищены от еврейского присутствия, а многие из еврейских функционеров и чиновников были репрессированы. Насколько я могу судить, никогда более в истории СССР евреям не удалось восстановить свое представительство в этих группах. Помимо этого, практически полностью была уничтожена (вместе со своими авторами) и так называемая “советская еврейская литература на языке идиш”. Среди других профессиональных групп, подвергшихся особым гонениям со стороны властей, надо отметить евреев, занимавших видные места в советском искусстве (на русском языке), а также (особенно в последний год сталинского правления) евреев, работавших в медицине. Эта последняя группа была, по-видимому, достаточно многочисленна, потому что вслед за арестом “кремлевских врачей”, занимавшихся лечением высшего советского руководства, немалое количество рядовых врачей-евреев было уволено, а часть из них и репрессирована.

Что же представляли из себя эти группы еврейского населения,

подвергшиеся репрессиям? За исключением самой последней категории, а именно тех, кого я назвал “рядовыми врачами”, речь идет о людях, приближенных к власти, входивших в тщательно пестуемую режимом советскую элиту, закаленную многолетней борьбой за самовывживание в горниле непрерывного сталинского террора. Речь идет о тех, кому высшие советские лидеры были обязаны как сохранением собственного здоровья (“кремлевские врачи”) и, таким образом, собственной власти, так и эффективному и бесперебойному функционированию машины террора (органов безопасности) и аппарата промывания мозгов (советского искусства). Иначе говоря, адекватное понимание и оценка антисемитских кампаний последних лет сталинского правления требуют как трезвого осмысления истории советского режима, так и беспристрастной оценки значительного еврейского присутствия в советской элите в 20-40-е годы.

Корни этого феномена слишком глубоки, чтобы их можно было исследовать в рамках короткой статьи. До революции большевизм, насколько я могу судить, был достаточно модным политическим течением среди евреев Российской империи. И все же он был чужд основной массе российского еврейства; как показали результаты выборов в Учредительное собрание и параллельно во Всероссийский Еврейский конгресс (конец 1917 - начало 1918), значительное большинство российских евреев проголосовало за сионистские и религиозные партии, таким образом не поддержав в то время большевистскую идею. Начало массовой солидарности еврейского населения бывшей Российской империи с советским режимом может быть, по-видимому, отнесено к 1919 году. Это было время, когда казалось, что у евреев уже нет выбора: погромы, проводившиеся частями Добровольческой армии, петлюровцами и украинскими бандами не оставляли евреям другого выхода, кроме как встать на сторону большевистского режима.

Однако и после окончания гражданской войны, когда опасность физического уничтожения миновала, участие евреев в укреплении советской власти продолжало оставаться весьма значительным. Это прежде всего касается госаппарата и органов безопасности. Со временем евреи также достигли значительного представительства в советской культуре и искусстве; роль евреев, как идеологических столпов режима, вполне сопоставима с ролью евреев в партийном аппарате и НКВД. Особого упоминания заслуживает “советская культура на языке идиш”. Вскормленная печально известной Еврейской секцией, начисто оторванная от истоков традиционной еврейской культуры, эта

новая культура, просуществовав в Советском Союзе примерно до середины 30-х годов, была ликвидирована по выполнению своей задачи (промывки мозгов еврейскому населению на доступном ему языке). Будучи на недолгий срок реанимированной по пропагандистским причинам во время войны, после ее окончания “культура на языке идиш” была окончательно выброшена режимом на свалку за ненадобностью. Та же участь постигла и многих деятелей этой культуры, уничтоженных в период с середины 30-х до начала 50-х годов. Излишне говорить, что вся эта “культура” была чисто еврейским предприятием. Зная необычайные подозрительность и недоверчивость советского режима, стоит особо выделить тот факт, что партия практически всецело полагалась на еврейских товарищей в вопросах “национального строительства” и формирования еврейской культуры.

Постепенный поворот в отношении режима к евреям начался, по видимому, с конца 20-х годов, а первые ограничительные меры по отношению к еврейскому присутствию в партийно-правительственной элите относятся к середине 30-х. Позднее, в 1943 году, при стабилизации ситуации на фронте советские власти издали секретный циркуляр, предписывавший резко ограничить число евреев на руководящих постах. Вместе с тем надо отметить, что эти указания в то время нигде не публиковались. Сочетание скрытности действительной политики партии в еврейском вопросе и известного расцвета еврейской культурной жизни во время войны, наряду с некоторыми советскими громкими заявлениями против политики геноцида, проводившейся нацистами по отношению к евреям, создало у многих ощущение, что отношение режима к евреям в этот период было достаточно благосклонным. Евреи видели в Сталине своего спасителя от геноцида. Свою роль сыграла и израильская политика советского правительства в первые послевоенные годы. Немногие были в состоянии разглядеть, что речь идет лишь о временном совпадении интересов СССР и мирового еврейства (если вообще можно говорить, что у последнего были какие бы то ни было коллективные интересы).

Таким образом, когда очередной виток советской политики привел в конце 40-х годов к кампании по борьбе с “безродными космополитами”, последняя явилась для большинства еврейского населения страны полной неожиданностью. Следует подчеркнуть, что речь шла, по большей части, о пропагандистской кампании, а не о мгновенной, без предварительной психологической подготовки, депортации (мера, к которой режим прибегал в отношении некоторых, считавшихся неблагонадежными, этнических групп, обвинявшихся, как правило, в

сотрудничестве с немцами). Может быть потому, что такое обвинение было неприменимо по отношению к евреям, или потому, что у режима были какие-либо особые виды на решение еврейского вопроса, но значительное большинство советского еврейского населения, насколько я могу судить, не подверглось (или не успело подвергнуться) физическим преследованиям со стороны властей по национальному признаку.

И тем не менее, массированная пропагандистская кампания (жертвой которой ощущал себя каждый еврей) в сочетании с арестами и увольнениями (жертвами которых были далеко не все) оказала глубочайшее влияние на советское еврейство. Оно в полной мере (а возможно, даже и в значительно большей степени, чем остальное население страны) ощутило на себе страх, глубоко проникший во все слои советского общества со времени октябрьского переворота. Одновременное вытеснение евреев с ключевых постов и почти открытая антиеврейская кампания по всей стране создали в относительно короткий срок стену отчуждения между еврейским населением страны и властью. Эта стена оказалась особенно прочной, поскольку послесталинское руководство СССР, насколько мне известно, никогда не признавало антиеврейской направленности кампаний, проведенных режимом в последние годы правления Сталина. Более того, в области кадровой политики послесталинские руководители фактически соблюдали статус-кво, сложившееся на момент его смерти: за исключением области культуры на русском языке, где евреям вновь удалось добиться немалых "достижений", наличие "пятого пункта" служило безусловным препятствием на пути вхождения "советских граждан еврейской национальности" в правящую элиту.

В исторической перспективе, по эффекту и уровню разочарования российского еврейства во власти сталинские антиеврейские кампании сравнимы, пожалуй, с еврейскими погромами 1881 года. Последние, как известно, вызвали в российском еврействе болезненное переосмысление перспектив интеграции в российское общество. Эта переоценка, своего рода прекращение романа с властью по инициативе последней, имела многочисленные последствия. Среди них стоит особо выделить уже упоминавшееся активное участие евреев в деятельности левых и ультралевых организаций в предреволюционные годы. Реакция же советского еврейства на разрыв с властью, также инициированный последней, выразилась в постепенном прекращении еврейского участия в укреплении советского строя.

В то же время, стоит подчеркнуть, что разрыв и отчуждение в

отношениях между властью и евреями не были повсеместным явлением. Во многих еврейских семьях в Советском Союзе к антиеврейским кампаниям Сталина отнеслись как к досадному недоразумению. Достаточно характерным для этой части еврейского населения является тот факт, что 5 марта 1953 года, в день смерти Сталина, московская хоральная синагога была переполнена и, по свидетельству очевидцев, содрогалась от рыданий. И все же, как показала дальнейшая история советского еврейства, процесс отчуждения евреев от советской власти оказался необратимым. То, что началось как национально окрашенный страх, проявившийся впервые во время московских процессов конца 30-х, с их полускрытым антисемитским подтекстом, и достигло своего апогея во время антисемитской кампании начала 50-х, с ее коллективной психологической травмой, приведет впоследствии и к массовому участию евреев в правозащитном и демократическом движении, и к всплеску сионистской и еврейской религиозной деятельности в 70-80-е годы - к всплеску национального героизма, который вряд ли объясним существовавшим в те годы строго дозированным государственным антисемитизмом.

Эти размышления привели меня к следующему выводу. Фактические жертвы, понесенные советским еврейством в период сталинских антиеврейских кампаний, были сравнительно невелики по советским меркам. Те же, кто были репрессированы, являлись в значительной степени верными столпами режима. С другой стороны, сочетание глубокой психологической травмы, нанесенной этими кампаниями основной массе советского еврейства, и неизменной кадровой политики советских властей в послесталинскую эпоху, блокировавшей продвижение евреев на ключевые посты, связанные с реальной властью в стране, привело к тому, что уровень втянутости евреев в функционирование советской государственной машины резко упал. Как следствие, в послесталинский период и советские евреи, и другие народы бывшего СССР постепенно перестают отождествлять советский режим с еврейским участием в нем. Главное же состоит в том, что относительно недорогой по советским меркам ценой (в смысле физических потерь) и, по-видимому, вопреки собственным чаяниям, в последний период сталинского правления советские евреи были освобождены, а можно даже сказать и избавлены, от активного участия в укреплении советского режима, а, следовательно, и от ответственности за его действия.

МЫ - СУМАСШЕДШИЕ

Феликс Вуль

ИСКАЖЕННЫЙ МИР

КОРСАКОВСКИЙ СИНДРОМ ПО-АНТИСЕМИТСКИ

Много лет прошло...

Знакомые звонят: читал, в очерке Беринского о тебе мемуары? В каком очерке? В каком журнале? Нашел. Лев Беринский. Статья "О вертящейся сцене, сногшибательной карусели и круговороте в природе сознания". Журнал "Театр", 1990, №9.

Острая, надрывная статья с типичными для Л. Беринского парадоксами, неуспокоенностью, колоссальным знанием материала, страшными фотографиями начала века и конца тысячелетия. В статье о генезисе антисемитизма он выступает и как яростный публицист, и как историограф, и как эссеист, литератор.

И вдруг... Позволю себе привести выдержку из статьи полностью.

"...На Караванной, в пригороде Донецка, располагалась в дни моих юношеских увлечений Фрейдом крупная психолечебница, главврачом или, кажется, заведованием в которой был мой близкий тогда друг Феликс Вуль. Он, слава Богу, жив и сейчас и может подтвердить мой рассказ, если мужи от советской науки вздыбятся и заявят, что такого быть не могло. В конце лета 63-го Вуль пригласил меня в свою лечебницу: ознакомиться с творчеством его пациентов. Помню впечатление от общей прогулки во дворе. Помню впечатление от трехминутного посещения женского отделения: никогда больше, ни до, ни после, я такого успеха у женщин не имел! Но вот он привел меня в небольшую, на три человеко-койки, палату бывших алкоголиков - бывших не потому, что они излечились, а потому, что "их" уже не было: не было личности, человеческое существо как личность, как психосистема, распалось. Двое спали лицом к стене, а один, молодой, лет тридцати парень, лежал навзничь с раскрытыми невидящими глазами. Повторяю, это не была белая горячка алкоголика, это

была последняя стадия прогрессирующего распада личности, не помню уж, как ее, эту стадию, обозначил тогда Феликс. Когда мы вошли, оба в белых халатах, парень не среагировал. Друг мой, давно и, по-видимому, безуспешно лечивший его, присел на краешек кровати и спросил:

- Ну как?

В ответ - молчание, взгляд в потолок.

- Я говорю, как ты?

Молчание.

- Никак не пробьюсь к нему... - пробормотал Феликс, - реакции нет.

- Он что, замкнулся? - поинтересовался я.

- Сколько бьюсь... Тебя как зовут? - повернулся он снова к лежащему.

Молчание.

- Сколько тебе лет?

Молчание и тот же взгляд в потолок.

- У тебя жена есть? Как зовут твою жену?

Молчание.

- А меня ты знаешь? Кто - я? Я - кто?

И вдруг:

- Ж-ж-ж-и-и-...

- Что - ж-ж-и-и-и?

- Д!

Мы оба обомлели. Ужас прошел, как говорится, по моим членам. Ужас. Значит - это неискоренимо. Значит - это на уровне не то что сознания, не то что подсознания, бедный наш Фрейд, а где-то там, в глубочайших глубинах, в генах, в химии молекул... Я знаю, что эта страница одних возмутит, а других обескуражит, но я это пережил, и я об этом свидетельствую, положи руку на сердце, на Библию, на головы моих детей... Впрочем, может, и нет оснований для особого ужаса, рождаются ведь субъекты, склонные к агрессии или kleptomании, или к так называемым сексуальным перверсиям. Или так: антисемитизм как один из элементов человеческого бытия укоренялся в геномном роде, к которому принадлежал этот парень на протяжении столетий. Столетий этих, если род автохтонный, тутошний, набралось немало..."

Здесь расхожая фраза о комментариях, которые излишни, удовлетворить не может. Лев - поэт. Я - только психиатр. Он всегда видел и чувствовал как поэт. Я, читая, был потрясен фотографической образностью его памяти. Но - никуда не денешься - не только алкоголиков, родных шизофреников держать было негде. Те двое, что спали лицом к стене, скорее всего были душевнобольными, не

помню уж. Но вот третий, по смутным воспоминаниям, был больным с корсаковским синдромом. Происхождение этого психоза алкогольное, характеризуется тотальными и чаще необратимыми нарушениями памяти, утратой знаний о себе и мире. Но вот сволочная сущность этого деграданта, кривой шампур личности уже без лица и головы вообще, торчал, как из могилы. Типичная идеология и татуировка зоны: свастика и череп, кости под оскаленной челюстью по всему левому бедру.

Лев пишет, что ужас прошел по его членам. По моим не ходил. Я был попроще, да и не такое слышал и видел.

Потому он и поэт, а я - психиатр...

ИСТОРИЯ ОДНОГО ДИССИДЕНТА

За многие годы профессиональной работы - и как врач, проводивший принудительное лечение, и как судебно-психиатрический эксперт - я ни разу не сталкивался с карательной психиатрией. Хотя, мне кажется, знаю о ней все: мои архивы набиты материалами самиздата, газетной и журнальной периодикой, мемуарами.

Но сталкиваться со случаями психиатрического подавления инакомыслия или, упаси меня Боже, самому участвовать в медико-карательных акциях - не приходилось.

Вообще я почти уверен: вся провинциальная психиатрия нашей страны - Советского Союза тогда - не была поражена клещевой эпидемией массового предательства. И связано это было скорее не со слабостью "кадровой политики" партии и государства или с недоработками КГБ, и не с невысказанно высоким уровнем верности клятвам Гиппократ, Парацельс и Ибн-Сины. В том, что не вся советская психиатрия "продалась большевикам", во многом "повинны"... диссиденты: их было мало. Они собирались на кухнях, читали вражескую литературу, слушали "голоса", видели все политические шаги правительства и были не согласны с ними. Иногда диссиденты выходили на площади, и тогда срабатывали карательные механизмы системы. Особо опасные политические рецидивисты становились узниками психиатрических светил и "проверенных" психушек.

Но, повторяю, их было мало.

Мне пришлось столкнуться с противоположным случаем - душевнобольным, принятым за диссидента, - вот он познал все.

Дело было так.

Евгений Иосифович Ч-к поступил в нашу больницу на принудительное лечение по определению постоянной сессии Верховного Суда Мордовской АССР как страдающий психическим заболеванием. К уголовной ответственности Евгений Иосифович был привлечен по ст. 62 ч. 1 УК УССР “за изготовление и распространение анонимных документов антисоветского содержания”. В период следствия по данному делу уже проходил судебно-психиатрическую экспертизу в Харькове, в Украинском НИИ психиатрии - никакой психопатологии у него не нашли. И пошел он на этап за свою вражескую деятельность.

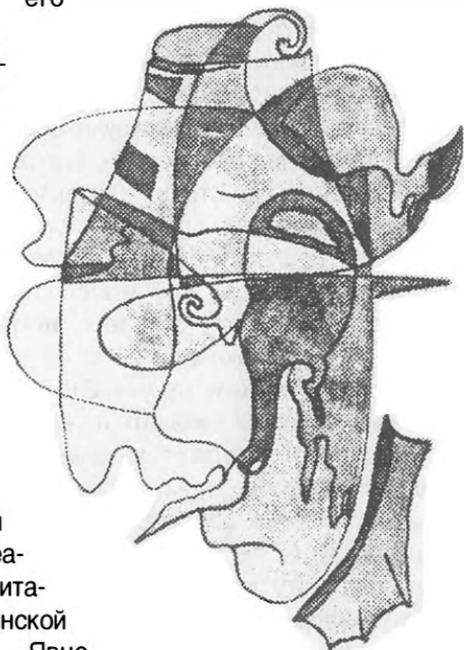
Места “не столь отдаленные” оказались в Мордовии, во всемирной столице ГУЛАГа. И именно там психиатр центральной больницы п/я ЖХ 385/3 обнаружил, что Евгений Иосифович... того: странные говорил вещи, просто даже нелепые. В Саранске признан невменяемым и, как сказано выше, этапом прибыл к нам, в поселок Авдотьино, хутор Рутчанский, в психбольницу №2, для принудительного лечения.

Материалы дела по обвинению Е. И. Ч-ка членам комиссии нашей психбольницы почему-то не представлены.

Стеснительность? Забывчивость?
Халатность? Умысел? Черт его знает...

О прошлом. Лет до двадцати пяти - ничего интересного. Высшее индустриальное образование на Урале, быстрый карьерный рост. И вдруг привлекается к ответственности за... антисоветскую деятельность. Якобы обвинение потом сняли.

Женился. С женой жил хорошо. И вдруг - развод. Оказывается, жена заявила в органы госбезопасности о его... антисоветской деятельности. Но опять тучки разбежались - снова как бы реабилитирован. (Что за реабилитации такие? Под солнцем Сталинской Конституции так не бывало... Явно недоставало объективных сведений.)



Лет пять назад появились слуховые галлюцинации: мужской голос, звучавший в голове, произносил одну-две фразы. Почти одновременно стал отмечать “посторонние чужие мысли”. Больной уже был в психозе, когда ему предъявили обвинение в изготовлении и распространении писем опять же “антисоветского содержания”, которые отправлял почтой в различные адреса. Находясь под следствием, “услышал” голос жены, ее плач, потом почувствовал воздействие на “мозг, нервы, желудок и сердце” одновременно, иногда избирательно, “аппаратов следствия”. Это были настоящие пытки. “Аппараты” лишали сна, вызывали боли в желудке, сердце.

Начал ощущать, как усиливается “чувствительность” областей мозга, расположенных “над ушами”, которые воспринимают “аппаратную информацию” уже не как “слова”, а различные “пощелкивания” барабанной перепонки, превращающие эту информацию в ток, поступающий в мозг: (Какой повод рассказать публике о применении КГБ “аппаратов наружного воздействия“!)

По “аппарату” получил возможность переговариваться с женой, следователями, членами правительства. Формы воздействия “аппаратов” расширялись, их стало уже десять-двадцать, они вызывали боли в желудке, насильственные движения, зубную боль и “летаргический сон”. Он получил возможность “переговариваться с самыми различными людьми”, получал информацию от “аппаратчиков”, которые надиктовывали имена их сотрудников, занимавшихся его судьбой.

Стал замечать, что не один он подвергается воздействию “аппаратов”, понял, что вся страна находится под их “массовым террором”. Особенно выражено действие этого чудовищного изобретения стало ощущаться после судебного приговора: получил наконец три года заключения за все ту же “антисоветскую деятельность”. Появилась “аппаратная память”, а затем что-то уж совсем неразборчивое: “мульки об освобождении”. Что за “мульки”, в чем они проявляли себя, и сам объяснить не мог. Это, однако, не мешало писать в различные инстанции и заявлять о своих “открытиях”.

Освободим читателя от изложения откровенно болезненных симптомов и синдромов - этому посвящены сотни страниц его постоянных и сосредоточенных описательств. Нужно быть очень тенденциозным человеком и иметь слабые представления о совестливости, чтобы использовать эту продукцию больного мозга в иных - скажем, политических - целях.

А ведь именно так использовались переживания выдававшихся за здоровых душевнобольных с бредом воздействия, отношения, пре-

следования, с различными проявлениями синдрома Кандинского - Клерамбо ("отключения", "подключения", "наплывы", "остановки" мыслей и пр.)!

Если властный террор, демонстрировавшийся в нашей стране всему остальному миру, ни у кого симпатий не вызывал, то и "анти-террор" - разоблачения вслед событиям - мне лично неприятен.

А уж шумиха вокруг психически больного - тем более.

Представьте себе, что вы беседуете с немолодым интеллигентным человеком, с хорошей речью и манерами, со стремлением к взаимопониманию. И узнаете, что Евгений Иосифович - жертва психиатрического террора, диссидент, которого "органы" стремятся психически и физически уничтожить. А вы уже знаете из прессы о методах "обработки мозгов", "зомбировании", воздействии магнитными и электрическими полями СВЧ-диапазона. Евгений Иосифович не только подтверждает, он показывает результаты "воздействий" на себе: у него снижен слух, выпали все зубы, часто обостряется язва желудка (особенно при включении аппаратов). Все настолько реально и убедительно, что дрожь берет и хочется мобилизовывать, поднимать мировую общественность. А когда он рассказывает, как с помощью аппаратов "записываются и воспроизводятся" его мысли, как в "отделах зрительной памяти воспроизводятся картины дней заключения или сцены изнасилования жены и дочери", он слышит их крики о помощи, - тянет призывать к оружию или что-нибудь в этом роде.

А теперь выясним, в чем состояла "антисоветская деятельность" Е. И. Ч-ка, что за вражеские "документы" он готовил и размножал, как он удостоился такого интереса к своей персоне: техническая-то сторона "воздействий" и пр. по своей уникальности требовала колоссальных затрат.

Оказывается, наш герой-диссидент раскрыл заговор "мировой организации жидовского фашизма", обосновавшейся в нашей стране и осуществляющей влияние с помощью "радиоаппаратов" на миллионы людей. В своих листовках (которые клеил на железнодорожные вагоны) он призывает к перевороту, уничтожению руководителей партии и правительства, к массовым убийствам евреев. С помощью убористых, плотно написанных от руки печатными буквами стандартных текстов, расклеенных на летящих вагонах, он призывал народ подняться против мирового сионизма. Он открывал глаза тем, кто еще не знал, что "мульки - еврейский обман".

...Толковый, образованный психиатр, как и положено, лаконично оценивал состояние и поведение нашего диссидента:

“При внешней сохранности больной испытывает постоянные слуховые и зрительные галлюцинации и псевдогаллюцинации, наплывы ощущений, наплывы и обрывы мыслей, их озвучивание. Все эти явления носят характер чуждости, насильственности, постороннего воздействия. Выражены явления транзитивизма, переноса своих переживаний на других людей. Эти явления психического автоматизма сопровождаются систематизированным бредом преследования и воздействия с идеями переоценки собственной личности...”

“Беседе же на темы, не связанные с бредом, доступен мало, при этом груб, циничен, часто употребляет площадную брань...”

“В отделении упорядочен, но постоянно, несмотря на многочисленные замечания, курит в палате. Время проводит в постели, много читает художественной литературы, но никогда не смотрит телепередачи. С окружающими общается мало, держится высокомерно, обо всех говорит презрительно. Несмотря на острую антисемитскую окраску бреда, к евреям и тем, кого считает евреями, относится так же, как и ко всем остальным. Большую часть дня пишет письма в различные правительственные органы, совершенно одинаковые по стилю и содержанию...”

Кажется, достаточно.

Евгений Иосифович Ч-к - душевнобольной, страдающий парафренией. Это нечастое психическое заболевание, характеризующееся систематизированным бредом, галлюцинациями, синдромом Кандинского-Клерамбо во всех его ипостасях, прогрессирующими идеями мессианства и величия.

За все свои симптомы и синдромы, за свою болезнь Евгений Иосифович расплачивался судами, тюрьмами, этапами, принудками. И был он больной и слабый человек, которого государство равнодушно перемалывало в жерновах правосудия.

Не менее кощунственной мне видится и всякая попытка использовать бредовое поведение и нелепую “борьбу” как доказательство государственной инквизиции здоровых людей.

Наконец об антисемитизме Ч-ка. Действительно, Беринский прав? (См. “Корсаковский синдром по-антисемитски”). Никогда ни в поведении, ни в контактах Ч-ка не было юдофобства. А бред - нелепый, безумный, “острый, как профиль Гитлера”, со слов одного больного, был наполнен пещерной ненавистью...

Лев, отзовись!

ДРУГОЙ СЛУЧАЙ

Володя К-жрый едва не стал мировой знаменитостью...

Он почему-то сильно не любил власть, и не вообще, а советскую. Поэтому решил оставить ее, уйти в другое государство (например, в ЮАР - организовать там революцию, или в Штаты - помочь с капитализмом...). И сделал это самым простым путем - пешком. Естественно, был задержан и арестован. Как старый психиатрический пациент обследован стационарно в Душанбе, направлен в спецпсихбольницу в Днепропетровск на принудительное лечение, потом переведен в психбольницу общего типа, вновь возвращен в спецпсихбольницу - не хотел принимать лечение, все собирался бежать в Африку. Потом "отпущен" в психиатрическое заведение общего типа - к нам.

Жена Володи, не верившая в его психическое заболевание, обратилась в Международный комитет по правам человека, рассказала журналистам, как ее мужа принудительно держат в психиатрических больницах за то, что он не хочет жить в этой стране.

Известность Володи бежала впереди него.

В областную психбольницу, куда К-жрый был доставлен из нашего стационара, приехали три эксперта из Европейской психиатрической ассоциации. Володя вел себя нелепо, обнаруживал эмоциональное оскудение, отрывочно и непонятно говорил о воздействии на него "всяких глаз", заявлял, что у него в мошонке "птички". Эксперты уехали озадаченными.

А потом К-жрый с сопровождающим его врачом поехал в Москву, где его еще раз смотрели европейские психиатры. Интерес к Володе угас.

Жена, убедившись, что этим путем ей не выехать ни на Запад, ни даже в Африку, оставила его. Принудительное лечение с К-жного сняли после московского консилиума. А вот выписывать - некуда.

Сенсация не состоялась.

МУЗА ЖЕЛТОГО ДОМА

*В давние уже времена (XIX век и раньше)
связанные с психиатрией помещения
окрашивались в желтый цвет. Если бы меня
тогда спрашивали, я бы не рекомендовал...*

У Горького примерно тридцать героев, наделенных признаками психического заболевания или неадекватного поведения. Насколько

вправе (и нужно ли?) психиатру заниматься анализом “образов” - нереальных, синтезируемых мыслью писателя?

Авлипий Давидович Зурабашвили, грузинский академик, считал, что художественное описание психической патологии “трудно используется клиникой”. Деликатно.

А вот Освальд Бумке, немецкая знаменитость, лет за сорок до Зурабашвили оценивал художественную психиатрическую литературу иначе: “Психопатология, которая пожелала бы вовсе отказаться от литературных воспроизведений, должна была бы отказаться и от самой себя”.

И Михаил Иванович Буянов уверен, что литературно-художественный материал несет “громкую научно-познавательную информацию”, убедительно ссылаясь на клиническое предвосхищение на многие десятки лет описания ряда психопатологических картин Н. В. Гоголем (“Записки сумасшедшего”), Ф. М. Достоевским (“Двойник”). Тому примером уникальное своеобразие черт литературных образов, вошедших в клиническую синдромологию: синдром Алисы в Стране Чудес, синдром Мюнхгаузена, синдром Агасфера, пиквикский синдром и др. М. И. Буянов пишет: “Литература отражает жизнь - эта аксиома убедительно подтверждается даже такой удаленной от художественной литературы формой действительности, как психиатрия. Медицина и литература взаимопроникают друг в друга. Именно писатели и поэты нередко первыми замечают нарушения, за исследования которых медики принимаются, как правило, спустя много лет... Искусство и литература дают психиатрии не меньше, чем психиатрия дает им”.

Всякое образное (литературное, изобразительное) представление психопатологической картины естественно настраивает профессиональное мышление психиатра на его анализ - и чем точнее и адекватнее выписан образ, тем глубже понимается психопатология. Художественное изображение психопатологии при всех его “недостатках” (сборность впечатлений писателя, известная их эмпиричность, использование психопатологических картин в целях повышения сценической эффектности и эмоционального воздействия) имеет то несомненное достоинство, что помогает врачу увидеть психический мир больного “в разрезе”, “изнутри”, в период, когда у него изменен, сдвинут контакт с внешним миром, а от понимания и верной оценки состояния зависит судьба пациента.

М. Горький - один из немногих художников, умевший не только тонко видеть и чувствовать психопатологию, но и сопереживать, вос-

производить с необычайной художественной яркостью картины психических заболеваний.

“...Вот уже несколько месяцев с Кириллом Ивановичем творилось что-то неладное. В голове глухо шумело, и ему казалось, что она налита чем-то глухим и тяжелым, что больно давит на глаза изнутри, стремясь излиться наружу. Цифры с карточек то вдруг исчезали, то появлялись и снова холодно и сухо свидетельствовали о чем-то; иногда они уменьшались до крохотных, неясных каракулек и вдруг вырастали в крупные, страшные и поджарые фигуры... Ярославцев следил за их игрой и чувствовал, что в нем, где-то глубоко, вырастает и формируется тяжелая и беспокойная мысль. Она была еще неясна ему, но она непременно появится, и тогда ему будет еще хуже и больнее, чем теперь.

Последнее время его стали все чаще и чаще преследовать эти мысли, гнетущие душу. Окрашивая все в темный цвет, сырые и холодные, точно осенние тучи, они оставляли за собой ржавчину тоски и тупого равнодушия ко всему.

Наконец он привык к ним и только чувствовал смутный страх, когда они давали знать, что идут на него. Потом этот страх временно исчезал, подавленный работой, и вдруг через некоторое время являлся снова. Но он являлся уже в новой форме - в форме тоскливой, ожидающей, неотвязной боязни, которая все возрастала и все напряженнее ждала какого-то страшного факта...”

Это - строки из рассказа А. М. Горького “Ошибка”. Герой рассказа, сельский учитель Кирилл Иванович Ярославцев, одинокий, психически тяжело больной человек.

Усиливается, все стремительнее нарастает разлад в душе Ярославцева. Учитель превращается в аутичного, свернутого внутрь, погруженного в мир собственных переживаний больного. Внутренняя жизнь подавлена и окрашена в депрессивные тона, все четче выступают ассоциативные автоматизмы, чувство обнаженности, открытости. И еще одна метаморфоза в душе Кирилла Ивановича: чувство раздвоенности, душевной диссоциации, когда он начинает жить “как бы расколотый на две части, причем одна, от времени становившаяся все меньше, жалобно и беспомощно следила за другой...”

И вот по стечению обстоятельств Ярославцев должен дежурить у постели больного сослуживца Кравцова.

Известна реальная основа этого литературного образа. В 1891 году молодой А. М. Пешков, будучи в Тбилиси, вступил в кружок Н. Я. Началова, служащего Управления Закавказских железных дорог,

находившегося под гласным надзором полиции. Здесь он через доктора Н. Худадова познакомился с Гола Читадзе, страдавшим, по-видимому, маниакально-депрессивным психозом и закончившим жизнь в тбилисской психиатрической больнице. С прототипом Кравцова - Г. А. Читадзе - М. Горькому пришлось провести один на один девять дней.

“...Давно уже все считали его человеком ненормальным, и он каждый раз подтверждал этот взгляд, высказывая сегодня желание учиться математике, чтобы познать тонкости астрономии; завтра - уйти в деревню, чтобы обрести там равновесие души; уехать в Америку и бродить в степях, конвоируя гурты скота; поступить на фабрику, чтобы развивать среди рабочих теории социализма; учиться музыке, ремеслу, рисованию. Необходимость для себя всего этого он доказывал всегда уверенно и ясно, а если его оспаривали - с бешеной горячностью...”

Встреча Кравцова с Ярославцевым оказалась роковой для большого мозга Кирилла Ивановича. Находящийся в маниакальном возбуждении Кравцов рисует Ярославцеву иллюзорные картины всеобщего благоденствия и счастья, он видит себя учителем и пророком тысяч людей и строит для них в пустыне “будку всеобщего спасения”. Выраженная мания переходит в стадию маниакального неистовства, Кравцов уже только выкрикивает отдельные слова и фразы. А Кирилл Иванович с восторгом слушает своего учителя...

Утром их обоих отвозят в больницу.

Алексей Максимович посещал лекции В. М. Бехтерева в Казани, он знал и был дружен со многими психиатрами (П. П. Кашенко, М. Г. Фальком, П. Д. Трайниным, И. Б. Галантом). Рассказ “Ошибка” написан в 1896 году. Знал ли Горький синдром деперсонализации Дюга или синдром психического автоматизма тогда еще только одного Кандинского? Вероятнее всего - нет (хотя описание синдромов совпадает по времени с опубликованием “Ошибки”). Но о том, что он увидел и почувствовал формы проявления их, можно говорить с уверенностью. Высокую клиническую достоверность приведенных случаев скорее следует объяснять не профессиональным знанием предмета, а тончайшей художественной интуицией, образностью и емкостью горьковского видения мира. Чтобы написать: “На выздоровление Кравцова есть надежды, на выздоровление его ученика - нет”, нужно знать еще и прогнозы при шизофрении и маниакально-депрессивном психозе.

В небольшом автобиографическом рассказе “О вреде философии” М. Горький описывает онейроидный синдром, и это описание по

своей яркости и научной точности может соперничать с описанием этого болезненного состояния в руководствах по психиатрии.

Поиски истины, страстное желание определить себя, свое место в жизни привели молодого человека из провинциального городка к знакомству со студентом-химиком Николаем Захаровичем Васильевым. Прекрасный человек, великолепно образованный, Н. З. Васильев знакомит юношу с философскими теориями создания мира.

“Я напряженно слушал пониженный голос товарища, он интересно и понятно изложил мне систему Демокрита, рассказал о теории атомов...

Уже ночь наступила, в соседнем доме психиатра Кащенко трогательно пела виолончель...

Но на другой день Николай развернул передо мною жуткую картину мира, как представлял ее Эмпедокл”.

Впечатлительный, тонко чувствующий, одинокий юноша потрясен рассказом студента-химика.

“Жуткие ночи переживал я. Сидишь, бывало, на Откосе, глядя в мутную даль заволжских лугов, в небо, осыпанное золотой пылью звезд, - и вдруг начинаешь ждать, что вот сейчас, в ночной синеве небес, явится круглое черное пятно, как отверстие бездонного колодца, а из него высунется огненный палец и погрозит мне...”

Я видел нечто неопишимо страшное: внизу огромной бездонной чаши, опрокинутой набок, носятся уши, глаза, ладони рук с растопыренными пальцами, катятся головы без глаз, идут человечесьи ноги, каждая отдельно от другой, прыгает нечто неуклюжее и волосатое, напоминающее медведя, шевелятся корни деревьев, а ветки и листья живут отдельно от них: летают разноцветные крылья, и немотрают на меня безглазые морды огромных быков, а круглые глаза их испуганно прыгают за ними... вся видимая мною внутренность чаши заполнена вихревым движением отдельных членов, частей, кусков, иногда соединенных друг с другом иронически безобразно...

За рекой, на темной плоскости, вырастает, почти до небес, человеческое ухо, с толстыми волосами в раковине, обыкновенное ухо, вырастает и - слушает все, что думаю я...

Ночной сторож несколько раз поднимал меня на верхней аллее Откоса и отводил домой...

Да, надо было что-то делать. От этих видений и ночных бесед с разными людьми, которые неизвестно как появлялись передо мною и неуловимо исчезали, едва только сознание действительности возвращалось ко мне, от этой слишком интересной жизни на границе безумия необходимо было избавиться...”

Такое состояние со все нараставшими зрительными и слуховыми галлюцинациями, нарушением цельности восприятия окружающего мира и самого себя привело героя рассказа к психиатру.

“Маленький, черный, горбатый психиатр, человек одинокий, умница и скептик, часа два расспрашивал, как я живу, потом, хлопнув меня по колену странно белой рукой, сказал:

- Вам, дружище, прежде всего надо забросить ко всем чертям книжки и вообще всю дребедень, которой вы живете... Вам необходим физический труд...”

Вряд ли возможно и целесообразно ставить диагноз в приведенном случае (хотя в довоенной литературе даже встречается термин *delirium Gorki*) - без объективного обследования это теряет смысл. Зная, однако, клинику истерических психозов, можно поверить в реальность пережитого болезненного состояния, воспроизведенного психологически тонко и художественно ярко.

История Константина Миронова (повесть “Голубая жизнь”), написанная Горьким на основе рассказа земского врача А. Н. Алексина, - это мастерски записанная история болезни и “излечения” хозяина “Переплетного заведения” на Морской улице.

Сын больного туберкулезом и алкоголики, Миронов растет робким, застенчивым юношей, он стеснителен, не способен ни на какие решения и поступки, его постоянно преследуют навязчивости. Лишь изредка у него проявляется жалостливая любовь к отцу, в остальное время он полностью к нему равнодушен. Он боится матери, боится о чем-либо думать, избегает общения с людьми. Вялый, постоянно испытывающий неопределенные нервные явления, Миронов к двадцати годам напоминает тяжелую невротическую личность, астенического психопата.

Уходя в поле, он может часами лежать в траве, ни о чем не думая, ничего не делая, и тогда окружающая действительность теряет для него плотность, становится неясной, расплывчатой.

“Иногда он брал с собой французскую грамматику и читал ее, стараясь запомнить четкие слова, но память не удерживала их, и, не слагаясь в понятную речь, они таяли, превращаясь в необыкновенные сочетания красивых звуков, в голубую музыку...”

Преобразования “четких слов” в “голубую музыку”, необычные, новые черты личности Миронова становятся все более очерченными. Клинически это - фотизмы, синестезии (цветная музыка). Вообще он наполнен психопатологией: странные, тревожные в своей бессмысленности полусны, апатия, лишенная слов, образов, какие-то невнятные

мысли, расплывающиеся, смутные ассоциации, паралогизмы, символы, наплывы мыслей, соскальзывания... Для психопатолога полный курс.

“Я очень умный, очень догадливый, это потому, что я не люблю думать...”

...кажется, что в тебе двое, один знает, другой путает...

Вот небо, простое слово, но влечет за собою - не боюсь! Или: надоел - надо есть.

Он засмеялся в лицо старухи Павловны, незаметно явившейся перед ним, - пошел по комнатам, осматривая, оценивая мебель, цветы, и быстро сосчитал, что все это надо продать за четыреста семьсот рублей.

- Так не считают, - вслух поправил он себя, - это будет тысяча сто.

Но он почувствовал, что ему приятнее считать именно в двух числах - они давали вдвое больше нолей, чем тысяча сто, а в нолях такая утешительная простота.

- Ноли-ноли-ноли, - напел он“.

Оставшись один, он еще более теряется в жизни и, совершенно безвольный и жалкий, полностью отдает себя во власть столяра Каллистрата. Фигура Каллистрата могла бы служить великолепной иллюстрацией к главе об истерических формах психопатии. Он любопытен и капризен, лжив и театрально заботлив. Опека своего соседа может стремительно смениться подлостью по отношению к нему же, он подвижен, несдержан, любит яркие цвета и краски. Вот он красит сметаной забор Миронова, перекрашивает весь дом в голубой цвет, пишет дегтем на крыше “Дом сумасшедшего” или расписывает слуховые окна головами фантастических чудовищ.

“- Глупость, конечно, молодость, ночей не спишь, все думаешь: как отличиться?..“

Много лет спустя П. Б. Ганнушкин так описывает истерические характеры:

“Во внешнем облике большинства представителей группы, объединенных этими свойствами, особенно обращают на себя внимание ходульность, театральность и лживость. Им необходимо, чтобы о них говорили, и для достижения этого они не брезгают никакими средствами. В благоприятной обстановке, если ему представится роль, истерик может и на самом деле “отличиться”... Их эмоциональная жизнь капризно неустойчива, чувства поверхностны, привязанности непрочны и интересы неглубоки; воля их неспособна к длительному напряжению во имя целей, не обещающих им немедленных лавр и восхищения со стороны окружающих...”

Сходство обеих картин поразительное.

Мионов испытывает животный страх перед Каллистратом, но не может найти силы отказаться от его “забот”. И в результате - срыв. Психоз раскрывается в пышном бреде преследования, с парадоксально-неадекватными реакциями, немотивированными, неожиданными поступками. Буквально на нескольких страницах М.Горький выписывает психический статус Миронова:

“Был такой момент: вдруг все сжималось тяжелым комом и сбрасывало Миронова в черную пустоту, в безмолвие, в неподвижность.

Этот момент наступил, когда уже возшло солнце, облив стекла окна расплавленным жемчугом, - Мионов оглушенно свалился в постель, уснул, но тотчас же, как показалось ему, был разбужен странным каким-то скрипом.

В комнату вошел человек, одетый в желтое, пронзительно скрипя, он бесцеремонно сел в кровать, взял руку Миронова одной своей коротенькой влажной рукой, вынул из кармана часы и, глядя на них, спросил высоким голосом в тоне старого приятеля:

- Ну, что же мы чувствуем?

- Ничего не мычу чувствуем, - сердито ответил Мионов.

- А что же вам болит?

- Что такое вамболит? - задорно и насмешливо ответил Мионов.

- А спали как?

- Лежа.

Мионов засмеялся, восхищаясь бойкостью и остроумием своих ответов“.

Потом - галлюцинации, жуткое желание спрятаться, бежать от столера Каллистрата, попытка выброситься с чердака и - психиатрическая лечебница.

Прошло время, и автор рассказа вновь встретился с Константином Мироновым, теперь уже хозяином “Переплетного заведения”. Перенесший шуб (приступ, острый период), новый Мионов взамен гротескной и нелепой психической хрупкости, инфантилизма приобретает теперь черты плоского мещанина, по-своему расчетливого, хитрого, презирующего любой другой образ жизни, кроме своего. Совершенно четко выступают элементы психического дефекта личности с эмоциональной косностью, уплощением, шаржированием всех черт человеческой души.

Интересен с психопатологической точки зрения и образ Симы Девушкина из повести “Городок Окуров“.

Безродный и бездомный юноша, высокий, сутулый, с большой

головой на длинной шее, с круглым туповатым лицом, физически слабый и болезненный - таким предстает перед нами поэт из заброшенного уездного городка. Его стихи монотонны, однообразны, наполнены глубокой и безнадежной тоской. Свои стихи он читает тихо, невнятно, будто извиняясь или стыдясь их. Весь облик этого человека очень схож с клиникой астено-органической психопатии.

В рассказе “Уми” (цикл “Крымские рассказы”) М. Горький психологично и ярко описывает психически больную женщину, муж и дети которой несколько лет назад ушли ловить рыбу в море и все еще не вернулись. Старая женщина никогда не покидает берега моря в ожидании своих близких, часами поет тоскливые песни и, не мигая, всматривается в горизонт. По-видимому, речь в данном случае идет о затяжной реактивной депрессии в позднем возрасте.

Целая галерея душевнобольных, “юродивых”, “блаженненьких” проходит в небольшом горьковском воспоминании “Как я учился писать”.

Творческое наследие писателя - неисчерпаемый источник эмоционального восприятия и размышлений. В 1928 году профессор И. Б. Галант писал: “М. Горький... дал лучшие художественные картины психических заболеваний, какие только существуют в русской и, пожалуй, всемирной художественной литературе”.

ПЕЧАЛЬНАЯ СЕСТРА ПОЭЗИИ

Конечно, речь идет о депрессии, о душевном состоянии, которое посещает любого человека хоть однажды в жизни.

Я помню, как по совету врачей, уже после “Гамлета” и тяжелого депрессивного цикла, великий артист Иннокентий Михайлович Смоктуновский был приглашен на телевидение. Он сидел за своим столиком, ссутулившись, как большая больная птица, замкнутый и все еще больной. Кокетливая ведущая поздравила его с “Гамлетом” и говорила всякие слова. Смоктуновский не слышал ее и, по-моему, не видел. Потом она попросила его “прочитать что -нибудь”. Он, смежив веки, сидел перед экраном, потом как-то бесцветно сказал:

- Шекспир. Сонет номер шестьдесят шесть.

Те, кто слышали, не забудут.

Зову я смерть. Мне видеть невтерпеж

Достоинство, что просит подаанья...

.....

Все мерзостно, что вижу я вокруг,

Но как тебя покинуть, милый, друг?

Так читать мог только он, тоскливый и печальный Смоктуновский. Страна ахнула. Она коснулась депрессивного отчаяния. И поняла это. Моя больная, Варвара Ивановна, с частым депрессивным радикалом говорила мне:

- Я это не знаю, я это *очущаю*...

Язык депрессивных состояний общепонятен. Белла Ахмадулина, приемная антенна человеческих чувствований, так сказала:

Работу малую висок

Еще вершит. Но пали руки.

И стайкою наискосок

Уходят запахи и звуки...

Когда это уже произнесено, обнаруживается, что по-другому сказать нельзя. Депрессия иначе и не осязается.

Депрессологи (есть такие) примерно делят меланхолии на две формы: связанные с течением жизни, обстоятельств и живущие по своим неведомым знакам и законам. По первым “правилам” живем мы все, и движет нами тайный или явный страх, а также обиды, реакции, драмы и тупики. Это - психогенные депрессии и депрессивные неврозы.

Другие депрессии - фата-моргана, мерцание звезды, цепи молекул и циклов. Когда все на контрастах, на напряжении - получается маниакально-депрессивный психоз (МДП).

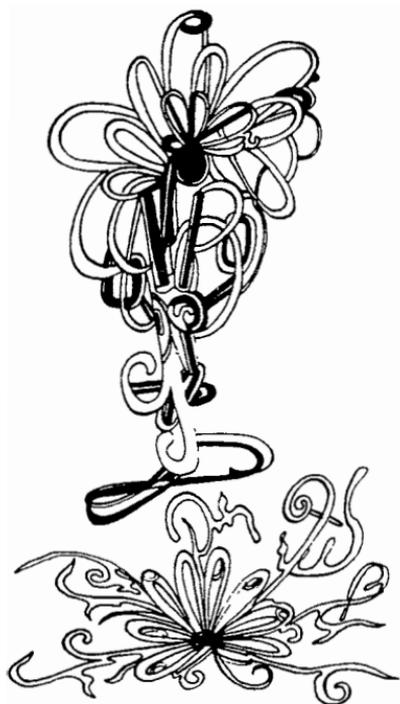
Есть МДП биполярный, там циклы меняют друг друга, толпятся в своей очереди: маниакальную фазу послушно сменяет депрессия. Маниакальную фазу можно увидеть в жизни, можно познать из литературы (например, горьковский рассказ “Ошибка”). Отец моего товарища, находившийся в состоянии маниакального возбуждения, за ночь выкрасил красной краской ворота на всей улице, что обошлось его жене в копейчку.

Депрессивная фаза - наш рассказ.

Помимо биполярного, “посменного” течения МДП, случаются монофазные психозы: депрессия... пауза... депрессия... или мания... пауза... мания... Это - редуцированные циклы.

Клиническая выраженность симптомов - еще одно качество циклического процесса. Если симптомов “много”, они ярко выражены, и без лечения не обойтись - это МДП, несомненно. И чтоб не взять грех на душу, уговаривай, объясняй, доказывай необходимость госпитализации. Если течение циклов “мягкое” и больше в рамках расстройств поведения, то называется эта болезнь - циклотимия.

Александр Сергеевич Пушкин был циклотимиком, причем если у



“нормальных” циклотимиков весна - подъем, осень - спад (активности, творчества, идей), то наш поэтический гений имел “перевернутый” цикл - отсюда потрясая мир “болдинская осень” и такие нестабильные, трудные весны.

И морской лейтенант Петр Петрович Шмидт, блестящий офицер и большая совесть первых русских революций, тоже страдал циклотимией, за что и был расстрелян по приговору суда 6 марта 1906 года на острове Березань.

И писатель Всеволод Михайлович Гаршин, покончивший с собой в период депрессии...

Все движется в мире по принципу пик - спад, волна, отмашка, пауза. Человек - а

обостренная творческая личность тем более - физически несет в себе колебания и циклы. Поэтому и циклотимная суть творческих и витальных (жизненных) циклов очевидна: качели...

Но и в нижней, темной части своей душа не отдыхает. Она - болит.

В этом аспекте нужно знать о ларвированных, скрытых депрессиях. Человек не может понять, что тревожит его, что так печалит. Вроде бы это сердечные боли... Он идет к кардиологу, и тот непременно находит какую-то патологию (что за кардиолог, если он патологии не находит!). Но ведь это же боли и в эпигастрии, которые могут возникать и при нарушениях в поджелудочной железе, желчном пузыре, желудке, - и он идет к терапевту... Но ведь это и суставные боли, и расстройства сна, и всякая гинекология... И тоскливый человек ходит, надеется, ждет, пока - случайно или нет - сталкивается с психиатром. И назначение антидепрессанта “вдруг” снимает телесные недуги.

Очень тревожны психические расстройства при туберкулезе, когда встречается весь набор “малой” психопатологии: раздражительность, плаксивость, демонстративность, масса истерических стигм, эйфо-

рия, беспечность, дурашливость, инфантилизм - депрессия в этом доме и не ночевала. И вдруг - смерть в петле, на перекладине кровати, последний полет с утеса или санаторного балкона.

Депрессия вспыхивает внезапно, спонтанно, уничтожая остальные посевы...

Чем отличается человек с депрессией от человека, рассказывающего, что у него "самая настоящая депрессия"?

Депрессивный больной живет в стране своих переживаний. Он - невыездной. Все мрачно, постыло, печально - нигде никакого луча. Это солнце (если сегодня солнечно) только подчеркивает его тревогу и ненужность. Эта зелень окончательно подавляет надежды и дает знать о близкой осени и конце. И утро мрачное, и день... Вот так ушел из жизни окруженный доброй, ласковой женой, тремя богатырскими сыновьями, внуками мой пациент Лазарь Дмитриевич Д., так и не увидев своей греческой Эллады. Он не жаловался, не просил, он тихо вздыхал. И антидепрессанты его не брали.

Худший час в жизни депрессивного больного - утро. Именно в эти часы большинство их несчастий. К вечеру, похоже, тучи немного рассеиваются, но вот просыпаться и жить... Пациенты, жалующиеся на "жуткую депрессию", - другие.

Все люди, заболевая или уже болея, нуждаются в помощи.

Депрессивные больные и дети - больше других. Им еще нужна часть нашего сердца.



„Без преувеличения можно сказать, что такой книги об израильской кухне еще не было“.
Вести

„Кухня Шулы – это предложение нанести визит на кухню с гарантией „Не пожалеете““.
Время

„На каждой странице находишь что-то, что возвратит тебя в мир детства с его сладкими снами, в мир, который никогда не повторится“.
Новости Недели

КУХНЯ ШУЛЫ – израильская поваренная книга, более 100 недель возглавляющая список бестселлеров. Перевод с иврита.
Израиль: 79 шек, За-границей – 20 долларов.

МЕРКУР, ул Дов Хоз 7/7, Тель-Авив. Тел: 03-527401

Александр Генис

НЬЮ-ЙОРКСКИЕ ТЕНИ

Когда отпрыск древнего французского рода Адельберт Шамиссо бежал в 1796-м году от ужасов революции в Германию, ему было всего 15 лет. Но никогда, даже став известным немецким поэтом, Шамиссо не забывал о своем статусе человека, потерявшего родину. Делясь опытом, он написал сказку - "Необычные приключения Петера Шлемилля". Эта маленькая книжка обессмертила автора и обогатила немецкий словарь, сделав нарицательным имя главного героя.

Фамилия "Шлемиль" происходит от еврейского слова, означающего размазну, простака, неудачника, умеющего заключать только невыгодные сделки. Как раз такую, как герой Шамиссо, продавший дьяволу свою тень за кошелек неразменных червонцев. Очень скоро Шлемиль обнаружил, что в нашем мире "тень уважают еще больше, чем золото". Сперва он пытался выкручиваться. Одним Петер объяснял, что "прошлой зимой, когда он в трескучий мороз путешествовал по России, его тень так крепко примерзла к земле, что он никак не мог ее оторвать". Другим рассказывал, что "какой-то олух так неудачно наступил на мою тень, что продырявил ее насквозь. Пришлось отдать ее в починку". Увертки, однако, не помогали: ни богатство, ни честность, ни щедрость не заменили Шлемиллю пропавшую тень, без которой его не признавали за человека. Отчаявшись найти свое место под солнцем, он менял адреса, как перчатки, собирая по пути коллекцию растений.

Шлемиль с легкой душой отдал тень дьяволу, думая, что ему она не нужна. Но оказалось, что без тени человек неполон. Оставшись без нее, мы лишаемся бездны, а значит - глубины. Нарушение естественного баланса чревато смертным светом безжизненности. На этой теневой диалектике построен псевдохристианский роман Булгакова. "Мастер и Маргарита" - не проповедь торжествующего

добра, а манифест вечного порядка, гарантом которого служит равновесие между утверждением и отрицанием, между янь и инь, между светом и тьмой: “Что бы делало добро, если бы не существовало зло, и как бы выглядела земля, если бы с нее исчезли тени? Вот тень от моей шпаги. Но бывают тени от деревьев и от живых существ. Не хочешь ли ты ободрать весь земной шар, снеся с него прочь все деревья и все живое из-за твоей фантазии наслаждаться голым светом?” Не было у тени лучшего защитника, чем Воланд, что и не удивительно, если вспомнить о его профессии.

Хотя тень бывает только у тела, ее часто считают душой, точнее - ее изнанкой. Юнг, например, взваливая на тень тайные порывы, темные страсти и смутные вожеления, называл ее “внутренним” дикарем. Обычные “дикари” с этим не спорили. В архаических культурах к тени относились с большим уважением, чем к себе, и следили за ней, как кот за хвостом. В тени видели сверхъестественное продолжение человеческого естества. Фрезер в “Золотой ветви”, этой библии первобытной культуры, пишет, что индейцы запрещали под страхом смерти наступать на чужую тень - особенно если она принадлежала теще. Тени окружают человека, как свита - короля. Стоит ее отнять, и он зачахнет в одиночестве, как Лир, отрекшийся от престола.

Тень и отражение связаны друг с другом, как негатив с позитивом. Поэтому и табу у них общие. Отражение, как все живое, но бестелесное, обладает магической властью над тем, кого оно отражает. В Древней Греции существовал неписанный закон, запрещавший смотреть на свое отражение в воде. О том, что получалось, когда его не соблюдали, рассказывает история Нарцисса, не сумевшего оторваться от того, что он увидел в ручье. Чтобы не повторить его судьбу, дикари всех стран боялись фотографироваться. Тиражируя свой облик, справедливо считали они, человек теряет врожденную уникальность, постепенно становясь тем, что постмодернизм назвал симулякром: копией без оригинала. Предусмотрительно оберегая себя от этой участи, король Сиама вплоть до XX века запрещал чеканить свое лицо на монетах, боясь, что вместе с ними его жизнь “распылится мелкими кусочками по всей стране”.

На Балканах до недавнего прошлого старались заманить случайного прохожего на строительную площадку, чтобы установить краеугольный камень в его тени. Через сорок дней после этого человек умирал, зато дом стоял веками. В Трансильвании, как пишет тот же Фрезер, “существовали даже торговцы тенями, чье ремесло заклю-

чалось в поставке архитекторам теней, необходимых для придания прочности стенам. В таких случаях снятая с тени мерка рассматривалась как эквивалент самой тени, и зарыть ее значило зарыть жизнь или душу человека, который, лишившись ее, должен умереть“.

В своей сказке Шамиссо нигде прямо не объясняет, что он понимает под тенью, но его читателям легко догадаться: речь идет об утраченной отчизне. У них и правда немало общего. Потерять тень трудно, как родину: мы к ней так привязаны, что она не отвязывается, даже если очень стараться. Привычно, незаметно, неумолимо она следует за нами. От нее нельзя избавиться, как от снов и воспоминаний детства. Она не отстает и тогда, когда мы о ней забываем. Нерушимость этого союза вызывает тот священный трепет, который пытается внушить нам Родина, когда ее пишут с большой буквы. Достаточно, впрочем, и маленькой, чтобы она волочилась, то отставая, то обгоняя, но никогда не отходя ни на шаг. Тень может скрыть темнота, акцент - молчание, горбатого исправит могила.

Отношения с тенью строятся на невольности - она следует за нами, повторяя наши жесты. Со стороны кажется, что мы подчинили ее себе, но в сущности мы умеем управлять ею не больше, чем собой. Мы, конечно, можем заставить тень плясать под свою дудку, но, как и нас, вырастить ее способно лишь время. Когда Солнце клонится к западу, тени растут сами собой - молчаливо и неостановимо, как седина.

На этом сходство кончается. Старая вместе с нами, тень - в отличие от нас - каждый полдень рождается заново. Синхронность наших движений создает иллюзию симметрии. Тень копирует жесты, но она вовсе не похожа на нас. В ней нет глубины и смысла, которые мы приписываем себе. Признавая только свет и его отсутствие, тень, как шахматы, не отличает оттенков. Оставляя нас без подробностей, она рисует характерный, как в шарже, профиль. Тень - двумерное изображение личности. Ей свойственна бездумная и пугающая простота контурной карты. Фальшивый двойник, она - не столько копия, сколько схема, прототип, эмбрион, чертеж, первый набросок человека. Говорят, что так родилось искусство: первый художник очертил мелом свой силуэт. В Нью-Йорке так делают до сих пор, но лишь с покойниками и только полиция.

Нью-Йорк всплыл не случайно. Дело в том, что, оставшись без тени, Шлемиль пытался ее найти в самых дальних уголках земного

шара. Сперва она казалась ему бесполезней аппендикса, но, лишившись ее, он понял, что тень служит корнями, которые можно пустить и в чужую почву. Оснащенный семимильными сапогами, Петер Шлемиль (как и его совершивший кругосветное путешествие автор) тщетно рыскал по всей планете - от Самары до Гоби, от Патагонии до Аляски. Не добрался он только до Нью-Йорка, и зря, ибо нет на земле места, где легче жить без тени или вырастить себе новую.

Любимый приют изгнанников, Нью-Йорк - город иноземцев, может быть даже - инопланетян. Как искусственный спутник Земли, он стоит в стороне от нее. Возникший без претензии на историческое величие, Нью-Йорк рос естественным путем. В нем нет никакой умышленной идеи, более того - у него нет даже своего лица. Уникальность Нью-Йорка лишь в его всеядности. Он сворачивает вокруг себя пространство и время. Его нельзя назвать городом одной эпохи, он не принадлежит ни одной культуре, ни одной истории, ни одной расе. Нью-Йорк - совокупность всего, сумма человеческой природы, включающей и все теневое, темное, низкое, злое в ней. В нейтральности и ничейности Нью-Йорка - его безмерная притягательность. Здесь нет общего знаменателя, и потому в Нью-Йорке так просто стать самим собой. Он ничего другого и не требует от человека, даря ему высшую свободу - безразличие.

Прилепившись к самому краю Америки, Нью-Йорк служит транзитом между тем светом и этим. Не удивительно, что тени чувствуют себя здесь так привольно: это их страна. Но виновата в этом не злое потусторонняя география, а безалаберная городская архитектура. Нью-Йорк - это оправленный в цемент случай. Все главное в этом городе уместилось на узком островке. Вынужденный ютиться там, где его основали напуганные индейцами голландцы, Нью-Йорк превратил равнинный ландшафт в альпийский. Параджанов, впервые увидев знаменитый манхэттенский абрис, с восторгом кавказца закричал: "Это же - горы!"

И правда - горы. Гряда небоскребов громоздится вдоль горизонта в восхитительном беспорядке: пьянящий произвол провидения исключает трезвую градостроительную логику. Лишенный ее рельеф тут не подражает природе, а является ею. Здешняя архитектура растет, как бамбук в джунглях. Не только так же быстро, но и так же непараллельно. Ни одно здание не учитывает соседа. Дома то кучкуются, где попало, то наползают друг на друга, то жмутся к земле, то пронзают небо. Единственный закон, которому подчиняется дикая градостроительная поросль, продиктован страхом остаться в тени. Дональд

Трампа, самый амбициозный из мириада строителей, мечтающих расписаться на Манхэттене, уже двадцать лет пытается водрузить 200-этажный дом и вернуть городу давно украденную у него славу столицы небоскребов. Осуществлению этого проекта мешает его тень, угрожающая покрыть собой лучшую часть острова. Раньше Нью-Йорк так не церемонился, из-за чего и вырос бесстыдно тесным. Этот город можно осмотреть либо сверху, либо со стороны. Оставив вершины посторонним, своих он поселил в ущелья. Издали Нью-Йорк - как пачка "Памира", внутри он - ловушка для теней.

Тень - живая часть города. Он будто дышит ею. Благодаря теням, неспособная к движению архитектура растет и опадает, как грудь олимпийца - размеренно, покойно. В замедленной съемке суток тень послушно следует распорядку дня. Подчиняясь часам и солнцу, она венчает архитектуру с астрономией.

Когда Нью-Йорк не может отбросить тени, он отражается в одном из тех водоемов, что делают его архипелагом. Ведь Новый Амстердам, как и старый, весь прочерчен замысловатой водяной сетью, которая умело ловит его отражения то в грязных каналах порта, то в морском языке Ист-ривера, то в гордом Гудзоне, то в отмеченном статуей Свободы заливе, куда стекаются нью-йоркские воды, чтобы соединиться с атлантической волной.

Тени и отражения умножают Нью-Йорк и путают его гостей - но не обитателей. Нью-Йорк - город платоников. Привыкшие жить в густом вареве миражей, они легче расстаются с иллюзиями, которые другие считают окружающим. На каждый дом в рецепте Нью-Йорка приходится столько бестелесных спутников, что привкус реальности делается почти неразличимым. Волоча за собой шлейф неощутимых эманаций, этот город ведет зыбкое, но бесспорное существование, о котором можно сказать то же, что Шопенгауэр писал о природе сновидения: нельзя утверждать, что сон есть, тем более - что его нет. (Сны и тени, говорил другой знаток вопроса Евгений Шварц, состоят в двоюродном родстве: "Люди не знают теневой стороны вещей, а именно в тени, в полумраке, в глубине и таится то, что придает остроу нашим чувствам").

Самое странное в сновидении - не что в нем происходит, а с кем. Во сне субъект лишается центра самоидентификации. Это значит, что мы перестаем быть только собой. Сквозь истонченную дремой "Я" просвечивают чужие лица и посторонние обстоятельства. Осчастливленные ветреностью, мы бездумно сливаемся и делимся,

как амебы. При этом во сне мы перестаем считаться со всеми грамматическими категориями, включая одушевленность - как на картинах Дали, где вещи совокупаются без смысла и порядка: швейная машинка с зонтиком.

Тени и отражения делают видимыми сны города. Идя по нью-йоркской улице вдоль домов, сплошь покрытых зеркальным панцирем, мы попадаем в волшебный мир непрерывных метаморфоз. Как во сне, сквозь стену тут пролетает птица, тень облака служит шторой небоскребу, в который бесшумно и бесстрашно врзается огромный боинг. В этой скабрезной игре света и тьмы и нам достается соблазнительная возможность - слить свои тела со стеклом и бетоном Нью-Йорка. Для этого нужно смешать наши тени и отразиться вместе со всей улицей в зеркальной шкуре встречного небоскреба. Свальный грех урбанизма порождает сказочное существо - "людоград". Одушевленное сочетается в нем с неодушевленным как раз в той пропорции, которую предусматривает смутная органика теней и отражений, выталкивающая нас в другое - магическое - измерение.

Однажды на закате я показывал приезжему писателю вид, открывающийся с одной из двух 110-этажных башен Мирового торгового центра. Я хвастался панорамой, но зачарованный писатель с жадной завистью смотрел вниз. Там, на площади у фонтана копошился турист, жалкий и невзрачный, как все мы, когда на нас смотрят свысока. С крыши он казался не выше муравья, зато какая у него была тень! Смуглая, как Отелло, она занимала полнебоскреба. Раскинувшись на трехсотметровой стене, тень величаво жестикулировала, ведя немой диалог с облаками и горизонтом. Возможно, эта была тень Петера Шлемиля, которая искала себе нового хозяина.



ЗДЕСЬ и ТАМ - единственный справочник-путеводитель на русском языке по местам развлечений и приятного времяпрепровождения в Израиле для всей семьи. В нем описаны сотни мест отдыха, различные развлекательные и познавательные программы. „Здесь и там“ дает возможность познакомиться с новыми объектами и получить самые приятные впечатления от посещения тех мест, где вы мечтали побывать, но не могли из-за отсутствия информации.

Давид Цифринович-Таксер

САГА О БРАЙТОНЕ В СУДНЫЙ ДЕНЬ

Позвольте представить, Моисей Зямович Винокур, который вывел нас из Египта. Так утверждает напечатанное на обороте титульного листа его последней книги "Отобранное". Между прочим, всем, кто не падает в обморок от сочной лексики, гарантирую удовольствие с чтением того труда. Щадя здоровье тех, кто в обморок падает, я опустил одно емкое слово, определение кто мы есть, выведенные им из Египта. С полным текстом можно ознакомиться в первоисточнике (издательство "Библиотека Матвея Черного", 2000 год).

Так вот, Моисей Зямович, мой старый друг, коллега по перу и по исследованию языка фени. Исследования мы проводим, как правило, на выделенной ему мэрией Реховота усадьбе, она же территория для проведения торжеств по поводу и без повода на тысячу посадочных мест. Она же - спортивный комплекс, в коем он живет и тренирует молодое поколение в боксерских перчатках калечить друг друга.

Несколько слов о языке фене. Пожалуй, этот язык - то небольшое, в чем я ощущаю преимущество перед Моисеем Зямовичем, чем горжусь подобно славянофилу, который гордится знанием первоизданного русско-славянского. Свои познания в фене я получил сидя еще при Иосифе Виссарионовиче, а Моисей Зямович значительно позже, когда феню засорили всякими фраерскими словами, типа "прикид" и прочее. В то же время, я признаю, что Моисей Зямович может гордиться передо мной тем, что знает не только феню русскую, но также ее израильский вариант. Кроме советского лагеря он имел честь сидеть в нашей родной отечественной "крытке".

Обстоятельств его сидения в израильской крытке я касаться не буду, они описаны в его рассказах так ярко, как мне не описать, а

вот на обстоятельства ареста попробую потратить несколько фраз. Взятие Моисея Зямовича произошло в восемьдесят восьмом году, в то время он вел почти семейную жизнь по соседству от меня в Ришоне. Наши родные органы, по известным им каналам, получили донесение, что в шкафу меж трусиков его жены хранится противотанковая ракета ЛАУ, замаскированная ее же бюстгальтером. По иным данным, они узнали о том не из донесения, а потому, что в крайнем подпитии, возможно, по случаю выведения нас из Египта, Моисей Зямович среди бела дня выставил ту ракету в окно. Выставил, но не пулнул, жена не позволила. Вроде бы, она до кондиции, при которой возможна стрельба ракетами в мирном городе, еще не дошла. Скорее всего, эти иные данные - вымысел доносчика, с целью скрыть свое черное дело. Так, или иначе, за Моисеем Зямовичем пришли, когда он сидел за завтраком, перед недопитой бутылкой водки. Ворвались с автоматами наперевес и задали два вопроса. Вопрос первый, - где ракета? Вопрос второй, - зачем он ее хранит? "Что за хипеж? - ответил им Моисей Зямович на первый вопрос. - Держу ее в бельевом шкафу". На второй вопрос он сказал, что ракета хранится на случай прихода арабских братков, феню которых он не знает, потому будет вынужден говорить языком ЛАУ. В общем, операция по изъятию ракеты и аресту прошла в дружественной обстановке, так что Моисей Зямович перед уводом имел право обратиться к нашим ребятам с просьбой на минуту снять с него наручники, чтоб допить недопитое. Наши ребята не какие-то гебешники, которые допили бы сами, они даже поддерживали Моисея Зямовича, чтоб по дороге к "черному воронку" он не упал. Следующая моя встреча с другом произошла на суде, где жена известного деятеля, Бейлина, прокурор, пыталась из Моисея Зямовича создать подпольную антипартийную группу, что ей не удалось, но удалось засадить его, эдак, годика на четыре, без поражения "по рогам", поскольку это дополнение к наказанию имелось только в советском уголовном кодексе. Половину из того срока ему назначили как условную, так что через два года мы получили возможность продолжить наши исследования.

Однако все вышесказанное - присказка, согласное с названием последует ниже. Дело в том, что в кои-то веки я собрался к сыну в Нью-Йорк, о чем, конечно, стало известно другу моему, с элементарной биографии которого я вас уже ознакомил.

- Ба! - вскричал Моисей Зямович. - Вот оказия. Не помню, рас-

сказывал ли тебе, что сидел с одним крутым парнем по имени Моня Элсон. В израильской тюрьме мы с ним хавали пайку - курицу пополам. Так вот, Моня теперь тянет в Америке столько пожизненных, что на всю жизнь хватит его внукам носить передачи, если его жена, Марина, сумеет забеременеть в комнате свиданий, потом родить и вырастить детей, с тем, чтоб они ему этих внуков завели. Короче говоря, передай Моне и Марине по книге "Отобранное", пусть эта книга скрасит ему несколько дней из тех пожизненных. Век мне воли не видать, это богоугодное дело тебе зачтется на том свете. (С принятием определенной дозы алкоголя у Моисея Зямовича возникают мысли о потустороннем бытии, что есть результат охмурения его в крытке нашими еврейскими "ксендзами").

- Адрес, телефон Марины? - поспешно спросил я, в опасении, что буду послан на свидание в тюрьму Синг-Синг.

- Какой адрес?! Какой телефон, - вскричал Моисей Зямович. - Моню Элсона знает весь Кишинев, вся Одесса и каждая бродячая собака на Брайтоне. Спросишь там первого встречного, где живет его жена Марина, и тот первый встречный, как в Одессе, доведет тебя прямо до ее двери.

Брайтон я не забыл за десяток лет отсутствия в Америке, эти десять лет не внесли там значительных перемен. Все тот же грохот электропоездов на ржавой, с облупленной краской эстакаде, на том же месте "Гастроном", правда, набором русских продуктов уже не напоминающий, присной памяти, продуктовую "Березку" на Больших Грузинах в Москве. Теперь в "Гастрономе" на Брайтоне получите то, что и в любом русском магазине Израиля. Пожалуй, это единственная перемена. На том же месте лотошник с русскими книгами, газетами, там же, у лестницы выхода из метро, как мне показалось, тот же, за десять лет не постаревший, не ушедший на пенсию, "офисер"-полицейский, в руках за спиной покачивающий резиновую дубинку. Десять лет тому назад вместе с полицейским я наблюдал жанровую сценку. Он не спускал глаз с парочки: огромного роста чернокожий человек обнимал щупленькую, крашено белокурую, девицу. Внимание полицейского от парочки отвлекло что-то на улице, и в тот момент, по движению щек целующихся, я видел, как мужчина языком втолкнул девице нечто изо рта в рот. Через секунду они разбежались. То ли по раннему времени, то ли потому, что чернокожий человек уже нашел себе место в тюремной камере, а щуплая девица превратилась в одну из проходящих мимо дородных

дам, если не сгнула в наркотическом кризе, на этот раз полицейский скучал. Скучая, он так же, как тогда, помахивал за сидением дубинкой, словно наше расставание длилось не десять лет, а минуты. И, вроде, за те минуты, не пришлось ему отлучаться отсюда ни по какой нужде.

Но вот и первый встречный, подходящий для вопроса.

- Простите великодушно, вы не могли бы подсказать, как нам повидаться с Мариной, женой Мони Элсона?

Любезная улыбка на лице человека немедленно перекосилась в испуганную мину. Ни словом не ответив, он отвернул под эстакаду, откуда бросил взгляд через плечо. Нечто подобное повторилось со следующим вопрошаемым, и тогда я решил, что мой сын, под два метра ростом, со своим грассирующим на американский манер "эр", производит впечатление человека из ФБР. В этот раз мы уехали из Брайтона не солоно хлебавши, но с газетой "Новое русское слово". Прочитал ее дома "от корки до корки", никакого нового слова не почерпнул, но из подвальной статьи о последнем судебном процессе по делу местных братков, узнал, что автор в тюремной камере советовался с Моней Элсоном по их делу, как с большим специалистом воровского закона. Значит, Моисей Зямович не преувеличивал в его характеристике. Оба, и большой специалист, и автор, в статье горько сетовали, что неподкупность братков из России - миф, из статьи следовало, что они наперегонки бежали к властям записываться в государственные свидетели.

Следующее явление на Брайтон пришлось на Судный день. Ни одно местное заведение в тот день не работало. На дверях ресторанов, магазинов висели увесистые замки, и даже бессменный полицейский на этот раз отсутствовал на посту. Не работало ни одно заведение, кроме синагоги. Со всех сторон в улицу, ведущую к пляжу, торопились евреи, натянувшие на себя свой лучший прикид. Хвост очереди на вход в синагогу упирался в океанский берег. В очереди стояли евреи почтенного возраста в брючных костюмах еще фабрики "Большевичка", с раскрашенными дамами, увешанными бижутерией, как новогодние елки. Первая молодость большинства дам, приходилась на годы комсомольскихстроек, с вкраплением тех, кто видел Одессу еще нэповских времен. У дамских ног крутились разнаряженные внуки, внучки в бантах, пелеринках, всяких завязочках. Отдельно на проезжей части кучковалась молодежь от двадцати до сорока, преобладающе в кожаных куртках. К одной такой кучке мы подошли. Их лица, по описанию Ломброзо,

подходили для знакомства с Монеи Элсоном. Подошли мы, и я задал наш вопрос.

- На эту тему (дословно) мы обещать вам ничего не можем, - прозвучал ответ, - а вы идите в синагогу, там вам, может быть, помогут.

- Как же туда идти, очередь - во какая?

- А вы себе идите прямо - и зайдете.

Пошли мы прямо и действительно оказались внутри вестибюля. Возможно, разговор с теми людьми являлся достаточным основанием, чтоб никто в очереди не пикнул. Против входа открытые двери, за ними шла служба, справа дверь в служебное помещение. Входим в ту служебную дверь, ребе, может быть, не самый главный, может быть, служба синагоги, снимал талес, одевал пиджак.

- Монямосьмоньмоня, - скороговоркой пробурчал ребе, - не знаю такого.

Мы повернули к выходу, в спину нам прозвучало:

- Подождите, вы говорите, что из Израиля? В жизни не видел израильский паспорт. Может быть, покажете?

Израильский паспорт он открыл как положено - справа налево. Сличил мое лицо с фотографией взором подобным взору гебешника на проходе к самолету в московском аэропорту. Все еще с моим паспортом в руке он сказал: - Моню, конечно, я не знаю, даже не слышал про такого и не хочу слышать. А вы идите обратно на улицу, где эстакада, перейдете на другую сторону, увидите ресторан "Националь". Там спросите Веню, он лучший друг Мони. Веня вам поможет, только не сегодня. Сегодня Судный день, ресторан закрыт.

Оставалось поблагодарить служителя Господа нашего. В другой, будний день, мы прибыли снова на Брайтон. Чтоб не смущать своим ростом порядочных людей этого места, сын остался ждать меня в машине. В "Националь" зашел я один. За столом корпел над бумагами мрачный человек, взгляд от бумаг он оторвал только после изложения причины моего явления. Человек мне ответил:

- Да, Веня здесь работает. Но, - понимаете? - он не то, чтобы скрывается, но и не то, чтоб не скрывается. Оставьте мне эти книги с запиской для Вени. В конце концов я ему передам.

- Спасибо, спасибо тебе, брат, за заботу о томящемся в гойской тюрьме, - сказал мне Моисей Зямович по возвращении в Израиль. - Господь не забудет твои труды, - добавил, разливая в стаканы остаток

водки в бутылке. Между вторым и третьим приемом ему всегда вспоминается Всевышний, а ежели Он сподобит на четвертый прием, после него мой друг садится писать свои рассказы. Читая, пальчики оближете.

Моисей Винокур

“ОТОБРАННОЕ“

Издательство “Библиотека Матвея Черного”, 2000 год.

Эта книга доставит удовольствие всем, кто не чуждается умных мыслей и крепких выражений.

Книга снабжена словарем редко, очень редко и вообще не употребляемых слов.

Заказы по телефону: 08-945-65-69

Вышла в свет новая книга

НИНЫ ВОРОНЕЛЬ

„МАЙН ЛИБЕР КАЦ“

(276 стр.)

«...Контрапункт иронии и лирики у Н. Воронель – не случайность, он кроется в природе ее поэтики...»

•

„МОСКВА-ИЕРУСАЛИМ“,
Р.О.В. 44050, Tel-Aviv 61440

•

Цена – 36 изр. шек.
(25 DM для Европы, \$14 для США,
включая пересылку)

ЗАМЕТКИ КНИГОЧЕЯ

Эли Корман

ХРОНОТОПИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ

“Пушкинская ясность” стала общим местом. Бывает, ее усматривают и там, где она под вопросом, где вместо нее - проблема.

Например, берут фразу “Гости съезжались на дачу” и начинают говорить ей комплименты: краткая, ясная, выразительная, разом вводит в курс дела. Что ж, комплименты не лгут. Пока не открыт первоисточник. Подлинная фраза все комплименты ставит под сомнение. Ее затруднительно произнести вслух. Она наводит на мысль о цензуре. Она содержит проблему. Короче говоря, подлинная фраза такова: “Гости съезжались на дачу ★★★”.

Подобными цензурованными фразами пушкинская проза буквально пестрит.

“В одно из первых чисел апреля 181... года”.

“Мы стояли в местечке ★★★”.

“Мы проводили вечер на даче у княгини Д.”.

“Я предлагал ★★ сделать из этого поэму, он было и начал, да бросил”.

Похоже, что Пушкин первым ввел в русскую прозу цензурование.

Пушкинскую эстафету подхватили и понесли дальше.

Гоголь, “Мертвые души”: “В ворота гостиницы губернского города NN въехала...”

Тургенев, “Дворянское гнездо”: “Перед раскрытым окном красивого дома, в одной из крайних улиц губернского города О...”

Достоевский, “Идиот”: “В Петербург пожаловал из Москвы один князь, князь Щ., известный, впрочем, человек”.

“Бесы”: “...все созидатели социальных систем, с древнейших времен до нашего 187... года, были мечтатели, сказочники, глупцы”.

Попробуйте-ка, вслед за Шигалевым, произнести вслух, в присутствии двадцати человек: “187... года” - да так, чтобы никому и в голо-

ву не пришло, что вы произнесли нечто несурзное. Ясно, что Шигалев назвал номер года полностью. Ясно, что Хроникер, у которого нет никаких причин брать на себя роль цензора, честно воспроизвел то, что сказал Шигалев. Но ясно и то, что после Хроникера некое сознание прошлось по готовому тексту и цензурило последнюю цифру года.

Примеры можно приводить без конца: русская классическая литература пестрит прочерками, отточиями, звездочками, сокращениями и прочими следами цензуры - но не той привычной, исходящей от власти и рифмующейся с дурой, а какой-то иной, внутренней, в причинах появления и принципах действия которой хотелось бы разобратся.



Прежде всего отметим три обстоятельства:

1. Цензуре могут подвергаться тексты, принадлежащие:

- а) герою-персонажу (Шигалев, Иволгин);
- б) герою-рассказчику (Хроникер);
- в) повествователю.

Цензующее сознание как бы расположено над этими сознаниями. Оно их "видит", но они его "не видят". Они "не знают", что их тексты цензуруются. *Цензующее сознание - сознание высокого уровня.*

2. Цензуруются три вида объектов (если не считать редких и малоинтересных исключений):

- а) имена людей (имена в широком смысле, включая сюда фамилии и т. д.),
- б) географическо-топографические наименования: губернии, уезды, города, улицы, монастыри и т.д. - словом, пространственные объекты (топонимы),
- в) номера годов.

Другие временные объекты - время года, время суток, день недели, месяц, сезон - почти никогда не цензуруются.

(Объекты пунктов а. и б. можно назвать кратко: имена собственные. Объекты пунктов б. и в. можно назвать кратко: хронотопические.)

3. Указанные три вида объектов цензуруются далеко не всегда. Но они составляют три "группы риска". Никакой объект не может быть цензурирован, если он не входит в одну из этих трех групп.

Почему же цензуруются именно эти три вида объектов? Чтобы это понять, рассмотрим следующую абстрактную ситуацию: некий

художественный текст, созданный в стране А на языке М, нужно перевести для читателей страны Б на язык Н. В странах А и Б разные системы летосчисления, но внутреннее строение года одинаковое: 12 месяцев с теми же названиями, 4 времени года, 7 дней недели и т.д.

При переводе надо учитывать два обстоятельства:

1. Имена людей и географические названия (короче, имена собственные), как известно, “не переводятся”.

2. О годах. Разумеется, существует формула пересчета номера года из одной системы летосчисления в другую. Но текст, мы сказали, художественный. Поэтому пользоваться формулой нельзя (разве что где-нибудь в скобках или сносках, в поясняющих примечаниях) во избежание стилистической безвкусицы или даже логического абсурда, как в известном анекдоте: археологи нашли монету с надписью: “230 лет до н.э.”. Иными словами: номера годов не переводятся! Таким образом, оказывается, что цензурирующее сознание может цензурировать только те объекты, которые “не переводятся”, то есть являются сущностной характеристикой данного хронотопа, иными словами - хронотопическими объектами (обращаем внимание на то, что имена людей тоже, стало быть, являются хронотопическими объектами). Поэтому цензурирующее сознание будем в дальнейшем называть хронотопическим сознанием - ХС. Но почему же из всех временных объектов цензурируется только номер года? Почему именно он “не переводится”? Это связано с особой структурой художественного времени, которую мы назвали бы линейно-круговой. Представим себе ось лет с насечками годов. На ось насажены круги (годы) - каждый на свою насечку. Каждый круг разделен секторами на времена года, месяцы и т. д. - вплоть до дней. Пока движение времени совершается в пределах годового круга (циферблата), все в порядке, но при переходе к следующему кругу (т.е. при сдвиге по оси лет) могут происходить самые удивительные вещи, как это будет показано ниже. Как правило, эти удивительные вещи происходят тогда, когда номер года цензурирован или вообще не указан и, вследствие этого, непонятно, в каком месте оси находится текущий круг и какой круг является следующим.

Ось является элементом “внешнего” мира, вот почему номера годов (насечки) образуют группу риска и могут цензурироваться. А вот внутренние элементы кругов сохраняют по отношению к оси некоторую автономность, они как бы не являются элементами внешнего мира, в группу риска не входят и, стало быть, не цензурируются.



А зачем вообще нужно цензурование? Когда оно применяется? Если воображением писателя создан самодостаточный художественный мир, наподобие сверкающих городов Александра Грина или марсианских городов Брэдли Спина, то цензурования, скорее всего, не будет. Если, наоборот, речь идет о тексте, в котором “все правда” - например, путевой очерк или исторический роман - то опять-таки в цензуровании нет нужды, разве что по внелитературным соображениям.

Нужда в цензуровании возникает в двух случаях:

1. Там, где художественный текст обильно использует имена объектов “реального” мира и в то же время претендует на автономность по отношению к нему.

2. Там, где герой по какой-либо причине чужд своему хронотопу - точнее, его обитателям.

Почему столь много следов цензурования именно в русской литературе XIX века? Потому что она присвоила себе особый социальный статус. С одной стороны, она не хотела замыкаться в башне из слоновой кости, она хотела “быть с народом”, что в переводе означает: обильно использовать имена “реальных” хронотопических объектов. С другой стороны, будучи великой литературой, она хотела таковой оставаться, не опускаясь до очеркистики, а это означает: творить собственный художественный мир.

Сочетание этих разнонаправленных тенденций и вызвало столь острую потребность в цензуровании.



Полоска бумаги между названием текста и его первой фразой притягивает к себе, как магнитом, разные сознания, не всегда имеющие прямое отношение к тексту. Здесь можно встретить посвящение, эпиграф, благодарность лицам, без помощи которых книга не вышла бы в свет, предупреждение о случайности возможных совпадений имен героев с именами реальных лиц и т. д. и т. п.. В “Братьях Карамазовых” имеем, например:

1. Авторское определение жанра (АОЖ): “Роман в четырех частях с эпилогом”.

2. Посвящение.

3. Эпиграф.

4. Предисловие “От автора”.

Из всех этих и подобных сознаний нас будет интересовать одно: АОЖ.

АОЖ и цензура очень тесно связаны, поскольку отношения текста с “реальностью” регулируются его жанром и потребность в цензуре различна в текстах различных жанров.

Рассмотрим два примера. Есть у Достоевского вещь, которая называется “Дядюшкин сон”. В подзаголовке дается АОЖ: “Из Мордасовских летописей”. Ну, если это летопись, то имена героев цензуры не будут, ибо летописный жанр цензуры не допускает. Но, с другой стороны, это Мордасовская летопись, а один из персонажей - князь - чужд мордасовцам: во-первых, потому, что он не живет в Мордасове (он приезжий); а во-вторых, потому что он эксцентричен. Поэтому его имя - и только оно одно - в виде исключения, будет цензурировано.

А если АОЖ “Маленького героя” гласит: “Из неизвестных мемуаров”, то будут цензурированы имена всех героев (кроме клички лошади), ибо мемуарный жанр вообще, а в деликатной сфере душевных увлечений особенно, предоставляет “мемуаристу” полную свободу маневра: какие имена, места и даты сочту нужным цензурировать, те и цензурирую.

Иногда АОЖ оказывается выше верхней границы вышеупомянутой полосы бумаги, а именно - в названии текста: “Трехгрошовый роман”, “Сага о Форсайтах”, “Легенда об Уленшпигеле”, “Рассказ о семи повешенных”, “Хроника времен Виктора Подгурского”, “Поэма гор”.

Разумеется, следует иметь в виду, что на клетке слона может быть надпись “буйвол”. Гоголь назвал “Мертвые души” поэмой. У Галича неправильное, провокационное АОЖ - сознательный прием: “Баллада о прибавочной стоимости”, “Командировочная пастораль” и т.п.

Если АОЖ отсутствует либо малоинформативно (“роман в стольких-то частях”), то оно может свои функции влияния на текст передать первой фразе (изредка второй). “В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер один молодой человек вышел из своей каморки, которую нанимал от жильцов в С-м переулке, на улицу и медленно, как бы в нерешимости, отправился к К-ну мосту”.

Фраза поразительно информативна, и не случайно занимает весь первый абзац, не желая делить его со второй.

1. Устанавливается режим цензуры имен топографических объектов (“в С-м переулке”, “к К-ну мосту”).

2. На какую улицу вышел молодой человек? У нее нет имени. Случай умолчания (замалчивания, сокрытия) - см. ниже.

3. Указано время суток и месяц (и, тем самым, время года), но не указан год - об этой тенденции мы уже говорили. Это тоже умолчание.

Это то, что касается хронологических характеристик. Но ими информативность не исчерпана. Можно продолжить:

4. “Каморка”, “нанимал”, “от жильцов”, “переулок” определяют социальное положение Раскольникова - и, тем самым, социальное пространство романа. Раскольников бродит по кварталам бедности и порока, ибо это предписано первой фразой. Стоит ему нарушить предписание и оказаться на Островах, в зоне благополучия и довольства, как его постигает наказание - мучительный, страшный сон о забитой кляче.

5. Задан температурно-погодный режим - “в чрезвычайно жаркое время” - важнейшая характеристика хронотопа.

И т. д.

Короче говоря, первая фраза устанавливает как пространственно-временные, так и иные режимы функционирования хронотопа, его характеристики. (Вот, по-видимому, в чем разгадка того особого, благоговейного, почти мистического отношения к первой фразе, которое распространено среди писателей.)



Но цензура - лишь одна из функций ХС, причем самая примитивная. Следующая по сложности функция - редактирование заплатами. Дана фраза, содержащая имя хронологического объекта. Требуется это имя скрыть, не прибегая к цензурованию и с минимальным вмешательством во фразу. Просто выбросить имя недостаточно: пострадает грамматическая структура фразы, пострадает семантика. И тогда вместо имени ставится заплатка, “по цвету и фактуре” не отличающаяся от окружающего текста.

Приведем примеры из “Бесов” (курсив наш):

“Отечественной гувернантке *здешних мест* от поэта с праздника” - маскировка под стиль Лебядкина и Липутина (вместо “здешних мест” должно было бы стоять имя уезда или губернии).

“Когда придет время, я отошлю в полицию и к *местной власти*” - маскировка под стиль Ставрогина.

“...Объяснения мои найдены удовлетворительными, иначе я не осчастливил бы моим присутствием *здешнего города*” - маскировка под стиль Петра Степановича.

Приступаем к описанию самой интересной, самой важной функции ХС. Благодаря ХС, имена хронотопических объектов и сами объекты способны влиять друг на друга. Если необходимо, для реализации влияния ХС строит сюжеты (каналы влияния).

У Гессе в “Степном волке” Германа предлагает Гарри угадать ее имя, и тот довольно легко угадывает. Имя срастается с объектом. Зная одно, можно угадать другое.

“Разве можно жить с фамилией Фердыщенко?” - спрашивает Фердыщенко князя. Жить можно, но, нося шутовскую фамилию, приходится и самому быть шутом. А сам князь: разве случайно, что он “идиот” и эпилептик? Нет, в этом виноваты его имя и фамилия, образующие недопустимый оксюморон: Лев Мышкин.

У Мармеладова жизнь горькая, потому что фамилия сладкая. “Капернаумов портной” хром, косноязычен и нищ, и это расплата за гордыню его фамилии: “И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься”. У Пселдонимова (“Скверный анекдот”) длинный горбатый нос из-за “неправильной” буквы в фамилии.

Для связи имени с объектом вовсе не обязательно, чтобы объект был человеком. Если в “Бесах” улицу назвали Богоявленской, то как же ей не тонуть в грязь? Если церковь назвали “Рождества богородицы” и в обоих этих словах есть корень “род”, “рождать”, то икону богородицы не просто ограбят, но впустят за стекло живую мышь - символ разврата и надругательства над сферой деторождения (мышь как символ разврата - см. сны Свидригайлова. В первом сне Свидригайлов видит мышь, во втором и третьем тема разврата звучит уже отчетливо).

Имя объекта может влиять и на другой объект - обычно через его имя, но иногда непосредственно, как в “Хозяйке”, где фамилия главного героя (Ордынов) определила национальность не имеющего имени персонажа (татарин).

Фамилия Настасьи Филипповны - Барашкова. Значит, ее зарежут. Кто зарежет? Ну, конечно, Рогожин, с его колючей фамилией. Между именами Рогожин - Барашкова возникает силовое поле, ведутся разговоры об убийце с бритвой, о ноже, нож материализуется - и в конце концов происходит убийство.

Можно, конечно, рассуждать и по-другому: фамилия Настасьи Филипповны - Барашкова. Значит, ее съедят. Кто съест? Ну, конечно, князь, ибо его имя - Лев. И действительно, именно после встречи с

князем Настасья Филипповна начинает метаться между ним и Рогожиным, и эти метания приводят ее к гибели.

Объединяя эти два рассуждения, приходим к выводу: фабула романа определяется треугольным взаимодействием имен Рогожин - Барашкова - Лев.

Почему толпа забивает насмерть Лизу? По двум причинам. Во-первых, с легкой руки Карамзина имя "Лиза" стало страдательным. Во-вторых, отчество Лизы, Николаевна, является именем Ставрогина, "быть может, непримиримейшего ее врага" - как же можно с такими двумя именами остаться в живых?

Умирает Лиза Трусозкая ("Вечный муж"), умирает Лизавета Смердящая, Лизавету-торговку убивают топором, Лизу в "Записках из подполья" жестоко оскорбляют, трагична судьба Лизы Долгорукой, в "Бесах" упоминается "Лизавета блаженная", которая "...в ограде у нас вделана, в стену, в клетку... и сидит она там за железною решеткой семнадцатый год". И только у Лизаветы Прокофьевны судьба относительно благополучна. Дело в том, что - в силу ее возраста и социального статуса - ее имя всегда сопровождается отчеством. А имя Прокофий (Прокопий) - устойчивое, оно дает ей поддержку.

Собственно говоря, у Лизы Долгорукой тоже есть отчество - Макаровна, но имя Макар - неустойчивое, ведь Макар Иванович - странник (а странник он потому, что некий другой Макар гонял куда-то телят: перемещался, странствовал). Тем не менее некоторую поддержку оно все же дает, и потому судьба Лизы Долгорукой предпочтительнее, например, судьбы Лизы "Записок из подполья".

Слово "раскол" в его первичном значении, содержащееся в слове "Раскольников", определило выбор орудия преступления: топор. Кого же убьет Раскольников? Конечно, Лизавету. Причем убьет ударом раскола, то есть острием, а не обухом. Но для убийства Лизаветы приходится выстроить целый сюжет: у Лизаветы, видите ли, есть сестра, злая и вредная старушонка "и, сверх того, процентщица". Что, этого мало для убийства? Ну, пусть тогда у Раскольникова мать и сестра будут в отчаянном положении. Мало? Ну, пусть еще будет теория, позволяющая единичное злодейство ради последующих добрых дел.

Шутки в сторону. Мы, конечно, не можем утверждать, что замысел романа формировался именно таким образом. Но мы настаиваем на ошибочности традиционного толкования: мол, Раскольников шел убивать старуху, а Лизавета случайно подвернулась. Точнее, не на ошибочности, а на недостаточности. Да, на бытовом уровне все так и было. Но на глубинном, метафизическом уровне, где властвует ХС,

все было наоборот: Раскольников шел убивать Лизавету, а старуха была приманкой, живцом. Вот почему он ее так ненавидит:

“Ни за что, ни за что не прощу старушонке!”



Главный герой “Процесса” Кафки арестован в день своего рождения, казнен накануне следующего дня рождения. Стало быть, действие романа продолжается год без одного дня? Вроде бы так, хотя это как-то странно. А что случилось бы, если бы казнь состоялась днем позже? А случилось бы то, что на годовом круге день рождения был бы отмечен дважды. Либо произошел бы переход на следующий годовой круг (но на какой следующий? ведь номер года не указан!), что сопровождалось бы сдвигом по оси лет, то есть нарушением автономности. Ни того, ни другого допустить нельзя. На самом деле действие романа продолжается ровно год, ибо

а) отмечены все дни года,

б) ни один день не отмечен дважды.

Итак, ровно год. А какой в этом смысл? А такой, что один год - это компромисс между дурной бесконечностью судебного процесса и стремлением ХС к автономности. Меньше нельзя: надо показать, что процесс бесконечен. А больше нельзя, ибо годовой круг ограничен.



Год в “Процессе” не имеет внутреннего календаря (из-за чего исследователи до сих пор спорят о порядке следования глав романа). А в “Записках сумасшедшего” есть внутренний календарь, ибо “Записки” - это дневник. Дневник состоит из записей, каждая запись состоит из двух частей: датировки и основного текста.

Сумасшествие Поприщина проявляется с первой же записи, но - лишь в основном тексте, В первых датировках сумасшествия нет. Лишь одно обращает на себя внимание: в датировках не указывается год.

Но вот датировки выходят на декабрь, приближается Новый год, а с ним - переход на следующий годовой круг, хотя с момента первой записи идет лишь третий месяц (подобной ситуации не может быть в “Процессе” из-за отсутствия внутреннего календаря). Что делать?

В этот момент сумасшествие Поприщина делает качественный скачок, причем двойной. В основном тексте Поприщин провозглашает

себя королем. В датировке же впервые появляется номер года, но - в сумасшедшем оформлении: "Год 2000 апреля 43 числа".

Однажды проникнув в датировку, сумасшествие уже оттуда не уходит. Но внутри сумасшествия бьется пытливая мысль: все сумасшедшие датировки суть эксперименты со временем, наподобие тех, которые в XX веке проводили писатели-фантасты. Например, "Январь того же года, случившийся после февраля" - это нечто вроде "петли времени". Но по закону дневникового жанра для датировки отводится всего несколько слов. Много ли наэкспериментируешь в нескольких словах?

Поэтому разнообразие сумасшедших датировок быстро исчерпывается: если пятая сумасшедшая датировка гласит: "Число 1", то уже восьмая повторяет ее структуру: "Число 25".

Ну, раз начались повторы, то надо кончать. И следующая - девятая - с сумасшедшей датировкой запись оказывается последней. В ней сумасшествие снова делает скачок, опять-таки двойной, но на сей раз разнонаправленный: в основном тексте скачок назад, к нормальной и даже проникновенной человеческой речи, а в датировке скачок в прежнем сумасшедшем направлении - к распаду речи.

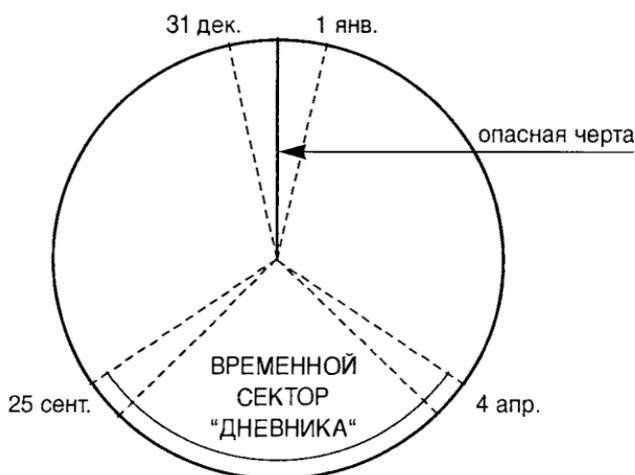
Но и в распадающейся речи есть кое-какой смысл. Например, слово "года" приняло китаизированную (ведь Испания есть Китай) форму "гдао". Но гораздо важнее другое: в датировке опять присутствует номер года! Отсюда следует, что сумасшествие Поприщина делает скачок в тех (и только в тех) записях, в датировке которых присутствует номер года. Иными словами: развитием болезни Поприщина управляет ХС!



Интересно сопоставить хронологию "Записок сумасшедшего" с хронологией романа С. Кьеркегора "Дневник обольстителя". ("Записки" и "Дневник" столь решительно во всем противоположны друг другу, что возникает даже нелепая мысль: а не был ли Кьеркегор знаком с "Записками" и не отталкивался ли от них, создавая "Дневник"? - по времени это возможно.) Малокультурный Поприщин с его речевой неряшливостью и эстетической глухотой не нашел ничего лучшего, как начать "Записки" в конце года: 3 октября. Тем самым он обрек себя на приближение к опасной радиальной черте, отделяющей 31 декабря от 1 января, что его и погубило.

В отличие от него, Йоханнес - человек высокой, изощренной словес-

ной культуры, чутко и жадно воспринимающий окружающий мир, причем воспринимающий эстетически. Посмотрите, как красиво, симметрично ложится временной сектор “Дневника” на годовой круг: дневник начат 4 апреля, кончен 25 сентября. То есть от начала года (номер которого, кстати, не указан) до первой записи прошло 3 месяца плюс 4 дня, а от последней записи до конца года - 3 месяца плюс пять дней. Смысл этой симметричности очевиден: временной сектор “Дневника” должен находиться как можно дальше от опасной радиальной черты.



★ ★ ★

Принято считать, что юный Вертер покончил с собой из-за несчастной любви. Но за этой очевидной, бьющей в глаза причиной скрыта подлинная, хронологическая причина: юный Вертер неправильно вел дневник!

Дневник Вертера построен более сложно, чем дневники Поприщина и Йоханнеса: у Вертера три записи все-таки содержат номер года. Это: 1-я запись “Книги первой” (4 мая 1771 г.), 1-я запись “Книги второй” (20 октября 1771 г.) и 1-я запись следующего года в той же “Книге второй” (8 января 1772 г.). Заметим еще, что 1771-й год кончается записью от 24 декабря (в которой год не указан).

Итак, на протяжении 1771-го года год указывается дважды, и этого достаточно, чтобы ХС беспрепятственно пропустило Вертера в следующий год. Но в новом 1772-м году Вертер указал год только один раз, и обиженное ХС приняло свои меры: в ночь на 23 декабря Вертер застрелился. Все указывает на то, что если бы Вертер почаще указывал номер года в датировках (вариант: если бы Вертер вынес номер года из датировок в заглавие), то ему не только не пришлось бы кончать самоубийством, но и его любовь не была бы несчастной.

Итак, между последней записью 1771-го года и самоубийством пролегло расстояние в год без одного дня - это нам уже где-то встречалось, не так ли?



Герой повести Генриха Белля “Поезд прибывает по расписанию” предчувствует, что будет убит партизанами. Он читает на карте названия городов предстоящего ему маршрута и по звучанию, по “вкусу” каждого названия определяет, будет ли еще жив в этом городе. Таким способом он определяет два соседних (на карте) города, до первого из которых он доедет, а до второго - уже нет. Значит, его убьют между этими городами.

Но почему событие убийства никак не отражено на карте? Там, между этими городами, должен быть еще один. И действительно, между ними оказывается город, которого нет на карте; город, имя которого убивает.

“Андреас медленно пробирался по темному вагону, как вдруг слово “скоро” пронзило его, подобно пуле: оно прошло сквозь его плоть, ткани, клетки, нервы”.

““Краков” - вдруг возникло у него в мозгу, и сердце на секунду остановилось, будто сосуды стянуло жгутом и кровь прекратила свой бег! ...Краков! Нет, не то. Дальше. Пшемысль. Нет, не то. Львов. Нет, не то! Тогда он пустился бешеным аллюром: Черновицы, Яссы, Кишинев, Никополь! Но при слове “Никополь” ему стало ясно, что для него это всего-навсего мыльный пузырь, такой же, как фраза: “Я поступлю в университет”. Никогда, никогда он не увидит Никополь! Теперь он возвратился назад: Яссы! Нет, и Яссы он уже не увидит. И Черновицы тоже не увидит. Львов! Львов он еще увидит, во Львов он придет живым. Я помешался, думал он, сошел с ума. Неужели я погибну где-то между Львовом и Черновицами?!”

<...> “...Что это за неведомый перегон между Львовом и

Черновицами? ...все пространство между Львовом и Черновицами для него белое пятно. Кажется, это пространство называют Галицией... И где-то в тех местах Вольты; темные, угрюмые слова, пахнущие погромами“.

“Галиция - темное слово, ужасное слово и все же влекущее. В нем есть что-то напоминающее нож, медленно режущий нож... Галиция...”

“Скоро я умру, думал он, скоро, скоро, и, это “скоро” уже не такое расплывчатое, к этому “скоро” я понемногу подбираюсь, уже незаметно ощупал его, обнюхал во всех сторон... Уже знаю, что умру в ночь с субботы на воскресенье между Львовом и Черновицами ... В Галиции... в Восточной Галиции - в самом низу карты”.

“В слове “Галиция” - кровь, потоки крови, стекающие с ножа. “Буковина” - совсем другое дело, думал он, это слово добротное и надежное. Я умру не в Буковине, а в Галиции, в Восточной Галиции”.

“В воскресенье утром между Львовом и Коломыей... Вот и Черновицы уже ушли куда-то далеко-далеко, так же далеко, как Никополь и Кишинев. Понятие “скоро” еще больше сжалось, сжалось почти до предела. Всего два дня. Львов, Коломыя”.

“Нет, рассвета уже не будет, будет тьма кромешная. Вот как! Совершенно точно! Это случится без четверти шесть, в воскресенье утром... между Львовом и... надо посмотреть, какой город находится в сорока километрах за Львовом”.

“Какой город, - спросил он неожиданно, - какой город находится в сорока километрах за Львовом по дороге... по дороге в Черновицы?... - Стрый, - сказала она”.

“Стрый... Стрый... Ужасное название, которое звучит, как черта, как кровавая черта, которую проведут у меня на горле! В Стрые меня убьют”.

“Стрый... Слово это засело во мне с самого рождения. Хранилось где-то глубоко-глубоко, неузнанное и неразбуженное...”

Стрый... Эти несколько букв, это короткое, ужасное и кровавое слово поднялось из глубин моего существа на поверхность и стало расти, подобно мрачной туче, и вот уже туча закрыла все небо”.

Во всем этом не то удивительно, что имя убивает (это мы уже видели у Достоевского), а то, что неизвестный объект можно открыть, вычислить по именам известных объектов. Так астроном открывает невидимую планету по возмущениям в орбитах других, видимых планет. Имена излучают энергию, пространство между именами заполнено силовыми линиями. По перепадам энергий, по искривлениям силовых линий герой Белля открыл город-невидимку.

Важно отметить следующее обстоятельство: герой Белля - немец, славянских языков не знает, названия же городов - Львов, Коломыя, Черновицы, Буковина, Стрый и др. - славянские. Семантическую составляющую названий он воспринять не может. Но он воспринимает их, так сказать, телесную составляющую. И оказывается, что она тоже информативна и наполнена энергией.

При переводе на другой язык сохраняется семантика слова, телесная же составляющая, как правило, теряется. Но в данном случае имеет место не перевод (ведь названия городов "не переводятся"), а заимствование. Слово заимствуется целиком, "как оно есть". При этом теряется, если была, семантика, а телесная составляющая сохраняется (со своей, однако, специфической семантикой).



Итак, имя может обладать энергией, причем огромной (напомним, что именем мы называем не только имя собственное, но и номер года). Правильно обращаться с этой энергией - например, строить сюжеты, реализующие взаимодействие имен, - очень сложно, для этого нужна если не гениальность, то высокая степень таланта. Да и гению, как Достоевскому, невозможно управиться с именами всех своих хронологических объектов.

Чтобы облегчить себе работу с энергией имен, ХС использует следующие приемы (и их комбинации):

1. Цензурование.
2. Редактирование.

3. Выбор невыразительного, "инертного" имени. Например, имя города в "Братьях Карамазовых": Скотопригоньевск. Обычны невыразительные имена у Гоголя: Канапатьев, Хорпакин, Акакий Башмачкин.

4. Замалчивание. "Нос": "Цирюльник Иван Яковлевич, живущий на Вознесенском проспекте (фамилия его утрачена...)". Часто замалчиваются номера годов.

Замалчивание может быть объявленным и необъявленным. Замалчивание номеров годов или названия улицы, на которую вышел молодой человек, - необъявленное. Замалчивание фамилии цирюльника - объявленное. Приведем еще два примера (из "Шинели") объявленного замалчивания: "В департаменте... но лучше не называть в каком департаменте. Ничего нет сердитее всякого рода департаментов, полков, канцелярий... Теперь уже всякий частный человек считает в лице своем оскорбленным все общество... Итак, во избежание

всяких неприятностей, лучше департамент, о котором идет дело, мы назовем одним департаментом“.

“Где именно жил пригласивший чиновник, к сожалению, не можем сказать: память начинает нам сильно изменять, и все, что ни есть в Петербурге, все улицы и дома слились и смешались так в голове, что весьма трудно достать оттуда что-нибудь в порядочном виде“.

5. Максимальное оттягивание момента появления имени в тексте. “Из Скотопригоньевска (увы, так называется наш городок, я долго скрывал его имя), к процессу Карамазова“.



Ньютоновское физическое пространство однородно, его характеристики одинаковы во всех точках, ему совершенно безразлично, есть в нем материя или нет. Ньютоновское время всюду течет с одинаковой скоростью. Пространство, время и материя существуют как бы независимо друг от друга.

Эйнштейновское пространство значительно сложнее. Оно искривляется вблизи небесных тел, оно заполнено силовыми линиями самых разных полей: тяготения, тепло- и радиоизлучения и т.д. Время может течь быстрее или медленнее. В эйнштейновской модели Вселенной пространство, время и материя образуют неразделимое единство.

Чем активнее ХС работает в художественном тексте, тем ближе художественное пространство к эйнштейновскому. В русской литературе назревание перехода от ньютоновской модели к эйнштейновской первым уловил Пушкин. Он первым почувствовал энергию, излучаемую небесными телами (сиречь хронотопическими объектами), искривляющую художественное пространство, пронизывающую его силовыми линиями взаимодействий этих небесных тел, делающую его неоднородным, многослойным, многомерным.

Пушкинской светлой и гармоничной натуре эта тенденция была чужда, и он бессознательно боролся с нею, причем самым простым способом - цензурованием. Что есть цензурование? что есть звездочки, поставленные вместо имени? Это затычка, коей затыкают фонтан энергии, бьющий из имени. “Я предлагал ★★ сделать из этого поэму, он было и начал, да бросил“. А если бы вместо этих двух звездочек стояло имя - кто знает, как бы оно повлияло на другие имена, на судьбы их носителей...

“Что в имени тебе моем?” Нет имени - нет проблемы.

Тем не менее, проблема была поставлена, хотя и бессознательно. Пушкинское цензурирование было замечено и подхвачено. Сила, таящаяся в именах, косвенно признавалась при их сокрытии. И, быть может, именно поэтому и именно тогда русская литература стала великой.

ИЗДАТЕЛЬСТВО „МОСКВА - ИЕРУСАЛИМ“

предлагает книгу

**АЛЕКСАНДРА ВОРОНЕЛЯ
« В П Л Е Н У С В О Б О Д Ы »**

Сборник историко-литературных эссе, посвященных анализу социальных процессов, преобразивших Россию и Израиль в XX веке. Автор рассматривает эти процессы как своеобразную религиозную Реформацию. Центральная проблематика книги сосредоточена вокруг вопроса о смысле и ограничениях понятия «свобода», о чем говорят заголовки ее разделов:

1. Свобода как неосуществимый проект.
2. Свобода в практическом применении.
3. Свобода как исполнение завета.

304 стр. В Израиле – 36 шек. Вне Израиля, с пересылкой – 16 долларов.

Чеки и заказы посылать по адресу:

"Moscow-Jerusalem", P.O.B. 44050, Tel-Aviv 61440, Israel.

Виктор Голков

„ П О Т У С Т О Р О Н У С У Д Ь Б Ы “
(стихи)

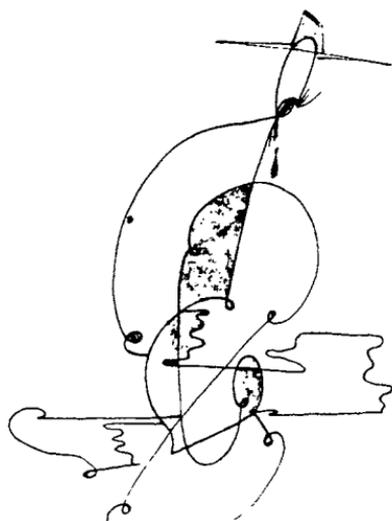
Тель-Авив, 1996 г.

Цена – 10 шек.

Заказы принимаются по адресу:
Израиль, Азур, ул. Ицхак Саде, 6, кв. 1

Ирена Лейна

ЖЕНЩИНА НА РОЛЬ НЕБЕСНОЙ ПТИЦЫ



С Майей Плисецкой мы сидим в ее небольшой и уютной квартире в самом студенческом районе Мюнхена. Половину комнаты тут занимает рояль. До потолка - полки с книгами, нотами, дисками, записями супруга - композитора Родиона Щедрина. Под окном - цветочная лавка, за углом - овощной лоток, каждая вторая дверь - книжный магазин и повсюду, в маленьких ресторанчиках, до поздней ночи гудит молодежь. Здесь тайно заплетаются интриги, которым суждено стать сюже-

тами новых романов, здесь рождаются идеи, которым предстоит завоевать мир, эти стриженные челки кружат головы будущим гениям, им будут писать стихи и посвящать симфонии. Типичный Швабинг. Здесь весь поток энергии направлен в будущее. Именно это место в центре Европы выбрала именитая пара, отсюда отправляется балерина в свои по-прежнему бесчисленные турне.

Накануне ее 75-летия мы с Майей Плисецкой тоже говорим о будущем и, конечно, о событиях последних месяцев. По московской привычке мы уютно расположились на кухне. На столе, накрытом толстым покрывалом, тепло и неярко светит настольная лампа из времен модерна. Какая там "матрона"! - Майя крутится на стуле словно

девочка, выдергивает из высокой стопки театральные программы последних лет и показывает фотографии, выразительно жестикулирует. Ясно, что жест - для нее любимое средство выражения. Но и рассказчик она замечательный; говорит остро, без пардонов и прикрас. Понятно, почему ее автобиографическая книга "Я, Майя" переведена уже на девять языков...

Что впереди? Москва, в которой она родилась и в которой водоворотом крутилась практически вся ее жизнь, балетная и небалетная, счастливая и горькая, готовит необычный юбилейный праздник. Три отделения в Большом театре ожидают именинницу 20 ноября. В первом опять выступят на легендарной сцене лауреаты трех конкурсов "Майя". Во втором - театр *Wielki-Opera Narodowa* из Варшавы покажет "Кармен" Бизе-Щедрина в постановке Матса Эка.

Третье отделение названо организаторами "Звезды мирового балета - приношение Майе Плисецкой" - Татьяна Чернобровкина (Музыкальный театр Станиславского и Немировича-Данченко, Москва), Ульяна Лопаткина (Мариинский театр, Санкт-Петербург), Анна Лагуна (Швеция), Палома Херера и Анхель Корея (США), Мануэль Легри - Бенжамен Пеш (Гранд-опера, Париж), Барбара Кухоуткова (Финляндия) и Роберто Болле (Италия), Майтс Байо (Испания), Карлос Акоста (США), Хулио Бокка (Аргентина), солисты Большого и Русского Имперского балетов. То, что в Большой будет не достать билетов, совершенно понятно: их всегда нет в кассе, стоит появиться на плакате имени Плисецкой.

Никто уже не помнит тех секретарей ЦК, которые казались главнее сил небесных, уже в России третий президент сменился, а Майя - все та же, полная сил и готовая к новому. Конечно, не перевелись и завистники. Но ее, как обычно, с обожанием поджидают у служебного входа балетоманы, встречают овациями и осыпают цветами. Балерина-загадка. Женщина-легенда. Почему? Что в ней особенного?

- Майя Михайловна, чем вы питаетесь, откройте секрет вашей неиссякаемой энергии?

В эту минуту в кухню заходит Родион Щедрин, обнаруживший, что очередной журналист "терзает" его жену, и отвечает с усмешкой сам:

- Вашими телефонными звонками она питается!

И, возможно, что в этой иронии даже больше истины, чем на первый взгляд кажется. Слава ведь весьма питательная субстанция. Посмеявшись, Плисецкая рассказывает о Японии, из которой только что вернулась.

- Меня в Токио узнают, как в Москве, простые люди на улице и

таможенники в аэропорту - не помню, чтобы хоть раз проверили багаж. За тридцать лет гастролей я побывала в Японии 28 раз. В семидесятые годы мы ездили втроем с Фадеичевым и дирижером, солировали в "Лебедином озере", позже впятером - в "Кармен-сюите". Часто приглашали для участия в большом международном гала. В пятидесяти залах Японии я, пожалуй, танцевала. Последние семь лет, став президентом московского "Имперского русского балета" под руководством Гедиминаса Таранды, приезжала с этой моей труппой. Словом, как правило, японцы хотели видеть высокую классику.

А на сей раз для участия в необычном проекте меня пригласил мой давний знакомый господин Фуками. Он удивительный человек, который чем только не занимается и умеет буквально все. Едва ли издательское дело - единственный его бизнес. Семь лет назад он был генеральным спонсором первого моего конкурса в Санкт-Петербурге. Нынче Фуками не только финансировал проект "Nagoromo" ("Перья кимоно"), связанный с традиционным японским театром "Но", но и сам играл на сцене одну из трех заглавных ролей. Он взял на себя образ рыбака, очарованного красотой небесной феи и сопровождал свою роль игрою на флейте.

Я играла самую небесную фею, спустившуюся на землю. По сюжету этой древней сказочной истории, фея так залюбовалась приморским пейзажем, что не заметила, как с нее соскользнуло кимоно, сотканное из перьев небесных птиц. Кимоно находит рыбак и решает, что оно должно принести ему счастье. Однако, увидев красавицу, он понимает, что оставаться на земле этому существу нельзя. Платье надо вернуть. Тогда он просит ее перед возвращением на небо показать ему танец. Это и есть кульминация.

- А вы когда-нибудь раньше танцевали в стиле театра "Но"?

- Да что вы, нет, конечно, я даже никогда не видела этого театра. До приезда в Токио я вообще не представляла, о чем идет речь.

- И вам не было боязно, что вы не справитесь? Вы не расспрашивали заранее, в чем суть роли, к чему готовиться?

- Зачем! Во-первых, я никогда ничего не боюсь, во-вторых, это же интересно. Да, самое интересное случилось во время репетиций. Дело в том, что в начале спектакля под вполне европейскую оркестровую музыку на сцене танцует японский кордебалет, человек двадцать: молодые люди танцуют рыбаков, а девушки в туниках и на пуантах - небесную свиту феи. И вот подходит ко мне хозяйка и хореограф этой труппы и сообщает, что сейчас покажет, что я тут

должна в классической манере изображать. На что я ей и говорю: я не для того прилетела в Японию, чтобы танцевать классику. Меня для другого звали, вот и показывайте мне танцевальные элементы театра "Но". Хореограф извинилась, по-японски раскланялась и исчезла, больше я ее не видела.

Меня, конечно, совершенно заморозил единственный профессиональный артист театра "Но", который вступал через некоторое время в игру и, в роскошном костюме и маске, изображал на сцене живую душу феи. То есть как бы мою душу! Расположившись за полупрозрачной ширмой, семь музыкантов наигрывали древние и таинственные мелодии. И тут я заметила, что с "душой" работает другая японка, репетитор этого театра. Ее-то я и попросила показать мне традиционный язык "Но". И это было, конечно, замечательно. Совершенно особенный язык жестов и поз, им можно выразить множество чувств - радость, недоумение, досаду, разочарование, горе, отчаяние, скорбь. Танец с веером и без него. Этой традиции 600 лет, ее в Японии берегут как святыню и называют мюзиклом XIV века. Словом, абсолютно новые для меня движения...

Мы репетировали девять дней. На десятый день было сыграно представление. Всего один раз. Ради этого единственного спектакля в двухтысячном зале в центре Токио и затевался весь проект. Жаль конечно, что так мало. Для русского театра вообще немыслимая история. У нас ведь живут еще спектакли XIX века, которые показали публике по пятьсот раз и больше...

Час и двадцать минут идет балетное представление, и еще двадцать минут японская публика не отпускает артистов со сцены. Это я вижу на видеозаписи. Вижу, как ошарашенный господин Фуками несколько растерянно ходит по сцене и уже не понимает, куда ему кланяться дальше и как остановить бурю. Привычная к овациям Майя купается в аплодисментах, как в море. Спектакль продолжается. Конечно, это ее успех. Кто еще может сыграть неземное существо среди "японских рыбаков" и вызвать штормовые волны эмоций? Уж в этом господин Фуками не ошибся! Три портрета стоят на плакате представления. Единственная женщина в образе "неземной красоты", разумеется - Плисецкая, - весьма хороша...

А впрочем, европейцам подобное тоже знакомо. Буквально за пару недель до проекта в Японии, в июле, проходил Фестиваль Бежара в Генуе. Французский маэстро задумал миниспектакль и прямо накануне договорился с двумя своими давними любимицами. И вот, разыгрывается пластическая миниатюра по пьесе Жан-

Поля Сартра "При закрытых дверях": любовный треугольник - па де труа Морис Бежар, Карла Фраччи и Майя Плисецкая. Он любит ее, а она - не его. А совсем другую... Но еще смешнее была хореографическая шутка, когда Бежар посадил Майю на пол сцены, как есть, в партикулярном черном платье, украшенном всего-то двумя красными пуговицами. Уже одно загадочное появление на сцене ее миниатюрной точеной фигурки вызвало оживление в зале. Не важно, что изображала балерина-ассолюта в этот момент. Плисецкая демонстрирует кистями рук, лукавыми своими глазами, приговаривая ритмично: "так-так! так-так-так, и вот так!" Показывая это мне, она едва удерживается на стуле, готовая в любую минуту к танцу и игре.

Восторг фестивальной публики и здесь был обеспечен. Она - именно та женщина, "которая падает в фонтан", если вспомнить бессмертную классификацию Юрия Олеши. И что бы ни происходило - поворот ли головы с ее особым "плисецким", исподлобья, взглядом, жест от локтя к мизинцу, крохотная мимическая сценка "на закуску" - публика вскакивает с мест, аплодирует и хохочет.

При чем тут возраст? Великие шутят на сцене - это ли не выражение абсолютной свободы?

Мюнхен - Москва

Н О В А Я К Н И Г А

ЮЛИЯ ВИНЕР

о деньгах, о старости, о смерти и пр.

(стихи 1985-1995 гг.)



Издательство ALPHABET 192 стр. Цена 30 шек.

Книгу можно купить по адресу: J.W., P.O.B. 2725, JERUSALEM
Можно также заказать ее по тел. № 02-6231563

Леонид Финкель

МИГ ПЕРЕХОДА

*“Сохрани на черный день,
каждой свойственный судьбе,
этих мыслей дребедень
обо мне и о себе”.*
Осип Мандельштам

Как поэт Владимир Добин воскрес в Израиле.

Пусть не смутит это многозначительное “воскрес”, потому что переправиться из России в Израиль - это не просто смена места. Это, скорее, остановка времени. Действительность осталась там. Здесь - ожидание: каждый прошедший день должен приблизить к желанному царству...

У Добина были стихи, опубликованные прежде в весьма престижных московских изданиях (“Литературной газете”, альманахе “Поэзия”, “Московском комсомольце”), была книга с названием “Христос”, которое, скорее всего, означало знак трагической неловкости. Было немало мягких лирических стихов со своими поэтическими пристрастиями и установками:

*Три струны, натянутые между
на ветру согнувшихся стволов:
на одной сыграю песнь надежды,
на другой - любовную и нежную,
а на третьей - песенку без слов.*

Поэт любит окружающий мир, всматривается в него, видит “в полнеба алое светило, / еще сырое от дождя”, смотрит, как “Листья падают без усилий. / Плавно - будто бы с горки вниз”, и делает при этом неожиданный вывод: “Отрываются, улетают... / Никогда бы так не сумел...” За этим - жизненное кредо, моральные постулаты. Поэт чувствует, что искать надо среди прозрений самой обычной жизни. Просты, понятны

и волнуют строки: “В сквере около фонтана, / где лежит пушистый снег, / ходит-бродит рано-рано / одинокий человек. / Хоть и холодно, однако / он в пальтишке налегке. / Одинокая собака у него на поводке...” Уже в первой книге Вл. Добина привлекало отсутствие самодовольной нравственности, когда поэт радуется своему бытию в качестве самого себя. Но поэзия не итожит прожитый опыт. Она вообще из того эйнштейновского искривленного пространства, где ученье - тьма, а неученье - свет... Тут важен миг перехода. Не случайно уже в следующих книгах, точно названных “Поздний свет” и “Полдень”, Вл.Добин начинает со стихов “Россия”, куда более конкретных:

*Взгляд осторожный,
искоса,
острожный...
Доколе мне считать ее своей?
Не хватит ли?
Я там полжизни прожил,
еще полжизни мне прощаться с ней?*

Живя в России, поэт понимал: жизнь его - только черновик. Прав был Гете - одни дураки не меняются. Владимир Добин не переменялся, он преобразился. Крепнет стих, разнообразится рифма. Все прежде абстрактное вдруг конкретизируется. И все потому, что “Глаза распахнуты, растворены уста” и кажется, будто кто-то саму душу поэта выпустил на волю. Поэт выбрался из клетки, только еще не знает, как пользоваться свободой. Отсюда: “О, Господи, не отвернись от нас, / прими детей, пришедших издалека. / Какой простор... Здесь даже голос - глас, звучащий мощно, трубно, одиноко”.

В его стихах нет ностальгии. Кажется, он понял Томаса Манна буквально: “Где я - там Россия”. И нет в нем потому этой рабской привязанности ко всему российскому. Через край бьет интеллектуальная любознательность, даже названия улиц звучат для него, как чудесная музыка: “Звучание их так необычайно. / Произнесите: - маны, -кляйны, - штайны, / Нордау, Ротшильд, Герцль, Бен-Гурион”.

*А я навеки, думалось, привык
к совсем другим понятиям и созвучьям,
и за столетья стал родной язык
неповоротливым,
неблагозвучным.*

Итак, поэту Добину удалось перестроить сознание. Он, как колдун, которого наделили магической силой. Но эмиграция - всегда драма, даже когда называется репатриацией. И не случайно даже магическая сила не всегда спасает:

*Так ведется всегда и везде:
где б мы ни были, там - а вернее,
здесь - одно остается еврею:
закатать рукава, выгнуть шею
и вперед...
За удачей?
К беде?*

Вообще говоря, искать "третье измерение" не просто.

Ну, во-первых, за окном эпоха нечтения. Во-вторых, вакансия поэта уже давно не называется иначе как "лукавой": одни верят, что пишут стихи, другие - что их читают. Крепчает "желтая" пресса, в которой поэтом считается тот, кто кричит кикиморой или матерится себе под нос, ритмизируя скучные байки, чтоб это хоть как-то смахивало на стихи. Другой, как может, подчеркивает свое еврейство, выпуская одну за другой книги с названием "Еврейская душа", "Еврейский дух". Героические издатели выпускают эти полувириши тоненькими брошюрками, которые не столько расходятся, сколько дарятся. Но ведь писать стихи - это не то же, что печататься. Когда ты один на один с чистым листом бумаги - все против тебя. Весь мир. Наконец, столько книг на свете, зачем еще одна? Страх перед чистым листом общеизвестен. Великие преодолевали его с трудом и по-разному. Гете раскачивался на детской лошадке, Достоевский нервно ходил по комнате, Шиллер ставил ноги в таз с холодной водой...

То великие, а как быть обыкновенным? Да еще в непривычной обстановке, когда жизнь кажется болезнью, миражем, галлюцинациями: "Бывают ночи, только лягу. /В Россию поплывет кровать..." (В. Набоков). Первая битва любой эмиграции - битва с памятью. Исторической, культурной, нравственной, да и просто человеческой. С другой стороны - битва со склерозом той же памяти, который страстно хотят привить новому обществу. Потом - битва с улицей, которая, "безъязыкая", корчится, дразнит, напоминает о том, что Бабеля родила Молдаванка и Дерибасовская, Окуджаву - Арбат, Шолом-Алейхема - Егупец... И разве можно довериться улице в Бат-Яме, Холоне или Ашкелоне? И разве можно представить себе, что два человека могут

остановиться, ну, скажем, на Бродвее и полчаса разговаривать? Разве это улица - Бродвей? Разве не направление? Помню свои первые впечатления от пребывания в Германии. Неожиданно в поезд метро вошли контролеры, почему-то с овчарками.

И я онемел. И все вокруг онемело...

Моих соотечественников в Израиле как-то разом постигло политическое и возрастное изгнание. Только в Израиле я встречал такое огромное количество бывших народных, заслуженных артистов, заслуженных деятелей культуры (сокращенно - засрак по-тамошнему, но громко звучащему здесь, на новой родине). Кто был никем, полагает, что стал всем, и мстит тем, кто был кем-то. И модель та же - "разрушим до основанья, а затем". А что затем? Ничего.

Прав был Зеэв Жаботинский: "Никто никогда не получал родины в подарок".

Первые книги Владимира Добина в Израиле - "Полдень" (1995) и "Поздний свет" (1995) - это поиски того самого "третьего измерения", о котором Пастернак говорил - "Царство Божие, История", Булгаков - "вечность и бессмертие", Блок называл музыкой. Дело, разумеется, не в определениях, а в том, что поэт ищет почву, вне которой жить уже не может. Он не ищет рая (позже задумается: "Но почему, моя земля, / ты так на лабиринт похожа?"). Он уже не только интуитивно, но вполне осмысленно сознает, что истинный поэт непременно создает религиозный текст, свою собственную Библию. Здесь, на Святой Земле, Вл.Добин пытается "вычитать" тайны своего собственного "я". И все это без риторики, без показного ураган-патриотизма. Я, то есть читатель стихов Добина, не усматриваю в его стихах расчета, ибо поэзия для него - форма молитвы, когда поэт переживает состояние, очень близкое к ясновидению.

Его стих благоговейно изучает новое пространство, медитирует, вычитывая в нем свой дух.

Новая музыка не означает окончательного краха прежнего бытия поэта. Россия кажется еще доступной, тамошние безумия не могут длиться долго. Поэт то и дело пишет "письма в Россию": "Как пасынок, хотя бы и любимый, / я глядывался в милое лицо". Но уже рождается новое движение. И оно происходит с человеком, чье сознание прошло очистку, стало чистым и чувствительным.

*А тут у нас, в Израиле, дожди
который месяц не идут,
и солнце
сухую землю выжгло докрасна.*

*А тут у нас, в Израиле, хамсин -
жестокий знойный ветер из пустыни:
мы все его чистилище прошли.*

*А тут у нас в Израиле, цветы -
их красоту волшебную понять
ты сможешь, но привыкнуть не сумеешь.*

*А тут у нас, в Израиле, моря
со всех сторон, а где не видно моря,
там вырастают горы до небес.*

*А тут у нас, в Израиле,
у нас...*

Искусство становится не только искусством писания стихов, а практическим искусством жизни, актом непрерывно длящегося себя-преобразования. Из эмиграции как философии Вл. Добин вытаскивает сугубо свой, личный смысл. Да, может быть, этот мир и не самый лучший, но ведь именно здесь родилась и заговорила душа. Я бы не сказал, что поэзия Владимира Добина теплая или задушевная. Она особая. И уводит нас к тому началу, где нет ничего готового, даренного. Где гуляют лишь ветры истории и “Я”...

В книге Добина “Горькое вино” (1997) этот акт преобразования выражен уже обнаженно:

*Что-то со мной случилось,
произошло со мной -
вдруг во мне появилась
жажда жизни земной.
Пытаюсь понять я птичий
язык на закате дня.
Люди разных обличий
интересуют меня.
Чего я не видел - вижу.
Откуда же эта грусть?
Здесь даже небо - ближе.
Этого и боюсь...*

Теперь уже и размышления о России становятся более уравновешенными. Исчезает чувство обиды, которое нет-нет да и проскользнет, увлекая автора на стезю публицистики: “Мы им давали, а они не взяли. Мы их любили, а они отвергли. Нет и не будет с ними счастья” (Лев Аннинский). А ведь куда важнее понять, зачем понадобился в ходе судеб двухсотлетний русско-иудейский диалог, если он кончился взаимной обидой и неловким прощанием. Но ведь и евреи и русские отвечали на общие вопросы, пусть по-разному, и при этом вместе помешались на Слове...

*Из той страны уйти нам не дано -
осталось там немного и немало:
судьба - одна, пристанище - одно
(ты родиной то место называла).*

О сборнике стихотворений и поэм Вл. Добина “Горькое вино” можно сказать то же, что поэт сказал о еврействе:

*Еврейство - горькое вино.
Оно от времени крепчает.
Одно лишь это означает -
что доброй выдержки оно.*

Как-то незаметно социальное переплавляется у поэта в экзистенциальное, и все же одиночество у него не превращается в изгойство, видимо, в этом и есть отличие репатриации от эмиграции, тонко схваченное поэтом.

Есть еще одна тема у Вл. Добина, о которой хотелось бы сказать особо и которая, по крайней мере автору этих строк, кажется волнующей. Речь идет о так называемом феномене “пушкинского эха”. Вл. Добин пишет собственные вариации на пушкинскую тему “Не дай мне бог сойти с ума”. Я имею в виду цикл “Стихи из желтого дома”, который вообще, как мне кажется, стоит несколько особняком в русскоязычной поэзии Израиля.

*Квадраты на полу.
Решетка на окне.
Зеленый куст - в углу.
Зачем все это мне?*

*Машин истошный вой.
Будильника трезвон.
И свет - над головой.
Всегда.
Со всех сторон.*

*И терпкий жар пустынь,
И моря звонкий блеск.
И - карту вправо сдвинь -
там, в Галилее, лес.*

*И с каждым днем трудней
остаться на плаву.
Зачем все это мне?
Не знаю.
Но живу...*

Пушкинское эхо здесь поймано. Не ностальгия, слава богу. Щемящая примиренность с судьбой. Осознанны ли здесь пушкинские реминисценции или спонтанны - несущественно. "Об эхе чаще всего не думают. Его либо слышат, либо нет" (Вадим Перельмутер). Владимир Добин приходит к пророческой формуле Манделъштама, которая приведена в эпитафии.

*И начинаем все с нуля,
и верим: нам Господь поможет.
Но почему, моя земля,
ты так на лабиринт похожа?*

Откуда этот голос? Извне или внутри нас? Но, может, это одно и то же? Если это так, то мы имеем дело с синтезом иного порядка. С той точкой опыта, где вынужденная необходимость превращается в свободу.

Коротко об авторах

Михаил Юдсон - литератор ("22" №116, 117). Живет в Тель-Авиве.

Вадим Фадин - писатель ("22" №117). Живет в Берлине.

Александр Кушнер - российский поэт. Живет в Санкт-Петербурге.

Анатолий Добрович - поэт, врач-психолог ("22" №107, 108, 110, 114, 115). Живет в Бат-Яме.

Александр Мильштейн - литератор. Живет в Мюнхене.

Павел Лукаш - поэт, прозаик ("22" №104, 113). Живет в Бат-Яме.

Юлия Шмуклер - литератор. Живет в США.

Наум Басовский - поэт ("22" №105, 109, 114). Живет в Ришон ле-Ционе.

Александр Ревич - поэт, переводчик. Живет в Москве.

Михаил Сидоров - историк, публицист ("22", №101, 113). Живет в Тель-Авиве.

Кирилл Феферман - историк. Живет в Бейт-Шемеше.

Феликс Вуль - врач-психиатр. Живет в Бремене.

Александр Генис - литературный критик, эссеист ("22" №100). Живет в Нью-Йорке.

Давид Цифринович-Таксер - писатель ("22" №103, 109). Живет в Ришон ле-Ционе.

Эли Корман - поэт, литературовед ("22" №104, 117). Живет в Азуре.

Ирена Лейна - журналистка. Живет в Мюнхене.

Леонид Финкель - литератор. Живет в Ашкелоне.

Главный редактор - Александр ВОРОНЕЛЬ

Помощник редактора - Михаил ЮДСОН

Редакционная коллегия:

**Н. ВОРОНЕЛЬ, Н. ГУТИНА,
А. ДОБРОВИЧ, А. ДОНДЕ, Н. ДРАЧИНСКАЯ,
Э. КУЗНЕЦОВ, М. ХЕЙФЕЦ,, Д. СОБОЛЕВ,
Д. ЦИФРИНОВИЧ, И. ЧАПЛИНА, Н. БАСОВСКИЙ,
В. КРАСНОГОРОВ, Э. БОРМАШЕНКО**

Заведующая редакцией - Мирьям БАР-ОР

Компьютерная обработка - Алекс ВАЛЛЕЙ

Печать - издательство "МЕРКУР"

Всю корреспонденцию направлять по адресу:

"22", Р.О.В. 44050, Tel-Aviv 61440

Телефон редакции - 03-7394525

Все права на материалы журнала (за исключением особо оговоренных случаев) принадлежат издательству "Москва-Иерусалим", и их использование без ведома и согласия издательства не разрешается.

Стоимость годовой подписки в Израиле - 120 шек., для организаций - 130 шек., за рубежом - 80 долларов (авиапочтой в Европу - 90, в США - 95 долларов), для организаций - 100 долларов (включая пересылку).

Стоимость подписки для новых репатриантов (до 1 года в стране) - 90 шекелей (с рассрочкой в два платежа).

*Отвергнутые рукописи не возвращаются
и в переписку по их поводу редакция не вступает.*

ПОДПИСНОЙ ТАЛОН

Прошу подписать меня на журнал "22", начиная с №

Прилагаю чеки (чеки) № на сумму

Журнал прошу высылать по адресу:

.

(пишите разборчиво, Желательно указать номер телефона)

Жертвую в фонд журнала

(фамилия)

Наш адрес: "22" Тель-Авив. 61440 п/я 44050



Месяц светит

Котенок плачет